95 коп.

Индекс 73276

«Нева», 1989, № 3, 1—208

НЕВА 3 1989

3/1989

ISSN 0130—741X

Нева

«На Васильевском острове».
Рис. Г. Ковенчука

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

3/1989

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

Ленинград. Издательство «Художественная литература». Ленинградское отделение

Старший технический редактор Г. В. Александрова
Корректоры А. Ю. Семняа, О. Б. Смирнова

Сдано в набор 25.11.88. Подписано к печати 19.01.89. М-25001. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 23,53+2 вкл.=23,91 уч.-изд. л. Тираж 660 000 экз. Заказ № 1439. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Майя БОРИСОВА

◆◆◆

Вы о родине?
                Дай бог успеха!
О России?
                Тем более, дай.
А во мне — еле слышное эхо.
А во мне — еле видная даль.
Не отставя себя, не отчисля,
вместе с ней и сильна, и срамна,
не шепчу даже в мыслях «отчизна»,
говорю деловито «страна».
И на пафос потеряно право.
И не радует радиокрик,
где имперское слово «держава»,
словно жезл, загоняют в язык.

Нет, со мною все проще и слаще:
в одиночку по лесу бродя,
подставляя замызганный плащик
шелестящим касаньям дождя,
обирая с лица паутину,
груз таща на усталом горбу,
продирая сквозь ветки корзину,
чуть не падая в ноги грибу...
Вдруг
        обрыв по-над самой рекою:
домик, ель, одинокий зарод.
Тут и молвить бы что-то такое...
Но тяжелой и теплой рукою
зажимает мне родина рот.

◆◆◆

Ваша, вещие слова,
роль мала, игра слаба.
При улучшенной погоде
прояснились голоса,
и свободы на подходе,
и иные чудеса.

Только ноют в нас печали
к переменам всякий раз:
в отдаленном том начале
как мы правильно кричали!
Как никто не слушал нас.

Земные дети

При высоких строгих соснах,
при могучих толстых липах
ты — младенчиком при взрослых —
тонешь в лепете и всхлипах.
Под разлапистую ветку
от дождя себя схоронишь,
как цыпленок — под наседку,
как в тепло норы — звереныш.
Сколько мушек и стрекозок
к нам стеклянных налетело!
В голубой атлас береза
прячет розовое тело.
Подойдем, прижмемся лбами...
И неловко-то, и сладко,
будто ребятишек в бане
сокровенная подглядка.

Луг не кошен.
                Лес искрошен.
Реку затянуло тиной.
Над землей проиесся коршун
безмоторный, реактивный.
Скрылся с глаз,
                и гром стихает.
Страшно всем.
                Ты тоже бойся,
В нежном небе след вспухает,
как от рвенья кнутобойца.
И раздавленную шишку
на пути от леса к дому,
как раздавленную мышку,
жаль почти что по-живому.

Записка на заборе

«Дорогие почтальоны,
в синем ящике — гнездо,
ложьте письма и газеты
только рядом, в желтый ящик!»
Объявленье, если честно,
то прелестно от и до.
В нем душевную отраду
и не ищущий обрящет.

Ну, а мною по привычке
пробормочется само,
разумеется, с учетом
ситуаций предстоящих:
«Ненаглядненькие птички,
в желтом ящике — письмо!
Ложьте пестрые яички
только рядом — в синий ящик»

Малина

На кладбище малина
роскошно разрослась.
Уж так она манила,
протягивая сласть:
над самою дорогой
вздымался алый нал!
Никто ее
не трогал.
Никто ее не рвал.
Малина ты, малина,
ни в чем
твоя вина.

Ты попросту
в могилы
корнями внедрена.
Хоть их и можно спрятать —
непойманный — не вор —
и хоть в стремленье прянуть
на волю, сквозь забор,
ты разломала доски,
спеша от хладиых плит,
дыханье
мародерства
здесь воздух тяжелит.

◆◆◆

Лес, изгаженный сплошь,
поперек и повдоль.
Тут и мышь, точно вошь,
тут и птица, как моль.

Шевелится в пыли,
повинуясь ветрам,
мешковидный поли-
этиленовый срам.

Шорох листьев и хвой
сух, ленив, нехорош...
Обесчещенный мой!
Испоганенный сплошь!

Время

Время в корпусе часов
запирают на засов.

Лишь слезою циферблаты
наливаются светло.
Лишь цифирьки вороватo
пробегают по табло.

А непойманное время
кружит в выси и в дали,
темный взор вонзая в темя
обитателей земли.

Неприрученное время —
задремавший исполин —
до поры выносит бремя
горных зреющих лавин.

Затерявшееся время
от беды на волоске
пребывает с нами всеми
в опасеньях и тоске:

то ли СПИД его подцепит,
то ль спалит нежданный зной,
то ль
велосипедной цепью
приласкает тать ночной.

Проще — в корпусе часов.
Проще — дверцу на засов.

◆◆◆

Не предавала и не доносила.
Особой, сладкой доли не просила.

И только-то? Известная триада
и та не осуществлена, как надо.

Сады — садила. Сообща. В субботник.
Могла бы подушевней, посвободней.

Дом возвести? Сыта была квартирой.
Дитя взрастить? Увы, не подфартило.

А ведь была задумана неплохо...
Что ж ты со мною сделала, эпоха?

Как ты со мною поступило, время?
В ответ усмешка:
— Так же, как со всеми.

Судьбе своей скажи еще спасибо:
не предавала и не доносила.

Магда
АЛЕКСЕЕВА

ЭТОГО ДОСТАТОЧНО

Повесть

Памяти моих родителей

«Я родился 12 июля 1901 года в городе Заласенгрот (Венгрия). В 1917 году я вступил в Венгерскую социал-демократическую партию и был избран секретарем местной социал-демократической организации. После победы пролетарской революции и создания советской власти в Венгрии я работал в Будапеште в ЦК партии руководителем отдела местной печати. Был делегатом партсъезда и съезда Советов. Участвовал в выработке резолюции, принятой Центральным комитетом по поводу падения советской власти в Венгрии. Во время белого террора 25 сентября 1919 года я был арестован контрреволюционными властями, но через два месяца бежал из тюрьмы и работал в нелегальной группе, организованной партией. В конце 1919 года по распоряжению ЦК, который счел мое дальнейшее пребывание в белой Венгрии безусловно опасным, я бежал в эмиграцию, где пробыл 20 месяцев (сначала в Австрии, потом — в Чехословакин). В сентябре 1920 года, будучи нелегальным курьером между ЦК и Центральным Европейским бюро Коминтерна, я был арестован при попытке перейти границу и сидел три месяца в Венской тюрьме. Венский суд решил передать меня в распоряжение чехословацких властей, которые меня давно разыскивали, но на Венском вокзале мне удалось сбежать от полицейских и явиться в Венский секретариат нашей партии за дальнейшими указаниями. Меня послали в Братиславу ответственным редактором партийного органа и руководителем конспиративного кружка имени Либкнехта. Во время стачки состоял членом стачечного комитета, был арестован и предстал перед судом по обвинению в мятеже. Во время судебного разбирательства мне удалось бежать из тюрьмы, перейти границу и добраться до Берлина, где я снова был арестован и снова бежал.

Через Берлин и Вену нелегально вернулся в Венгрию для подпольной работы. Был членом ЦК и Будапештского комитета партии, нелегальным курьером между заграничными комитетами партии и Венгерским ЦК. Был председателем комиссии, выработавшей Устав партии и политические тезисы о задачах компартии Балканского полуострова. 6 сентября 1922 года был арестован в Будапеште и приговорен к тринадцатилетнему заключению. Просидев в тюрьме 26 месяцев, был освобожден путем обмена на военнопленного офицера австро-венгерской армии правительством Советской России и 27 ноября 1924 года приехал в Москву...»

1

На всех вокзалах мира одинаково пахнет горьким дымом. Горький дым и чужая речь. Мокрые дощатые платформы и снег. Летит в лицо и тает под ногами. Москва. Это надо было еще научиться произносить. А пока так: Москау.

Их легкие светлые пальто и цветные шарфы заставляли прохожих оборачиваться. Москва давно укуталась в теплое и темное. Во-первых — холодно,

во-вторых — тревожно, не до светлых пальто. Оборачиваясь, прохожие смотрели неодобрительно: ишь, иностранцы, видать, у них там и не холодно и не тревожно.

По Тверской, обгоняя друг друга, ехали автомобили и извозчики. В окнах, хоть день еще не кончился, желтым светом вспыхивали лампы. Чужая жизнь за окнами...

Переводчица плохо знала венгерский, но по-немецки изъяснялась свободно. «Sprechen Sie deutsch? Ja.[1] Es reicht. Этого достаточно».

Ее меховое пальто было стянуто кожаным поясом, и такую же кожаную сумку она прижимала рукой, то и дело открывая ее, чтобы достать платок, какие-то бумаги, мелочь — заплатить в трамвае.

— Должны были прислать машину,— говорила она, смеясь.— Но я так и знала, что никакой машины не будет, раз за дело берется товарищ Анисимов.

Она сказала это по-венгерски: «Анисимов эльфтарш». Вы это еще узнаете — Sie werden das noch erfahren,— добавила она по-немецки. Ее звали Леля, Лена, Елена Николаевна.

— У русских принято называть человека по имени-отчеству, вы это еще узнаете,— говорила она, обращаясь ко всем, но глядя на него своими светлыми смеющимися глазами из-под темной меховой шапочки и темных вьющихся волос.— Вашего отца как зовут?

— Шандор.

— Это по-русски — Александр. А вас?

— Генрих.

— Значит вы — Генрих Александрович.

Теперь уже смеялись все, пытаясь произнести его отчество. Как, как это называется? Vaterland? Да нет же, Vaterland — это отечество. Должно быть, Vatersname. Also, dein Vatersname — Александрович. Ха-ха-ха!

Леля смотрела во все глаза, изумлялась. Смеются, как мальчишки, а этот идиот Анисимов предупреждал:

— Имейте в виду, приезжают революционеры, подпольщики, так что оставьте ваши всегдашние смешки — неуместно.

— Революционеры, подпольщики! Что за ерунда! — воскликнула присутствовавшая при разговоре Мура (бог знает, что она себе позволяла, и ни капельки не боялась Анисимова).— Прежде всего, приезжают иностранцы, кроме того — мужчины. В твоем обдергайчике идти на вокзал ни в коем случае нельзя...

Вечером, отворачиваясь от ветра, они бежали в Староконюшенный к Муриной тетке, у которой «такой гардероб, тебе и не снилось!». Мурина тетка была когда-то замужем «За... тс-с-с! — одним из князей Оболенских». Впрочем, вряд ли замужем, Мура подозревала, что тетка попросту была содержанкой, но «и содержанке не поздоровится, если узнают, поэтому — тс-с-с! — ты ни о чем не слышала».

В Староконюшенном ветер дул в спину. Мура вынула из муфты платок и вытерла мокрое от снега лицо.

— Зачем ты так боишься Анисимова? — сказала она, останавливаясь у подъезда углового дома.— Это здесь,— сказала она.— Зачем ты его боишься и позволяешь говорить с собой дерзко?

— Я его не боюсь,— сказала Леля и ноздри ее раздулись.— Я его ненавижу.

Не следовало этого говорить. Никому. Даже Муре, лучшей подруге. Не следовало. Кто знает, что случится завтра? Кто станет другом? Кто — врагом?

— Я тоже его ненавижу,— сказала Мура, и Леле вдруг стало тепло, несмотря на колючий ветер.

— В самом деле, обдергайчик какой-то, совсем не греет,— засмеялась она, стряхивая снег с рукавов пальто.

Через много-много лет, и раньше, и в разные годы вспоминала этот разговор в Староконюшенном с удивлением перед загадками жизни, так никогда и не понятыми. Мура стала женой Анисимова, уехала с ним за границу, вернулась, продолжала быть женой и тогда, когда за плотно обитой двойной дверью анисимовского кабинета...

Никогда не узнаешь, что будет с тобой завтра, кто окажется другом, кто — врагом.

[1] Вы говорите по-немецки? Да. *(нем.)*

Тетку Муры звали Анна Ивановна. Не отвечая на приветствие, она ушла по коридору, волоча за собой что-то похожее на одеяло.

— На самом деле ее зовут Жанна Иогановна,— шепнула Мура, расстегивая боты. Это было время перемены имен: Мария звалась Мурой, Елена — Лелей.

— Чаю хотите? — крикнула Жанна Иогановна откуда-то издалека.

— Нет, тетечка,— громко ответила Мура,— мы пришли не за этим.

Коричневое меховое пальто, извлеченное из громадного — в полстены — зеркального гардероба, должно было, по убеждению Муры, произвести на иностранцев хорошее впечатление.

— И мы, знаешь, не лыком шиты,— приговаривала она, ползая вокруг Лели и пришивая подкладку, кое-где отпоровшуюся.— А что длинное — чепуха! Перехватим поясом, еще лучше будет.

— Это американская обезьяна,— важно объявила Жанна Иогановна. Леле стало смешно: почему — американская?

А потом было лето. Шумное лето с цветастыми тентами над витринами Мосторга, было много новых слов — Мосторг, жилплощадь, МОПР.

— Что ты нашла в этом мопровце? У него даже жилплощади нет,— щуря глаза, говорила Мура. Раньше она не щурилась так.— Что ты нашла в этом мопровце?

Встретились случайно на Петровке, в толчее у Мосторга.

А была еще два месяца назад лучшей подругой, все общее: деньги, тайны, духи. И ненависть к Анисимову. Но вот оказалось, что не все так просто, не все, не все. За два месяца, что не виделись (став женой Анисимова, Мура ушла из наркомата), изменилась чрезвычайно, будто не два месяца, а две жизни прошло. Фиолетовый шелковый костюм, короткая стрижка... Просто-таки парижский вид. Если бы еще не щурилась так, собирая у глаз озабоченные морщины, вполне бы сошла за беспечную обеспеченную даму.

— Жаль мне тебя,— сказала Леля. Ее светлые глаза потемнели.— Каждый день видеть Анисимова, даже выходных не иметь.

— Ну уж, во всяком случае...— начала Мура, но Леля, не дослушав, бросилась через Петровку, бегом, бегом, мимо колонн Большого театра, мимо Охотного ряда, по Моховой на Знаменку. А Мура осталась у Мосторга с покупками в руках, навек чужая, с бессмысленными словами: «Ну уж, во всяком случае...» Что она хотела этим сказать? Что?

В шестнадцатом году под Одессой, в Херсонской губернии, в имении Муриного отца, немецкого помещика-колониста, Леля и Мура поклялись друг другу в вечной дружбе и кровью расписались на листке из альбома.

Листок этот положили в блестящую жестяную коробочку и зарыли под каштаном у входа в парк, недалеко от беседки, где Леля целыми днями читала, пока Мура носилась по степи на своей любимой лошади Рыжке, которую после «Анны Карениной» переименовала в Фру-Фру.

— Мари,— выговаривала дочери толстая величественная дама, Мурина мать,— у тебя гостья, а ты весь день в седле.

Девочкам шел четырнадцатый год. Никто в гимназии не понимал, почему они дружат, такие разные? Строптивая надменная богачка Мари (это уже потом, в Москве она сделалась Мурой) и «тургеневская барышня», нищенка Елена — темные вьющиеся волосы, задумчивые светлые глаза, первая ученица, ни гроша за душой. Вдвоем с матерью еле сводили концы с концами на отцовскую пенсию. Но зато — первая ученица, зато — наизусть все тургеневские стихотворения в прозе, оттого и прозвали тургеневской барышней.

— Как хорошо, ты послушай только: «И все они умерли, умерли...»

— Что ж хорошего,— фыркала Мари,— когда все умерли?

— Но какая музыка! Какая музыка в словах...

Не потому дружили, что (как говорили одни) нищей Елене льстило внимание помещичьей дочки Марии Бош, не потому, что (как утверждали другие) этой тупице Мари лестно показываться в обществе первой ученицы Елены Ковалевой. Не потому дружили, а кто знает — почему? Почему она возникает, девичья дружба? Полночные разговоры, тайны (никому, никому больше!), засушенные цветы, вкладываемые в письма, и чуть ироническое обращение на обороте фотографической карточки: «Вспомните наши „умные" разговоры».

Начиналось с «вы», с философских, как им казалось, разговоров о смысле бытия, о том, что истинней — бог есть любовь или любовь есть бог? Это могли обсуждать часами.

Иероним Бош, отец Мари, к обеду переодевался, выходил с влажными после мытья волосами, в белоснежной сорочке, но Елене чудился запах навоза и смазных сапог, в которых Иероним Бош объезжал свои фермы.

— Ist alles gut? [1] — спрашивал он Елену и, потрепав по щеке дочь, больше не обращал на них внимания и весь обед разговаривал со своим управляющим, молодым рыжеватым немцем, влюбленным, как подозревали девочки, в двоюродную тетку Мари, приезжавшую прошлым летом из Петрограда.

Какие смешные вещи занимают четырнадцатилетних девочек! И уж совсем не понятно, о чем думает Иероним Бош, объезжая летом шестнадцатого года свои фермы! Впрочем, он так же объезжал их и в следующее лето, и снова Мари скакала на Фру-Фру, а Елена с книгой сидела в беседке, и причудливые тени от колеблющихся ветвей трепетали на теплом деревянном полу.

В доме говорили по-немецки, и Елена — недаром первая ученица — во второе лето уже совершенно свободно изъяснялась на чужом языке. Никто тогда не мог знать, как это потом пригодится. Потом, когда все — и именье! — пойдет прахом, и Мари уедет, почти сбежит в Москву, и уговорит Елену уехать вместе с ней, хоть Елене не от чего бежать, у нее ни ферм, ни Фру-Фру, ни беседки с причудливыми тенями...

В Москве цепкая самоуверенность Мари (она, впрочем, как-то очень быстро стала Мурой, а Елена — Лелей), ее цепкая самоуверенность, а не Лелины безукоризненные знания грамматики и литературы открыли перед ними двери сперва на курсы дипломатических секретарей (пишбарышень, как говорили прежде), потом — Народного комиссариата иностранных дел.

Но не сразу, конечно, не сразу. Еще помыкались, поголодали. Леля хотела вернуться в Одессу к маме, но пожалела Муру, у которой глаза сделались злыми и несчастными.

Жили в доме таможни у Николаевского вокзала. Мурина тетка (сколько у нее было теток!) уехала с мужем в Туркестан и оставила им комнату, приказав беречь вещи и ничего не трогать.

Мура выносила теткины платья на Казанский вокзал, меняла у мешочников на хлеб, на початки кукурузы, иногда на сахар.

— Что ты делаешь! — ужасалась Леля.— Вот тетка вернется...

— Она не вернется,— безмятежно отвечала Мура.— Их в Туркестане убьют.

Их в самом деле через год убили в Туркестане басмачи, но откуда Мура могла это так спокойно предвидеть? Откуда она вообще все знала? Знала, что про родителей следует написать в анкете, будто они давно умерли, а перед тем, как умереть, прислуживали в доме богатого дальнего родственника, который еще до революции уехал за границу. Леля таращила глаза на эту фантастическую ложь, а Мура, как ни в чем не бывало, подала анкету в окошечко, за которым сидел, принимая документы, человек во френче.

— Неужели тебе не страшно? — испуганно спросила Леля, когда они вышли на улицу, ослепительно солнечную после темноватой приемной.— А вдруг узнают?

[1] Все хорошо? *(нем.)*

— Еще как страшно! — сказала Мура.— А вдруг не узнают?

И с Анисимовым, когда их направили работать в его отдел, вела себя точно так же, на грани страха и риска. Леля чуть в обморок не упала, когда Анисимов спросил у Муры: «Вашего отца зовут Иероним Францевич?» — «Да, его звали Иероним Францевич,— спокойно ответила Мура.— Он давно умер».— «Ах, вот как?» — удивился Анисимов, будто не изучал никогда Муриной анкеты.

Но и после этого ничего не произошло, если не считать, что Мура предложила разъехаться. «Давай найдем тебе комнату»,— сказала она однажды утром, собираясь на службу и примеряя юбку из теткиного гардероба.

Продолжали работать, стучать на машинках с латинским шрифтом. Каждый день гора бумаг. «Секретно». «Совершенно секретно». Иногда поручали встречать иностранцев. Потом выяснилось: можно посещать бесплатно языковые курсы, это поощряется. Леля записалась в угро-финскую группу — венгерский, финский, эстонский. Мура никуда не записалась: надоело всю жизнь учиться.

В доме таможни у Николаевского вокзала она теперь жила одна, а Леля переехала на Знаменку, где Муре (все за нее делала Мура!) удалось снять недорогую комнату, узкую, но светлую.

Когда Генрих впервые пришел сюда, комната стала казаться еще у́же, высокий, широкоплечий Генрих едва умещался в ней.

«Ну уж, во всяком случае...» — вспоминала Леля, сворачивая на Знаменку. Должно быть, Мура думала уязвить ее: я, мол, во всяком случае прекрасно устроена, а ты... Какое предательство!

— Какое предательство! — говорила Леля Генриху, пересказывая разговор на Петровке и не опуская подробностей про мопровца и жилплощадь.— Ведь говорила: «Ненавижу!», и вдруг выйти за него замуж. Так предать себя!

— Глупенькая! — смеялся Генрих, целуя ее.— Du bist Dummkopf. Глупая голова. Разве человек когда-нибудь предает себя? Это невозможно. Es ist unmöglich... Себя не предают — предают других.

Он знал, что говорил, и, конечно, был прав, и выходило, что Мура и тогда в Староконюшенном, и раньше, и всегда была такой, как сегодня на Петровке, в толчее у Мосторга. Ах, какой парижский уверенный вид! А Леля по глупости (Dummkopf) не разобралась. «Что ты нашла в этом мопровце?» Век бы не глядеть в холодноватые глаза бывшей подруги! И в самом деле век прошел, прежде, чем встретились, если не считать того раза, когда издали, из директорской ложи в Театре Революции увидела Муру с Анисимовым на спектакле «Купите револьвер!».

Из дневника Елены Гараи.

«17 ноября 1928 года.

Мы были сегодня на спектакле „Купите револьвер!". Я не хотела идти, неудобно выходить на люди с таким животом, но Генрих упросил. Так редко пишу в этот дневник, но сегодня непременно надо записать. Видела Муру! Она сидела с Анисимовым в партере, а мы в ложе у Мате Залки, он директор театра. Спросил у меня, кого я так внимательно рассматриваю. Я смотрела на Муру...»

2

Дневник почему-то не забрали при обыске, должно быть, потому, что вначале шли стихи — Есенин, Блок, это не показалось интересным. Ну, стихи. А дальше никто не заглянул. Леля воспринимает это как знак: надо писать, записывать. Когда-нибудь Ирма прочтет, поймет. Ведь это так важно понять, как жили твои родители. Ты не сама по себе, ты дочь своих родителей. Три дня назад твоего отца забрали в ГПУ, но он ни в чем не виноват...

Глотая слезы, Леля под ночной лампой перелистывает страницы. «Мы

были сегодня на спектакле „Купите револьвер!“. Я не хотела идти, неудобно выходить на люди с таким животом...»

Ирма тогда еще не появилась на свет, а сейчас ей десять месяцев. Леля куталась в белую шаль, стеснялась, так много знакомых. Автор пьесы Белла Иллеш, и Бартош здесь, и Габор. Это мир Генриха, любимый и мучительный. Мучительные споры о том, кто виноват? Споры, споры, остывший чайник на столе в их узкой комнате на Знаменке. Снова — в который раз! — Леля разогревает чай, и с дымящимся стаканом в руках Генрих вышагивает вдоль стола от окна к двери. А тот, с кем он спорит, от двери до окна. Всего несколько шагов, но они, разделенные столом (тоже узкий, ломберный, достался от хозяйки), проделывают этот путь бесконечно. И если нет в руках стакана с чаем, то руки — за спину. Всегда руки — за спину по старой тюремной привычке, как ходят во всех застенках мира — в Вене, Берлине, Праге.

Разделенные столом, друг против друга, ожесточенно, непримиримо: кто виноват? Вот вопрос, на который так и не нашли ответа. Кто виноват в том, что революция не победила, и все пошли в подполье, в тюрьмы, в эмиграцию? Чьи действия были неверными? Чьи — верными? Чьи? Кто? Почему? О, господи, столько лет искали, так и не нашли ответа.

Первым в ГПУ забрали Бартоша. И вот теперь — Генриха. Бартош — прекрасный детский врач, добрый милый человек. Генрих очень любил Бартоша, но яростней, чем с другими, спорил, пожалуй, с ним. Они были совсем разными — Белла Бартош и Генрих Гараи. Бартош — известный будапештский врач, долгое время жил в Лондоне, пришел в революцию, как говорил Генрих, «книжным» путем.

— Ну и что же? — сердился Бартош.— Напрасно вы кичитесь своим классовым происхождением.

— Что вы! — смеялся Генрих.— Мое происхождение тоже не стопроцентно: отец — мелкий служащий.

— Ага, мелкий! — злорадствовал Бартош.— В этом вы весь. Если служащий, то непременно мелкий, если пролетарий, то беднейший. Все остальные у вас уже не люди, второй сорт. Вы знаете, что это такое? Большевистский снобизм.

Но спорили, конечно, не об этом. Спорили все о том же: могла ли революция победить? Могла или нет? Могла или нет? Из вежливости при Леле говорили по-немецки, но потом, забывшись, переходили на венгерский, она переставала понимать. Одно понимала всегда: главную часть своей жизни эти люди (и Генрих!) уже прожили. Бартош чуть не вдвое старше, но возраст тут не имеет значения. Иногда среди ночи она просыпалась оттого, что Генрих что-то бормотал во сне. Однажды отчетливо сказал по-английски: «Не смейте!». Леля уткнулась в спинку дивана. И во сне, даже во сне он не здесь, а там.

Три месяца назад Бартош вернулся из ГПУ и тотчас же пришел к ним. Леля смотрела со страхом: какой он теперь? Бартош улыбнулся своей доброй улыбкой и сказал на ломаном русском: «Прежде чем мы начнем спорить с вашим мужем, я осмотрю девочку»,— и вынул из кармана трубочку стетоскопа. В глазах у Лели слезы. Неужели можно остаться таким же, побывав в ГПУ?

— Вы знаете, я не трус,— Бартош усмехнулся.— Генрих может это подтвердить. Я не трус, нет, я ничего не боюсь, но случилось нечто худшее: я перестал понимать. Ich verstehe nichts.— И он снова улыбнулся, склонясь над Ирмой, и та улыбнулась ему в ответ.

— О-о,— сказал Бартош и спросил так, как когда-то спрашивал Лелю Иероним Бош: Ist alles gut? [1]

...Перестал понимать. Еще бы! Разве это можно понять? Забирают партийцев. Кто? Партийцы. «Это разъяснится,— говорил Генрих.— Какие-то преступные ошибки. Но ты должна быть готова — меня тоже могут забрать».— «За что?!» — «Ах, за что? — морщится Генрих.— За что забирали Бартоша?» — «Но его отпустили».— «И меня отпустят, не волнуйся».

[1] Все хорошо? *(нем.)*

Рис. Ю. Шабанова

Она не могла спать по ночам: вдруг придут? Она знала: за Бартошем приходили ночью. Генрих спал, она вставала, подходила к Ирме, снова ложилась и опять вставала, выходила в кухню. Там в маленькой комнате при кухне спала домработница Шура.

— Вы чо, Елена Николаевна? — вскакивала она.— С Ирмой чо?

— Да нет, нет, спите, Шура. Я так.

Но, видно, Шура понимала то, о чем не говорилось вслух.

— Да вы чо, Елена Николаевна, до смерти ничего не будет.

•

В Наркоминделе Леле уже не поручали встречать иностранцев и перепечатывать документы с грифом «секретно», «совершенно секретно». Иван Данилович Анисимов, встречаясь с ней в лифте или в коридоре, никогда не здоровался и смотрел как на незнакомую. Впрочем, это происходило чрезвычайно редко: Анисимов теперь большой начальник и увидеть его можно только случайно.

А вот непосредственный Лелин начальник — тот улыбается приветливо, шумно раскланивается и вдруг говорит:

— Елена Николаевна! Поискали бы вы себе другую работу, ведь вам выражено недоверие...

— Почему? — изумляется Леля.

— Что ж вы так изумляетесь? — приветливо улыбается начальник.— Ваш муж — иностранец.

— Но он коммунист! — восклицает Леля.

— Но он иностранец,— мягко настаивает начальник.

Леле хочется спросить: «А как же тогда пишут в газетах, что СССР — родина всех трудящихся?» — но она сдерживает себя и ни о чем не спрашивает.

На другой день ее вызывают к Анисимову. О, этот разговор с Анисимовым! Не разговор — никакого разговора не было.

...По необъятному ковру она подходит к необъятному столу, за которым сидит бритый наголо Анисимов и что-то быстро пишет. Не поднимая головы (как он догадался, что она уже подошла? Загадка!), он говорит Леле:

— Вы должны подать заявление об уходе, в противном случае мы вас уволим.

Произнеся это и не взглянув на Лелю, он встал, подошел к стене и вдруг исчез в ней. Может быть, следовало испугаться? Утопая в толстом ковре, Леля пошла к обитым войлоком двойным дверям кабинета. Уже стоя в дверях обернулась: Анисимов, тускло сияя лысым черепом, все так же, будто и не исчезал никуда, сидит за столом и что-то быстро пишет.

Леля оставила начальнику заявление и навсегда ушла из Наркоминдела, в котором прослужила десять лет.

«Интересно, знает ли Мура обо всем этом?»

А забрали Генриха на работе. Вместо него вечером позвонили в квартиру те, что явились с обыском.

Леля и Шура как раз купали Ирму, в ванной лилась вода, и они не слышали звонка, услышали только резкий стук в дверь.

Ирма расплакалась. Побледнев, Леля вышла. «Чо ж вы ребенка пугаете?» — крикнула Шура. Леля спиной плотно прикрыла дверь и вытерла мокрые руки о халат.

Так в халате, кое-как накинув поверх шубу и платок, не обращая внимания на изумленные возгласы Шуры, она выбежала, когда все кончилось, из разоренной комнаты и побежала по улице к бульвару, не понимая, куда бежит и зачем. Обогнув памятник Гоголю, устремилась вниз к Пречистенским воротам, на ходу наклоняясь к сугробам, хватала рукой снег, запихивала его в рот, обжигаясь холодом, чтобы не выть, потому что все время хотелось выть — выть страшно, в голос. Мыча, как от боли, запихивала снег, давя этот вой, эти рыдания и все бежала, бежала.

«Ирма!» — вдруг вспыхнуло в мозгу. Куда же она бежит, у нее же Ирма!

Леля остановилась. Вокруг лежал чистый московский снег, сверкая под редкими фонарями, по обеим сторонам бульвара звенели трамваи. Она тихо заплакала и медленно пошла назад, вытирая нос и глаза рукавом шубы.

Генрих пробыл в ГПУ восемнадцать дней. «Как ты бежала по Пречистенскому бульвару, мне никогда не забыть»,— писал он ей в письме спустя несколько лет.

Потом как будто все успокоились, или так казалось? У всех работа, дети, ежедневные дела. В Москву приехали мать Генриха и его младший брат. Если бы их не удалось вывезти, брат, конечно же, попал бы в застенок. В Венгрии фамилия Гараи навсегда в черном списке.

Поезд застревал, Генрих нервничал, опаздывал на совещание в наркомате. В это время, в тридцатом году, уже заведовал отделом в газете.

— Ну иди, я останусь,— говорила Леля.

— Ты же их не узнаешь...

Хорошо, что он не ушел: брата вынесли из вагона с серым, точно неживым лицом. Вот так встреча! Мать осталась с Лелей, а Генрих повез Фери в больницу — перитонит, едва выцарапали с того света. «Улизнуть от палача Хорти и умереть в Москве! Этого только недоставало!» — говорил Генрих. Он привез к Фери лучших врачей, и те спасли его.

Какое время! Все молоды и живы, и живы молодые надежды изменить мир!

Из дневника Елены Гараи.

«26 ноября 1930 года.

Второй день процесса промышленной партии. Генрих, вероятно, на процессе от „За индустриализацию“. Ирма спит. Ее любимая игрушка — маленький хохломской стул — „тулик“ — подаренный Генрихом в прошлом году. Она таскает его за собой по всей квартире. Сейчас вдруг проснулась с громким плачем, я едва уняла ее. Спрашиваю, почему ты плачешь?

— Маня тулик села...

Ей приснилось, что соседская девочка Маня села на ее стул».

Опять длинный Лелин вечер под бессонной лампой. Как завидовала девочке Мане за то, что видит своего отца каждый день! А ее бедная Ирма только по выходным. Отец Мани — водопроводчик, он работает в этом же доме и еще в двух ближайших. Ничего-то его не касается, и процесс промпартии в том числе...

Чтобы не будить соседей, Леля с вечера уносит керосинку в комнату разогреть Генриху обед, когда вернется. «Это уже не обед, а, пожалуй, завтрак»,— шепотом шутит Генрих. Глаза смеются, а под глазами круги, будто черным провели по лицу. Пока он ест, она рассказывает ему про Ирму и про «тулик». Он смеется громко, громче, чем следует, и Леля испуганно прижимает ладонь к его губам.

— Ах, да,— вспоминает она, уже стоя в рубашке у выключателя и собираясь погасить свет,— что там за промпартия?

И прежде чем в комнате становится темно, она успевает заметить, как по лицу его проходит судорога.

3

Какая длинная жизнь, а уместилась в семнадцать лет! Встретились в двадцать четвертом и навеки расстались в сорок втором. А перед этим сколько еще было расставаний, но они не в счет, не в счет, что за расставания, если мы живы, даже в тридцать седьмом, господи, даже в тридцать седьмом!

Приговорили к расстрелу и — подумать только! — освободили. Невероятно, невозможно поверить, чудо какое-то! Но вот же он — дома! Улыбается,

и всегдашние черные борозды под глазами. Какое чудо! Кто-то разобрался с их делом в этой мясорубке! Леля, мечась между кухней и комнатой (всех же надо накормить!), слышит имя Кагановича. Так это Каганович их спас? О, какой прекрасный человек! Леля выбегает в кухню и не слышит, что было дальше, не слышит, как Генрих рассказывает Фери про письмо к Кагановичу, про то, как Каганович, который — всем известно — подписывает приговоры списками, «этих венгров» почему-то запомнил и поручил их дело Чернопятову.

Леля не слышит про Чернопятова. Когда она возвращается из кухни, разговор идет уже о другом. «Троцкизм,— слышит Леля.— Обвинение в троцкизме». Это о Ласло. Ласло не выпустили, его расстреляют. О-о?! Его расстреляют?! У Ласло маленькая дочка, младше Ирмы, вместе с Генрихом Ласло работал в Поволжье в тридцать втором году...

...Тогда, в тридцать втором, как был счастлив и горд Генрих, что посылают в Поволжье, в трудное Поволжье. Всегда был счастлив, если поручали ответственную работу, чувствовал себя тогда спокойно и уверенно: свой в своей стране.

Из дневника Елены Гараи.

«6 декабря 1931 года.

4 ноября родилась Марта —10 фунтов 60 гр. В Ирме было 9 1/2 ф. У нее глаза голубые, вся она светлая по сравнению с Ирмой, спокойнее. Генрих в командировке, в Саратове...»

Марта родилась без него, и Ласло, именно Ласло помог Леле добраться с двумя детьми до Саратова. Там их встретил Генрих на запыленной машине, приехал на вокзал прямо с посевной.

Из дневника Елены Гараи.

«22 января 1933 года.

Саратов, пл. Октября, 4-й корпус, кв. 154.

Адрес я записала для девочек. Быть может, взрослыми им доведется быть в этом городе и они смогут взглянуть на дом, где жили детьми.

Мы в Саратове, а скоро переедем в Покровск (теперь — Энгельс). Генрих работает в газете Немреспублики „Nachrichten“».

Слова «посевная», «семена», «колхоз» стали надолго, почти на два года главными словами. В мае тридцать четвертого, уже уехав в Москву, Генрих спрашивал в письме: «Напиши, как там сев идет?..»

Жили в Энгельсе, на Центральной улице, 42. Генрих — редактор, Ласло — заведует отделом, днем и ночью мотаются по колхозам, опять дети почти не видят отца.

Из дневника Елены Гараи.

«5 декабря 1933 года.

Вчера Ирма сказала: „Мамочка, посади меня на эту картинку“. Оборачиваюсь, она держит в руках детскую книжку с картинками. „Вот сюда, на это окошечко“,— говорит она.

Очень любит целовать Мартины голые ножки. Перед тем, как я укладываю маленькую спать, Ирма подбегает и говорит: „Дайте мне поцеловать мои милые босиковые ножки!“»

Блаженное ощущение покоя: дети здоровы, Генрих работает, и ночные страхи отступили, растаяли...

В марте тридцать четвертого его отзывают в Москву. Опять жизнь заново, никто не знает своей судьбы. Никто. Даже самые проницательные.

Из писем Генриха Гараи.

«24.4.34 года. Москва.

Только что послал телеграмму, в которой сообщил, чтобы успокоить тебя, об улучшении моего самочувствия. Оказывается, в глаз попала крошечная металлическая стружка (очевидно, в типографии), она загноилась, и глазной нерв парализовало. Вот почему я не видел на правый глаз совсем, а левый то и дело переставал функционировать. Я измучился, а тут еще врачи напугали меня, что это от истощения нервной системы. Теперь все прошло, опять вижу по-старому, то есть все в розовом цвете, как старый оптимист.

Напишу тебе о своей работе. Должен обеспечить передовую, это нетрудно, правда, вопросы здешние новые для меня. Написал в этом месяце 5 статей и 4 докладные записки Сталину по разным вопросам транспорта. Вернее, не писал, а диктовал, чтобы беречь глаз от напряжения, а диктовать по-русски мне еще трудно. Мое жалованье 400 рублей в месяц, в этом месяце с гонораром — 1000 рублей.

Я правильно сделал, что в „Гудок“ пошел, а не в „«Известия“, там бы квартиры не дождаться, а для нас это сейчас важнее всего...»

«27.4.34 г. Москва.

...Насчет квартиры могу сообщить, что она уже почти готова, наверное, в мае вы сможете приехать. Мне уже так надо видеть вас, говорить с тобой, слышать твои упреки, видеть тебя радостной, сердитой или все равно как, важно только, чтобы видеть...»

«29.4.34. Москва.

Был у Зарудина, обедал у них. Живет он в одной комнате, очень скромно. Он мне очень нравится. Восторгался тобой до невозможности. Две книги вышли у него, обещал дать нам. Говорит, что пишет рассказ обо мне, с сохранением моей фамилии. Они втроем написали книгу о Немреспублике, дали мне для просмотра. Там есть наряду с халтурой и прекрасные главы. Я хочу выправить фактические данные.

У П. недавно была жуткая пьянка (хорошо, что я не был), где очень крупные грузинские товарищи участвовали. Дело дошло до избиения жен и до выстрелов. Его жена — грузинская киноартистка. Я был в ужасе, когда мне рассказали, какие крупные писатели и политические деятели могут напиться до скотского состояния. В то же время они пишут и говорят о новом человеке...»

«6 мая 1934 г. Москва.

...Меня очень удивило и обрадовало, что ты диалектическим материализмом занимаешься. Почему ты не была на Первомайской демонстрации? Здесь был военный парад, из ряда вон выходящий, 600 аэропланов летало.

Напиши мне, как там сев идет? Что слышно о положении колхозов?

Позавчера был на слете транспортных ударников. Там выступал Димитров. Он страшно постарел, но очень симпатичен. Потом был концерт, жалел, что тебя нет, посидел немного и ушел с головной болью.

Читала о Ракоши? Он отсидел свое наказание 8 1/2 лет и теперь новый процесс начали против него. Я помню, я был с тобой в 1926 году в Экспериментальном театре на собрании протеста против приговора над Ракоши, и он с тех пор сидит.

Венгерский посол приехал и был встречен в Кремле звуками венгерского гимна. Он провожал нас до границы, когда обменяли из тюрьмы. Венгерские газеты много и странно пишут о появлении советского посла Петровского в Будапеште. Мой „друг“ Хорти просил передать его сиятельству Калинину сердечные поздравления.

Следуя его примеру, я так же посылаю тебе, моя дорогая, сердечный привет».

«10 мая 1934 г. Москва.
...Сегодня выходной день и пока не знаю, что делать. Может быть, пойду к Лукачу. Лукач и его жена с детьми очень симпатичны...»

Ничего не написал Леле про то, что у соседей на Знаменке — го́ре. Однажды ночью пришли и забрали отца Ирминой подружки Мани. Генрих дежурил в редакции, не видел, как забирали. Видел только, как утром билась головой о никелированную спинку кровати Манина мать Дарья Петровна. «За что его, Генрих Александрович,— кричала она,— кому он плохое сделал?!»

«...Как ты бежала по Пречистенскому бульвару, мне никогда не забыть...»

Если бы знать, *за что*, можно было бы хоть как-то успокоиться. Если бы знать, что забирают *за что-то*!

Приехав в Москву, Леля не сразу собралась на Знаменку, все какие-то дела в новой квартире, тысяча дел. Но узнала про Григория Дмитриевича сразу. Еще на вокзале Ирма спросила: «Мы к Мане едем?». Подумать только, не забыла Маню! И тогда Генрих сказал по-немецки: «Er ist verhaftet» [1]. «Кто?» — испугалась Леля. «Григорий Дмитриевич»,— печально сказал Генрих.

И вот с замирающим сердцем она едет на Знаменку. Нет ничего грустнее старых обжитых мест!..

Григория Дмитриевича, скромного тихого человека забрали, оказывается, за то, что он (трудно поверить!) хотел взорвать московский водопровод. Наплакавшись с Дарьей Петровной, Леля спешит в Марьину рощу, где, как ее уверяли, есть зеленый шелк. Ей непременно нужен зеленый на шторы для большой комнаты, в которую она позавчера так удачно купила темно-зеленые кресла. В детской будут кремовые шторы, а в большой комнате — зеленые.

В Марьиной роще никакого шелка, конечно, нет, и Леля еще успевает заехать в ЦАГИ, так теперь называется продовольственный магазин на бывшей Немецкой, и уже оттуда — домой.

Генрих дома. Удивительно! Так рано. Что-нибудь произошло? Нет, просто отменили совещание. И этот редкий прекрасный вечер — надо же такому случиться! — кончается их первой серьезной ссорой. Настоящей ссорой с невозможными словами: «Как я мог жить с тобой до сих пор!», с хлопаньем дверей (она оделась и ушла из дома), с примирением (во дворе, куда он выбежал за ней), со слезами (должно быть, слышали соседи), и долго, долго не утихавшим чувством стыда. Как стыдно, господи, как стыдно, что она посмела так думать и сказать об этом Генриху!

— Может быть,— сказала она,— Григорий Дмитриевич в самом деле в какой-нибудь вредительской группе, и поэтому его арестовали?

О, что тут началось! Конечно, он мог бы не кричать так, не пугать детей. Но он кричал и даже ударил ладонью об стол, и стакан, из которого он собирался пить чай, со звоном покатился на пол.

— Надо быть идиоткой! — кричал он.— Вы и есть идиоты!

— Кто это «вы»? — спросила она, дрожа, испугавшись этого неслыханного тона.

— Вы, русские, вот кто! Вам говорят — вредители, вы верите! Вас сажают ни за что — вы верите, что за что-то. Моя собственная жена, selbst meine Frau,— кричал он, путаясь в немецких и русских словах,— selbst meine Frau glaubt daran... верит в это. Да вы же полные идиоты!

Это «вы», «вас» было особенно оскорбительно, как будто он уже отделил ее от себя.

— Ты же не была такой дурой! Когда меня забирали в гэ-пэ-у! Что же теперь-то случилось? Was ist los?

Она выскочила на лестницу и бросилась во двор. Was ist los? Что случилось? Ах, ты все еще не понимаешь! Хочу жить, жить! Не просыпаться по ночам от страха, не бояться за детей! Хочу верить, что тебя не арестуют, ведь ты не взрывал водопровод, пусть забирают других, которые, может быть, хотели его взорвать...

[1] Он арестован *(нем.)*.

Он целовал ее руки, слизывал с губ соленые слезы.

— Прости меня,— говорил он.

— Нет, нет,— она качала головой.— Нет, это я виновата.

— Ты ни в чем не виновата...

— Я просто сошла с ума.

Вечер давно перешел в ночь, а ночь в следующий день, первый день декабря тридцать четвертого года.

Из дневника Елены Гараи.

«23 апреля 1935 г.

Я говорю сейчас Марте: „Оставь флажок в покое, не тереби его“. А она: „Зацем его оставлять в покое? Ему на Первое мая надо идти, а не в покое“.

Ирма вчера говорит мне: „Мама, запиши, я стишок придумала“.

Под Первое мая
К этой Кремлевской стене
Люди приходят.
Недавно стояла машина с гробом.
В этом гробу лежит наш Киров».

...То, что Генриха приговорили к расстрелу, а потом освободили, кажется не просто чудом, а чем-то невероятным, даже сомнительным: вдруг передумают, решат, что ошиблись? После первых дней с их оглушительной радостью наступило отрезвление. Ничего еще не известно, ничего, ничего. Да и как радоваться, если Ласло не вернулся? И непонятно, как жить дальше: работы не дали, в партии не восстановили. Генрих пропадает где-то целыми днями — где? Приходит мрачный, Леля боится спрашивать. Хорошо, хоть она работает, хоть этот небольшой заработок у них есть. Леля берет в издательстве немецкую корректуру, можно работать дома, и дети под присмотром. Считается, что они ничего не знают, не понимают. Генриха, как и в первый раз, забрали с работы. Леля (судьба милостива) не видела, как уводят. Увидеть — умереть. И дети не видели.

Из дневника Елены Гараи.

«17 ноября 1937 г.

Марта сегодня: „А я знаю, в цем дело, все знаю“. И на ухо мне, чтобы не слышал Генрих: „Папу выключили с работы“».

Становилось немного легче, когда приходила Эрика. Эрика, умевшая обо всем, даже о самом страшном говорить, смеясь. Давно, еще в двадцатых годах, Леля ревновала Генриха к Эрике. Казалось: кто же может устоять перед ней? Все было красиво в этой женщине: и как курила, изящным движением тонких пальцев стряхивая пепел, и как смеялась, откинув голову. Эрика работала на радио переводчицей. Никто из своих не звал ее Эрика, только — Лани. Это была ее партийная кличка. Однажды она показала Леле клеймо, выжженное на ее ноге во время пыток в будапештской тюрьме. Пришлось высоко поднять юбку, она сделала это при мужчинах, и в этом не было ничего неестественного, неестественным было только клеймо на ее длинной смуглой ноге.

Теперь, помогая Леле готовить в кухне ужин, Эрика говорила:

— Страшно тогда, когда чего-то не понимаешь. Мне уже ничего не страшно.

— Что-то похожее говорил Бартош,— вспомнила Леля.

— Когда?

— В двадцать девятом, когда вышел из гэ-пэ-у.

— О,— рассмеялась Эрика.— Тогда-то нам всем как раз было страшно. Тогда мы еще ничего не понимали...

Леле хотелось сказать, что она и сейчас ничего не понимает, но было стыдно показаться глупенькой. Она промолчала.

— Генрих немножко идеалист,— усмехнулась Эрика.— Немножко,— повторила она.— Einbisschen. Поэтому ему труднее выкарабкиваться.

Все же выкарабкались, если Эрика это имела в виду. Генриха восстановили в партии и на работе. Ирма пошла в школу, Марту отдали в немецкую группу. Даже (смешно сказать!) зеленый шелк Леля, наконец, купила и сделала на окна, как когда-то хотела, зеленые шторы.

Из дневника Елены Гараи.

«11 сентября 1939 года.

1 сентября Ирма пошла в школу в Басманном переулке. Кончилось детство. У меня болит душа, это страх за родную маленькую жизнь. Ирма, Ирма. Я прижимаю ее к себе, глажу ее головку, ее прекрасное смуглое нервное лицо, как будто ограждая ее от этой жизни...»

«7 декабря 39 г.

Марта вечером, лежа в кроватке:

— Мне никак не хочется спать. Я буду не спать.

— Спи, детка, и ни о чем не думай.

— А ты, мама, разве когда ложишься спать, ни о чем не думаешь?

— Я стараюсь поскорей заснуть.

— А я думаю, много думаю.

Генрих спросил:

— О чем же ты думаешь, маленькая?

— Я думаю секреты.

— Какие же?

— Я думаю, что я буду старая и потом умру.

О, милая моя девочка!»

«10 января 1940 года.

Вчера была у нас елка. Дети танцевали, играли. Были Наташа с Татьяной Борисовной, Нина Карловна с Ниночкой. Потом приехал Генрих, а Лани — так досадно! — приехать не смогла, была занята на работе.

Все у нас благополучно, а до этого было два тяжелых года... Все благополучно, но все же грусть, усталость и страх жизни. Страх за детей не отпускает, тяготит...»

Весной сорок первого года сняли дачу под Москвой в Мякинино и двадцать пятого мая перетащились с детьми и вещами. Две комнаты с верандой, веранда большая, разделенная надвое. И надо же такому случиться! — на другой половине оказался какой-то немец со своим семейством, сотрудник немецкого посольства. Леля была так раздосадована, хоть уезжай обратно в город. Этого только недоставало! Кто-нибудь еще заподозрит, что Генрих хотел общаться с немцем и нарочно снял здесь дачу.

— Глупости! Перестань всего бояться,— убеждал Генрих вконец расстроенную Лелю.

— Глупости? — не соглашалась она.— А водопровод?

Это был семейный шифр, понятный им двоим. Но через несколько дней немцы испарились, уехали в город и не возвращались.

— Как хорошо! — радовалась Леля.

— Не так уж хорошо,— усмехался Генрих.— Скорей плохой признак.

— Ты о чем? — спросила Леля.

— О войне,— спокойно сказал он.

Из дневника Елены Гараи.

«13 июня 1941 года.

Мы живем на даче в Мякинино. Девочкам здесь хорошо, они уже загорели. Ходим купаться на Москву-реку. Марта сейчас продиктовала мне свои стихи:

Слушайте, ребята,
Пионеры, октябрята,
Сегодня день рожденья
Великого вождя,
Сегодня день рожденья
Сталина родного,
Сегодня вся страна ликует и поет».

В воскресенье, 22 июня, Генрих, как обычно, отправился на станцию за газетами. Там, на станции, услышал радио.

Леля сидела в комнате с Мартой, кормила ее завтраком, заставляла пить молоко: «Ну давай, еще глоточек». Дверь, ведущую на веранду, завесили марлей от комаров. Леля намочила марлю в густой синьке, и она сделалась голубой. Так навсегда и осталось: дверной проем, лицо Генриха, напряженное, взволнованное и голубая марля, которую он отдернул, входя:

— Война!

4

— СОЭ? Ну так, не так уж плохо,— с сильным акцентом сказал тот, что был постарше.— Вы, по крайней мере, останетесь живы.

— Вы — по крайней мере, а мы по высшей мере,— улыбнулся второй. Он гораздо лучше говорил по-русски. Они шутили — удивительно! — знали, что им предстоит и — шутили. Было не принято расспрашивать, он и не расспрашивал. По какой статье? — вот и весь разговор. Они спросили его: «По какой статье?» — «СОЭ»,— сказал он. «А мы — пятьдесят восемь,— не дожидаясь вопроса, дружелюбно сказал тот, что был старше, лет шестидесяти, должно быть.— Мы — венгры, говорим по-венгерски, просим извинить...»

И они снова заговорили по-своему, меряя шагами просторную камеру один от двери к стене, другой от стены к двери. Среди непонятных слов звучала иногда фамилия Чернопятов. Или показалось?

Его мучил приступ пеллагры, той болезни, которой он заболел в тюрьме и которая спасла его. Сначала доконала, а потом спасла. Всю ночь сквозь забытье и боль — голоса венгров и их тени на стене со связанными за спиной руками.

«Зачем же их связали? — мучился он.— В камере же не связывают».

Потом оказалось, что они вовсе не связаны, один подносил ему пить, а другой поддерживал голову, пока он пил. И они стучали в дверь, требуя, чтобы вызвали санитаров.

К утру боль утихла, но идти он уже не мог.

— Пожалуйста, запомните, может быть, когда-нибудь, после войны,— сказал тот, что пошутил накануне про высшую меру. Он наклонился над ним и назвал адрес.

Пришли санитары и унесли его, и все забылось на долгие годы. А теперь — вдруг всплыло! Вдруг всплыло в памяти: Ольховка, 25. Теперь, когда он свободен, актирован по болезни. Пеллагра спасла его! В сорок шестом он уже жил в зоне, на сто первом километре от Москвы, а в сорок седьмом начал ходить без костылей, работал и даже прилично зарабатывал и тайком ездил иногда в Москву.

По дороге в Москву, в гудящем, галдящем, прокуренном вагоне это и вспомнилось однажды.

...Сорок третий год, февраль или март, пеллагра уже вовсю мучает его, и чуть ли не в последний раз он в камере. Потом доходягу только пересылают из лазарета в лазарет. Как же он забыл про этих венгров! Один о чем-то просил его. Но о чем? Он не помнит, помнит только номер дома и улицу. Как странно!

Ольховка, 25. И еще фамилия Чернопятов. Может быть, на Ольховке надо искать Чернопятовых?

Чистое безумие — незаконно приезжающему идти неизвестно к кому. Но что-то тянуло идти. От Красносельского метро — через виадук и направо. Вот и Ольховка. Грязно-розовый особняк с высокими полукруглыми окнами. Откуда здесь особняк, на этой неприметной улочке?

Он позвонил в первую же дверь в бельэтаже. Никаких Чернопятовых ни здесь, ни на втором этаже. У женщины, вышедшей на звонок, темные вьющиеся волосы и печальные-печальные светлые глаза. Он чуть не спросил: «Что с вами?» Вместо этого сказал:

— Может быть, раньше жили Чернопятовы? До войны?

— Нет...

Он увидел телефон за ее спиной. Почему не ушел сразу? Что-то было в этой женщине, не отпускавшее его. Хотелось о чем-нибудь спросить, что-то сказать.

— Не позволите ли вы мне воспользоваться телефоном? — смущаясь попросил Георгий Константинович.

Он редко приезжал в Москву, раз в два месяца, не чаще, навестить мать и сестру. Они радовались, когда он приезжал, но еще больше пугались. «Гоша, зачем ты рискуешь?» — говорила мать. Сестра молчала, и было непонятно, радуется или осуждает.

Когда его посадили, сестре исполнилось двадцать лет, из-за него ей пришлось уйти из института, она училась в Инязе на Метростроевской, и теперь его мучала вина перед ней.

— Да в чем же ты виноват? — утешала его мать.— А кто тогда перед тобой виноват?

Перед ним виновата маскировка, черная бумажная маскировочная штора, которую он забыл опустить на окно. Пришел вечером с завода смертельно уставший и лег спать, а проснулся оттого, что барабанят в дверь. «Ты что, гад, сигналы подаешь?» — кричал чей-то голос.

В комнате ярко горел свет. Откуда свет? Он же не зажигал его! Потом вспомнил: когда вошел, привычно, почти машинально щелкнул выключателем у двери. Света не было, а теперь его, очевидно, дали...

Про случай с маскировкой сообщили на завод. Георгия Константиновича вызвали в первый отдел и долго говорили всякую ерунду, буравя глазами.

А через три недели в его цехе запороли деталь, важную деталь, которую в ту же ночь ждали на сборке. Никто не ушел из цеха, и к утру деталь была готова, новенькая деталь, загляденье! Но главный инженер, вместо того чтобы сказать «спасибо», сказал: «Я ничего не могу для вас сделать».

Вот так он перестал быть человеком и стал СОЭ — социально-опасный элемент. Элемент! Он сошел бы с ума, если бы не пеллагра. Она и тут ему помогла, заставляя думать о том, чем утишить боль, а не о том, что с ним произошло.

Всю жизнь он был обыкновенным, как все. Обыкновенным инженером, работающим хорошо и честно, обыкновенным мужем обыкновенной жены. Впрочем, его жена Анна Егоровна, Нюся, как раз считала себя необыкновенной и потому, должно быть, ушла от него в сорок первом году, перед самой войной. Он и это пережил как-то очень обыкновенно, не терзаясь. «Может быть, я не любил ее?» — удивлялся он.

Почему же с ним, с таким, как все, случилось самое страшное, что может случиться с человеком? Эта мысль сводила с ума, и если бы не пеллагра (вот парадокс!), если бы не смертельная пеллагра, он бы, наверное, не выжил.

Сначала приезжал со сто первого в Москву на костылях, ноги еще не слушались. Но не приезжать не мог. Только здесь, выбираясь из зоны, дышал упоительным воздухом свободы. Большой город обступал, опять казался родным, таким, как до всего, до черты, разделившей мир.

Мать хлопотала вокруг него, кормила, а ночью — он знал — не будет спать, будет сторожить каждый шорох на лестнице. Так уже бывало: он, разбуженный ею, уходил на черный ход прежде, чем в дверь звонили: «Проверка!».

Их дом — на Кадашевской набережной, против Кремля, неудивительно, что к ним то и дело наведывались с проверкой.

Пока он ел, мать развлекала его разговорами. Однажды рассказала, что Нюся во время войны вышла замуж.

— Да так удачно! За какого-то чина с Лубянки. Говорят, за границу с ним ездит, вся в шелках и в панбархате.

Он слушал вполуха. Какая разница, за кого вышла замуж бывшая жена?

Как-то в метро пожилая женщина уступила ему место. Он отказывался. «Что вы! — сказала женщина, глядя на костыли.— Мы фронтовиков уважаем».

Он сидел и плакал, никто этого не замечал, лицо спокойное, а внутри все разрывается и плачет.

Телеграмму принесли среди ночи. «Поздравляю люблю»,— прочитала Леля. Зачем приносить ночью такие телеграммы, подумала она, расписываясь на каком-то клочке. Сердце колотилось, и руки еще дрожали. Ничего нет страшней ночных телеграмм, ночных звонков в дверь. «Молнии зачем-то шлют»,— недовольно проворчал посыльный.

Когда он ушел, она снова легла, погасив лампу на тумбочке у кровати. Но тотчас же зажгла опять и еще раз прочитала: «Поздравляю люблю». А подписи нет. Какой странный нелепый человек! Что же будет?

Девочки спали в своей комнате, их не разбудил даже ночной звонок. Никогда она не умела спать так крепко. Хорошо, что они не проснулись и ничего не узнают про телеграмму. Слабый серый рассвет растекался по оконному стеклу. Должно быть, часа четыре, нет уж смысла спать, скоро все равно вставать и идти в очередь.

Она занимала очередь в шесть часов, а в семь бежала будить Ирму и переписывала лиловым химическим карандашом номер со своей ладони на ладонь Ирмы. Карандаш всегда лежал у Генриха на столе.

— Где карандаш? — спрашивал кто-нибудь из детей.

— Возьми на столе у отца,— говорила Леля. Она не хотела, чтобы они забыли, что был отец, и поэтому он всегда как будто присутствовал в доме. «На столе у отца», «в отцовском портфеле», «Генрих любил чай с молоком», «вот отец бы на тебя посмотрел!»

Привычку пить чай с молоком он вывез из Англии. «О, что ты делаешь! — с притворным ужасом говорил Леле.— Англичанин бы умер, увидев. Сначала — молоко и только потом — чай».

Все это было сто лет назад. Сто лет назад смеялись, сидя за столом, и он говорил: «Англичанин бы умер, увидев...»

В единственном письме *оттуда*, непонятно как, через десятые руки дошедшем до Лели, была только одна фраза: «Я все помню и ты помни». Не хотел или не мог написать больше? Так никогда и не узнала. Не письмо, в сущности, одна фраза: «Я все помню и ты помни». Чем дальше шла жизнь, тем становилось яснее — он сумел передать ей главное. Помню — значит, все, что было, стоит помнить до конца. И ты помни — значит, сохрани и передай детям, чем была наша жизнь, твоя и моя.

Жизнь наградила любовью необыкновенного, редкостного человека.

— Он был необыкновенный человек, редкий,— говорила она детям.— Он потому и ушел из жизни так рано: лучшие уходят первыми...

Она знала: он ушел не потому, что был лучше других, он как раз разделил участь многих, это-то и невозможно понять, это-то и невозможно объяснить детям. Это и себе невозможно объяснить. «Вырастут, может быть, что-нибудь станет яснее, может быть, и я в конце концов пойму, что за буря нас разметала...»

В тот день, когда принесли телеграмму, Леле исполнилось сорок три года. «Сегодня — выходной,— вдруг вспомнила она, глядя на светлеющее окно,— господи, значит, не надо идти в очередь, магазин же закрыт».

Она засмеялась беззвучно, уткнувшись в подушку. Как хорошо! Можно никуда не идти, а лежать, блаженно вытянувшись под легким байковым одеялом.

Все одеяла, простыни, подушки были целы, когда вернулись, и даже некоторые ее платья, и детские вещи, из которых Ирма и Марта давно выросли. И даже шторы, зеленые шелковые шторы, изрядно выцветшие за эти годы, висели на окне.

Пропали только книги. В книжном шкафу дверцы стояли настежь, и всюду на полках лежал толстый слой пыли.

Увидев открытый настежь шкаф, Леля разрыдалась. Не потому, что было жалко книг, да господи! — пропало все, при чем тут книги? Но этот пустой книжный шкаф так был похож на всю разоренную жизнь, как будто нарочно стоял тут и ждал, чтобы показать ей это.

В сентябре сорок первого Генрих сам отвез их в эвакуацию, его назначили начальником эвакэшелона, в котором уезжали из тревожной затемненной Москвы семьи сотрудников редакции. Леля не хотела ехать.

— Право, лучше остаться,— говорила она.

Но Генрих был непреклонен: только эвакуация. Если бы они остались, ее бы, возможно, забрали так же, как жену Бартоша, его сына и невестку, а детей, так же, как внуков Бартоша, определили бы в детский дом. Думал ли об этом Генрих, пряча их подальше от всех глаз в Среднюю Азию?

Он вернулся в Москву в начале сорок второго, а в ноябре перестали приходить письма. И только в январе сорок третьего, в конверте, надписанном чьей-то чужой рукой, к Леле дошла эта единственная фраза: «Я все помню и ты помни».

Сказать некому, некому пожаловаться на страшную беду, снова и, как оказалось, навсегда постигшую его. Идет война, в дома приходят похоронки, а ей, выходит, и плакать нельзя при всех. «А ваш-то муж где?» Немыслимо сказать правду, страшно. Научилась лгать, изворачиваться. Всю жизнь лгала.

А тут еще свекровь (Генрих отправил ее вместе с ними) с безжалостными вопросами: «Wo ist Heinrich? — Где Генрих? — Warum schreibt er nicht? — Почему он не пишет?»

О, господи, почему он не пишет! «Да потому,— хотелось закричать,— что — без права переписки! Это, представьте себе, еще в лучшем случае»,— так она думала тогда, но ничего не кричала, только стискивала зубы.

«Я все помню и ты помни...»

Сестра Ласло — Марика — написала ей тогда же, в январе, что, возможно — возможно! — Генриху дали десять лет без права переписки. Она написала об этом не прямо, а иносказательно, но Леля поняла. Поняла, что это в лучшем случае, худшее — судьба самого Ласло. После письма Марики сердце закаменело — ни слезы́. Вымолить бы у судьбы десять лет без права переписки!

Не вымолила.

5

Постепенно в шкафу появились кое-какие книги, их покупала Леля на развале в Китай-городе, терзаясь, что отрывает от хозяйства последние деньги. Но как удержаться, не купить Тургенева, да еще в таком прекрасном старинном издании!

В основном же книги дарил, приходя в дом, Георгий Константинович. Прежде он дарил конфеты, но Леля однажды неучтиво сказала:

— Что за буржуазные привычки! Лучше бы книгу принесли...

И с тех пор он дарил книги.

Она не любила Георгия Константиновича. «О, господи, да конечно же нет! Я не люблю его, я уже никогда больше не стану даже произносить этого слова!» Но если он долго не приходил, возникало смутное беспокойство, будто недоставало чего-то.

Ей не нравилось, как он говорил: медленно, словно вначале произносил все про себя, а уж потому вслух. Не нравились его усы и его имя. Неизвестно было, как же его называть, если она, допустим, перешла бы с ним на «ты». Георгий? Напыщенно, официально. Жора? Пошло. Гоша? Но Гоша — смешно, это для ребенка, а не для взрослого человека.

С Георгием Константиновичем познакомились при обстоятельствах весьма странных. Он позвонил однажды в квартиру и спросил, не здесь ли живут Чернопятовы? Это было вскоре после возвращения Лели с детьми из эвакуации.

— Нет,— сказала вышедшая на звонок Леля.— Здесь нет Чернопятовых.

— Не позволите ли вы мне, в таком случае, воспользоваться телефоном?

— Пожалуйста,— сказала Леля. Телефон висел на стене в коридоре, аппарат был старый, и в нем всегда что-то дребезжало и стучало.

— Ну и аппарат у вас,— сказал незнакомец.

— Да уж,— согласилась Леля.

Он набрал какой-то номер, не дозвонился и ушел. А на другой день явился с новым телефонным аппаратом и, не обращая внимания на Лелины изумленные протесты, сам же и установил его. Пришлось предложить ему чаю, и пока она готовила чай и накрывала на стол, он помог Ирме решить задачу по алгебре...

— Кто такие Чернопятовы? — не раз спрашивала она его потом.

Он отшучивался, говорил, что это военная тайна. Похоже, что он просто выследил ее на улице и придумал этих Чернопятовых, чтобы войти в квартиру.

— Да? Это так? — спрашивала Леля.

— Может быть, так, а может быть, не так,— отвечал он, посмеиваясь, и она в конце концов перестала спрашивать. Какая разница?

В доме был тулуп, принадлежавший Генриху, большой овчинный тулуп, который Генрих брал с собой в командировки, когда работал в Поволжье. На тулуп возлагались особые надежды. «На черный день,— говорила Леля.— Это на черный день. Продадим, когда будет крайность».

Наконец, собрались продавать. Крайность заключалась в том, что ни у Ирмы, ни у Марты не было теплых вещей. Первую зиму, когда вернулись в Москву, еще проходили кое-как, а за лето вытянулись, и все оказалось не впору.

— На Даниловском надо продавать, ни в коем случае не на Преображенке,— советовали Леле сослуживцы.

Поехали на Даниловский. Рюкзак, в который едва впихнули тулуп, Ирма надела на плечи. Леля и Марта несли сумки с кое-какими вещами, не ехать же из-за одного тулупа. Было холодно, ветрено, но зато все продали и даже, как считала Леля, выгодно. На рынке, это она заметила, царило какое-то странное возбуждение. «Но, может быть, здесь всегда так?» — подумала Леля. В воздухе носилось слово «реформа». «Реформа, реформа»,— слышалось отовсюду. «Что за реформа?» — удивилась Леля, но тотчас же забыла об этом.

Дома согрели на керосинке чайник, стало тепло, уютно, и Леля почитала девочкам перед сном Тургенева. В последнее время редко выдавались такие вечера: то срочная корректура, которую приходилось брать на дом, то Георгий Константинович в гостях, то еще что-нибудь.

А утром объявили реформу, и деньги, вырученные за тулуп, пропали, превратились в копейки.

Теплые вещи для детей купил Георгий Константинович. Когда он узнал про историю с тулупом, рассердился: «Надо же было у меня спросить, что вы все своим умом!» Леля обиделась и весь вечер сидела с замкнутым суровым лицом. А через несколько дней Георгий Константинович приволок целую кучу вещей: валенки, шапки и шинель, черную прекрасную шинель, из которой получилось отличное пальто для Ирмы.

Что ж, ей было бы гораздо труднее жить на свете без этого человека. Она благодарна ему. Но из благодарности не выходит любви, нет, не выходит.

Она не разрешала ему оставаться до утра, и он покорно уходил среди ночи, и уж бог его знает как добирался до дома. Она же, оставшись одна, выбрасывала из пепельницы окурки, открывала форточку, грела на керосинке воду, мылась с ног до головы в холодной ванной и только после этого ложилась в постель и, вытянувшись под одеялом, не спала до утра.

Слава богу, он ни разу не предложил ей: «Выходите за меня замуж». Вынужденная отказать, она бы, должно быть, рассорилась с ним, но разве было бы лучше — рассориться? Наступает же пустота, или как это назвать, когда он долго не приходит? Все время в каких-то отлучках, отъездах. Вот и теперь. Откуда эта телеграмма?

Леля, не зажигая света (стало уже совсем светло), в третий раз развернула синий телеграфный бланк. «Поздравляю люблю», кроме этих слов в телеграмме были только цифры.

«Какой странный человек,— снова подумала она.— И какая странная женская жизнь! Когда-то так безоговорочно осудила Муру. Они — ровесницы, но Мура всегда была опытней. Опытная женщина. Опытная женщина не позволяет себе ни к чему относиться безоговорочно. Мало ли что может произойти, неизвестно еще на что сама пойдешь, что ж других-то осуждать! Но все-таки Анисимов — это невыносимо, кто угодно, но не Анисимов!»

Анисимов почти всю войну проработал в Швеции. Когда кто-нибудь из глупых знакомых (а такие всегда найдутся) говорил: «Ну вам повезло, в такие годы оказаться в нейтральной стране!» — он отвечал, поднимая брови: «В нейтральной стране своя война». И глупым знакомым ничего не оставалось, как замолчать; что такое своя война в нейтральной стране, никто не понимал.

По странному совпадению Анисимов и Мура вернулись в Москву в тот же день, что и Леля с Мартой и Ирмой.

Анисимовы, заезжавшие из Стокгольма в Берлин, прибыли на Белорусский вокзал в международном вагоне, и носильщики долго перетаскивали в машину их чемоданы. Леля с девочками приехала из Средней Азии в поезде, называвшемся «500-веселый», с тремя узелками в руках. Один у нее, другой — поменьше, у Ирмы, и третий, совсем маленький, у Марты.

Поезд тащился семь дней, подолгу останавливаясь чуть ли не на разъездах. У них было два сидячих места и одно лежачее, на котором дети спали по очереди, а Леля спала сидя, привалившись головой к дребезжащей вагонной стенке.

Напротив, тоже сидя, ехал недавний солдат по имени Гриша. Он забавлял девочек смешными историями, происшедшими с ним на войне, вместо «конечно» говорил «конюшня», говорил «апоханехо?», что означало: «А по харе не хочешь?», и весело хохотал. У него не было правой ноги, и он всем желающим демонстрировал новенький коричневый протез, изготовленный для него в ЦИТО — Центральном ортопедическом институте.

— У меня в ЦИТО все профессора водой не разлей, такие друзья! Мне там что хошь сделают! — говорил Гриша.

— Чего ж тебе ногу новую не сделали? — спрашивал его кто-то, смеясь.

— А я не захотел,— хохотал Гриша.— Ноги и у дураков есть, а ты попробуй такой протез получить! Во! — и он стучал по протезу желтыми от опиума пальцами.

Гриша стал наркоманом, повалявшись в госпиталях, и в Среднюю Азию ездил за опиумом. Лелю пугало его бурное веселье, она знала, чем это может кончиться.

Кончилось столь же бурной истерикой. Двое мужчин навалились на Гришу и держали его, чтобы, не дай бог, не выбил оконное стекло, как грозился.

Леля увела девочек в дальний конец вагона, где не так были слышны Гришины отчаянные вскрики, а когда все кончилось, они вернулись на свои места, а Гриша спал — кто-то уступил ему на время свою полку.

Когда подъезжали к Москве, Лелю начала бить дрожь, голова пылала, должно быть, поднялась температура.

— Мама, что с тобой? — испуганно спрашивала Марта. Ирма, забравшись на верхнюю полку, не отрывалась от окна.

— Ничего,— стуча зубами говорила Леля.— Это сейчас пройдет.

— А ну, хлебни-ка, девка! — внимательно посмотрев на нее, сказал Гриша и протянул мятую, видавшую виды фляжку.

— Нет,— сказала Леля.

— Хлебни, хлебни, не бойся, это чистый неразведенный спирт.

И она отпила каплю. Рот и горло обожгло, она задохнулась, закашлялась, но дрожь прошла. И вот уже плывут мимо окон чьи-то лица, платформа, носильщики с медными бляхами на белых фартуках...

Там, откуда приехали, осталась могила Лелиной свекрови, матери Генриха. Одинокая могила на чужом мусульманском кладбище. Думала ли старуха, что аил Шалба станет ее последним прибежищем?

«Генрих должен увезти меня отсюда,— твердила она.— Это он во всем виноват. Кому он сделал лучше? Никому. Niemandem».

Это «niemandem» выводило из себя, бесило. Свекровь так и не выучилась русскому языку, с Лелей говорила по-немецки, с детьми — по-венгерски, они все равно ничего не понимали. А жалела только себя, даже детей не жалела.

«Кому он сделал лучше? Мы должны были остаться в Венгрии, мальчик прекрасно бы учился и там».

Мальчиком свекровь называла младшего сына, своего любимчика Фери. «Прекрасно бы учился и там». Как будто Генрих, с великим трудом устроивший переезд матери и брата в Москву, именно собирался дать брату высшее образование, а не спасал его от застенков Хорти. Старуха ничего не хотела понимать, специально, чтобы раздражать Лелю, все время повторяла эти глупости и вечно говорила о смерти, а в Леле тогда прямо-таки бушевала неукротимая жажда жить.

Война, Генрих неизвестно где, может, его уже и на свете нет, а она — ужас какой! — бежит вечером к арыку под звездным небом в старом Розином полушубке и ей хочется жить, жить, несмотря ни на что. Ощущение острое, как голод.

Роза — их квартирная хозяйка, казашка, что бы она делала без Розы! Научила Лелю мыть волосы каймаком, каймак тек по лицу, по губам, и Леля, смеясь, слизывала его языком. Роза расстелила кошму в саду, девочки загорали на кошме, а Леля сушила тяжелые мокрые пряди и смотрела, как они блестят на солнце...

Кругом горы, горы, они словно сдвинулись, чтобы заслонить их, больше некому заслонить, защитить, но так хочется жить!

А потом это прошло. Упрекала себя, ужасалась: «Эгоистка! Генриха нет, а она радуется, что жива». А оказалось, что все — проходит. Как молодость. И уже едва вспомнишь потом: что это за ощущение так остро волновало сердце?..

...И вот уже плывут мимо окон московские лица, московские носильщики... «Вот мы уже ступаем на платформу, вот мы уже в Москве, я и дети. А старухи нет. Я никогда не любила ее, и плачу, что ее нет». На кладбище в Шалбе могила без креста, на мусульманских кладбищах крестов не ставят. «Зачем крест? — сказала мать Розы, помогавшая хоронить.— Аллах и так всех помнит».

Москва сорок шестого года! Лето, теплые ливни, пластикатовые (новое слово) цветные плащи с капюшонами на женщинах, подтянутые (только что из шинелей) мужчины с тщательно выбритыми веселыми лицами, пестрый немецкий крепдешин, калорийные булочки с изюмом в коммерческих магазинах, томатный сок в довоенных забытых сифонах конусом на переходе в метро, рядом с театральной кассой, звон трамваев на Арбатской площади, а Арбатского рынка уже нет, Гоголь, грустный, нахохлившийся и цепи вокруг него, запах молока в кафельной молочной на углу Большого Афанасьевского, запах аптеки на Моховой... Неистребимы запахи, звон и шум Москвы, неистребима Москва, родной, пестрый, чужой город!

6

Когда она говорила: «Теперь уходите, уходите», он молча одевался в темноте ночи и уходил. Всегда молча, потому что боялся, что однажды признается: «Мне некуда идти».

Она ничего о нем не знала, не должна была знать. Такое время: никто ничего не должен знать. Он спускался в подъезд и стоял там, пока не рассветет, пока на улице не появятся люди, спешащие на работу. Смешавшись с ними, шел на вокзал. Вокзал близко, но ночью идти опасно, могли остановить, спросить документы. Он не должен приезжать в Москву, но теперь он тем более не мог не приезжать: она ждет его. Как бы ни было сурово ее милое лицо, он знал: она его ждет, она ему рада. И девочки рады. В их скудной уединенной жизни («Как странно,— думал он иногда,— у них как будто и знакомых нет...»), в их жизни он был неким событием, праздником. Со свертками из коммерческого магазина он спешил на Ольховку, удивляясь судьбе, приведшей его сюда.

Иногда ему хотелось рассказать ей, как узнал про Ольховку, почему отправился искать неведомого Чернопятова, но он не решался. Ведь это значило бы рассказать все и — испугать ее: кого принимает в доме? Зопника, незаконно приезжающего в Москву, нарушающего паспортный режим!

Вот почему и он ни о чем не спрашивал. Если хочешь, чтобы тебе не задавали вопросов, не задавай их сам. Как хотелось, однако, обо всем ее расспросить! Старшая девочка похожа на нее, только темноглазая, но уже видно, что — красавица, младшая — как будто не похожа, разве что глазами, такими же светло-серыми, с тем же печальным, недетским выражением. Нерусские имена... Впрочем, нерусских имен вокруг предостаточно, его собственную сестру зовут Изольда. В первый свой приход, помогая Ирме решить задачку по алгебре, он прочел ее фамилию на тетрадке: Гараи. Итальянская?

Он дарил Елене книги, вкладывая туда деньги. «Вы с ума сошли!» — сказала она ему в первый раз, недобро сверкая глазами. «Умоляю вас,— пробормотал он.— Это детям». И она вдруг отложила книгу с деньгами и больше не сказала ни слова.

Ночью она иногда плакала, уткнувшись в подушку. Он боялся, что в соседней комнате проснутся девочки, и не понимал, что с ней. Он говорил ей «ты» и «Елена», но только ночью, днем это невозможно было себе представить.

— А вы воевали на войне? — спросила его Марта в первый же вечер.

— Нет,— сказал он и покраснел.

— А наш папа пропал без вести,— строго сказала девочка.

«Фери уцелеет при всех обстоятельствах,— смеялся когда-то Генрих.— Есть люди, которые умеют уцелеть. Наш Фери из этой породы, очень любопытная порода...»

Он говорил о младшем брате, как о человеке из соседней квартиры. «Странно,— удивлялась Леля.— Вы словно чужие, у вас нет ничего родственного». Потом удивляться перестала: для Генриха, для Бела, для Мате были гораздо важней какие-то совсем иные, не родственные связи. Они и в мирной, обычной жизни все как будто стояли на баррикадах. Кто стоит рядом на баррикадах — тому мое сердце и рука. А Фери, считал Генрих, только делает вид, что стоит рядом.

Но почему он должен был участвовать в их спорах, отыскивать вместе с ними истину? Он был мальчишкой, когда они сражались за эту истину, что он мог понимать!

Перед войной Фери женился на девушке по имени Дина, всегда сидевшей в гостях с таким лицом, будто ее обидели.

— А ты знаешь, дома у нее совсем другое лицо,— удивленно сказал Генрих, вернувшись от матери (мать жила вместе с младшим сыном в Скатертном переулке).

— Какое же?

— Такое, что она сейчас сама всех обидит.

Леля рассмеялась.

— И представляешь, сказала мне: «Не говорите, пожалуйста, с Фери о политике, он этим не занимается».

— И что же ты?

— Я сказал, чем же он тогда занимается? Ведь вся жизнь — политика...

Как был удивлен и испуган Фери, узнав, что они вернулись!

— Вряд ли это благоразумно,— сказал он Леле.

Она пришла на Скатертный одна, без девочек. И правильно сделала: такая нерадостная встреча.

Раньше, вместе с матерью, Фери и Дина занимали две комнаты, теперь, похоже, им принадлежала вся квартира. Ковер на полу... Ничего подобного раньше не было, все, выходит, потеряли, а эти приобрели?

Леля сделала вид, что ничего не замечает. Из гордости. Но Дина не выдержала.

— Правда, красивый ковер? Это Фери привез из Австрии. Он теперь во Внешторге.

Леля стиснула зубы. «Wo ist Heinrich?» — услышала она голос свекрови.

— Где Генрих? — спросила она.— Что ты знаешь о нем?

Фери молчал. Глаза его сделались плоскими. «Ничего не знает и боится знать»,— поняла Леля.

Еще предстояло самое опасное — прописка. Конечно, она поступила неблагоразумно, вернувшись с детьми в Москву. Но не Фери говорить ей об этом. Кто-то только боится, а кто-то приобретает ковры. Между тем и те, и другие носят фамилию Гараи. Разве не удивительно?

Леля спросила:

— Это не вы платили за нашу квартиру?

Фери и Дина молча вытаращились на нее. Платили за квартиру? Как это понять?

— Кто-то вносил квартплату все эти годы. Потому квартира и сохранилась за нами,— сказала Леля.— Мне соседка написала, Нина Карловна, вот мы и вернулись...

Она ни минуты не сомневалась, что за квартиру платил не Фери, просто так спросила. Он даже писать им боялся, в последнее время совсем не писал. А Нина Карловна не побоялась, написала: «Почему бы вам уже не вернуться, Лелечка? Мне управдом сказал, что квартира числится за вами, кто-то перечислял квартплату, вы ведь, должно быть, знаете...»

Она не знала. Откуда?! Кто-то в трудное время заботился о том, чтобы им было куда вернуться! Кто же? Эрика?

— Лани давно в Венгрии,— сказал Фери. Леле не понравилось, что он назвал Эрику — Лани. Тех, с кем она стала Лани — нет, а Фери не имеет к этому никакого отношения.

Но оказалось — именно Фери имеет отношение ко всему, что изменилось в мире.

— Мы с Диной тоже скоро уедем,— сказал он небрежно.

— Куда?

— Как — куда? — удивился он ее непониманию.— В Венгрию.

Новость была оскорбительна своей несправедливостью. Почему все досталось Фери, именно Фери?

— У меня сейчас столько хлопот, ты себе не представляешь! — сердито сказала Дина. Леля вспомнила, что Генрих называл ее дикая собака Дина.— Не разрешают вывозить ковры! Куда же я дену ковры?

С такой легкостью говорят об отъезде, как будто здесь ничего не остается: ни могилы матери в далекой Шалбе, ни дочерей Генриха...

Леля ушла, жалея об одном: зачем приходила? Опереться не на кого, вот и Эрика уехала. Еще бы! Они так мечтали об этом. Генрих когда-то говорил

детям: «Что ж вы не учите венгерский? Ведь потом поедем в Венгрию».— «Не хотим в Венгрию!» — кричали девочки, а Леля смеялась: «Когда это — потом?» — «После войны»,— серьезно сказал Генрих, а никакой войны еще не было.

Уехали все. Все, кто жив. Так и должно быть: человек возвращается на родину, даже если главные годы уже прошумели над головой.

А Генрих!

Управдом Сучков Николай Иванович, видимо, не узнавая Елену Николаевну, долго вертел в руках документы. Так долго, что показалось: «Это конец. Он меня сейчас арестует. Позвонит, куда следует, и...»

— Аил Шалба? Далеко же вас занесло. От войны, значит, спасались? — громким противным голосом сказал управдом, все еще не возвращая документов.

— Мы были в эвакуации,— заискивающе пробормотала Леля.— Многие ведь были в эвакуации...

— Эва! — все так же громко сказал управдом.— Из эвакуации давно уж повозвращались!

И протянул Леле документы.

— Вещи целы?

— Да, да, спасибо,— обрадовалась Леля.

— Обыск был,— понизив голос, сказал Сучков. В соседней комнате кто-то громко щелкал на счетах.— Взяли-то его возле дома, когда с работы шел, а обыск был.

Прижав руки к груди, Леля со страхом смотрела на управдома.

— Ну хорошо,— громко сказал он.— Документы в порядке, квартплату исправно вносили, проведем на общих основаниях. Вот эту форму заполните и завтра мне обратно.

Она поняла, что надо уходить, но продолжала сидеть, не в силах уйти. Может быть, он еще что-нибудь знает?

Управдом поверх очков смотрел на нее не мигая. Если и знает, ничего больше не скажет, он и так сказал много. Леля встала со стула и низко поклонилась управдому.

В соборе на Елоховской площади звонили колокола... «Русскому воинству»,— сказал, повернувшись к Леле, старик в валенках с самодельными калошами. «Лето, а он в валенках»,— подумала Леля. Она обошла собор и повернула налево по Красносельской. Колокольный звон плыл следом до самого дома.

— Петр и Павел час убавил,— сказала дворничиха, развешивая на веревке мокрые половики.

— Что? — не поняла Леля.

— На час времени день убавился, вот что! Двенадцатое число сегодня, Петра и Павла праздник.

Двенадцатое июля! Она совсем забыла, Генриху сегодня сорок восемь лет. Его годы прибавляются, ее жизнь убавляется. Как непонятно все!

Прошлой зимой, после того, как уехал Фери, она получила письмо от Эрики. Очевидно, Фери рассказал ей, что Леля и девочки в Москве.

Эрика писала по-немецки. «Meine teuere Schwester! Моя дорогая сестра! Простите, что я вас так называю, но я так чувствую. Генрих был мне братом, товарищем. Мы его никогда не забудем...»

Как последние слова над могильной плитой.

7

Между тем девочки выросли. Ирма совсем взрослая — девятнадцать лет. В институт ее не приняли, даже документов не взяли, только посмотрели и сказали: «У нас набор окончен». Этого следовало ожидать, не послушалась матери, написала в анкете, что отец арестован.

— Напиши — умер,— говорила Елена Николаевна.

— Нет,— отвечала дочь.— Я напишу правду.

— Но ведь умер — это тоже правда...

— А потом всю жизнь трястись, как ты?

Грубо, но справедливо. Ирма, впрочем, тоже поняла, что — грубо, и потерлась щекой о материну руку.

— Не примут так не примут,— легко сказала она.

«Не примут — это еще полбеды»,— подумала Елена Николаевна. Когда дочь ушла, начала метаться: «Господи! Как я могла допустить! Надо было поперек двери лечь, никуда не пускать с этой проклятой анкетой. Ведь как донос на себя: отец арестован. В такое время, господи!»

Вернувшись, Ирма застала мать, лежащей на диване в жестоком ознобе. Померили температуру — 39. Ирма кинулась звонить в поликлинику, вызывать врача.

— Не надо врача,— слабым голосом протестовала Елена Николаевна.— Пройдет к утру.

Она положила горячую руку на колено дочери и смотрела не отрываясь, будто Ирма приехала издалека.

Так нельзя. Надо быть сильной. Что она вообразила себе? Что Ирма уже не вернется? Нельзя быть такой паникершей. Надо казаться сильной, уверенной, иначе девочкам не на кого опереться. Как ей самой. Так сиротливо от этого на свете!

Друзья Генриха были ее друзьями, а теперь их нет. В юности дружила с Мурой, но потом они разошлись. Как-то рассказала про Муру Георгию Константиновичу. Обычно ничего из прошлого не рассказывала, а тут рассказала, так, без подробностей. Он ничего не понял.

— Из-за чего разошлись? Из-за того, что вам не нравился ее муж, а ей — ваш?

Леля рассердилась. Как будто дело в мужьях! Мужья, если хотите, это — мировоззрение.

Георгий Константинович смеялся: «Вот так афоризм!»

Как хорошо было, когда он приходил, сильный, спокойный человек, без лишних вопросов умел все понять, во всем помочь. В сорок девятом году, в апреле вдруг пропал. Не приходит и не приходит. Даже на майские праздники не зашел, хоть они так его ждали! А в середине мая кто-то позвонил Елене Николаевне на работу и сказал: «Георгий арестован». После чего в трубке раздались короткие гудки.

Леля так растерялась, что не могла вспомнить, кто говорил — мужчина или женщина? Шла со службы к метро, чувствуя, как что-то тяжелое навалилось и давит на плечи.

Стеснялась называть его Гошей, идиотка! Спросила однажды, как вас зовут дома? Знала, что у него мать и сестра Изольда. «Дома меня зовут Гоша»,— сказал он и улыбнулся виновато...

Навстречу шли веселые крепдешиновые женщины под руку с веселыми мужчинами. «Если ты меня любишь...» — смеясь сказал за спиной у Лели женский голос.

«Как я устала, господи!» — думала она, входя в метро.

Мура устраивала прием для близких друзей. Она теперь никогда не говорила: «У меня будут гости». Она говорила: «У меня будет прием». Первой пришла тетка. Помочь. Тетку хлебом не корми, дай участвовать в приеме. Открывая ей дверь, Мура сказала, как говорила всегда: «Ты совсем не стареешь, тетечка!» — «Стареть неприлично»,— как всегда ответила Жанна Иогановна.

Вдвоем они начали перетирать бокалы, столовое серебро.

— Нынешнее серебро! — щурясь сказала Жанна Иогановна.— Разве такое было в имении у твоего отца!

Опять это имение! Тетка несносна. Уже сколько раз было сказано!

— Да что ты все боишься! Сейчас другие времена.

Глупа, как овца, говорит про Жанну Иогановну Анисимов, и следует признать, что — сущая правда. Ничто так не раздражает, как глупая самоуверенность. «Все боишься...» Если бы в свое время страх не погнал Муру туда, куда он ее погнал, в постель к Анисимову, где бы они были сейчас со своими имениями, аристократическими связями, национальностью «немка» в паспорте? Где? Что там ни говори про Анисимова, и хоть называет его Мура в крайнем раздражении «Иван-дурак», но ведь он спас их.

Когда-то — глупенькие! — обсуждали с Лелей, что истинней: бог есть любовь или любовь есть бог? Умора! Страх есть бог — вот истина! Чего не сделаешь из страха быть изгнанной, узнанной, пойманной! «Вашего отца зовут Иероним Францевич?» О, она не такая, как эта дура Лелька! У той все написано на ее красивом лице. А о том, что Мурой движет страх, не знал никто. И, разумеется, Анисимов. Потому и попался так легко. Разве бы он женился на дочери помещика? А уж когда женился, принимай грехи на себя и прячь концы в воду. Не всем удавалось, а Ивану удалось, не такой уж, видно, дурак.

Вспомнила Лелю... Она часто ее вспоминала. И жалела, да, жалела, несмотря на обидное, стародавнее: «...Каждый день видеть Анисимова, даже выходных не иметь». Вот так. Когда-то клялись в вечной дружбе. Леля-то плюнула на клятвы, а Мура — нет. Но об этом тоже никто (и Лелька!) не знает. Выскочила замуж за голодраного эмигранта. С ее-то данными! И всю жизнь промучилась с ним. Его и в двадцать девятом забирали, и в тридцать седьмом, и уже окончательно — в сорок втором. С высшей мерой. Лелька осталась без ничего, с детьми, черт знает где, и если бы не Мура, то и квартиру бы в Москве потеряла.

Другие времена, считает тетка. Ей-то откуда известно, какие сейчас времена? Этого даже Мура не знает. Пожалуй, что-то знает Иван-дурак.

— Опять начинается,— сказал он недавно, уткнувшись за завтраком в «Правду».

— Что начинается? — спросила Мура, но он ничего не прибавил к своему сообщению.

После его ухода она развернула газету: ругают какого-то Сомерсета Могема, космополитов. Ну и что?

Сегодняшний прием устраивается для Чернопятовых. Значит, все — по первому разряду. Мура достает из массивного, орехового дерева буфета мейсенские тарелки, ставит на стол бронзовые витые подсвечники...

С Чернопятовыми познакомились в Швеции в конце войны. Они приезжали в Стокгольм ненадолго, с какой целью — Мура не знала. Знала только, что Анисимов боится Чернопятова и рад, что Мура в два дня подружилась с его женой Анной Егоровной, Нюсей.

— Чернопятов — человек страшный,— сказал Анисимов Муре шепотом на улице. Она обомлела. Таких слов от Анисимова раньше не слышала, никогда никому не давал характеристик, разве что тетке: «глупа, как овца».— Это он в тридцать седьмом разбирался с делом Гараи и этих венгров, что вместе с ним. И он же подцепил их в сорок втором.

...В сорок втором, перед отъездом в Швецию Анисимов принес домой эту новость: Гараи арестован.

— Опять? — ахнула Мура. Разговаривали за обедом.

— Говорят, что будет высшая мера.— Анисимов налил себе боржоми в высокий стакан.— Допрыгались.

Мура решила, что это тот случай, когда она должна увидеть Лелю. Опасно, конечно, но она решилась и, раздобыв на другой день адрес в справочной, поехала на Ольховку.

Лели не было, а квартиру опечатывали. Двое. Мужчина и женщина.

— Вы кто же, извиняюсь, будете? — спросил мужчина, глядя поверх очков.

— Знакомая,— спокойно ответила Мура. И поинтересовалась: — А что же с квартирой будет?

— А квартиру заберут, раз за нее платить некому. Семья-то в эвакуации.

И Мура внезапно поняла, что надо платить. Надо платить за эту квартиру, а там видно будет. Ничего страшного, перечислять со счета, вот и все. Как перечисляют за свою квартиру и за теткину комнату.

Прямо с Ольховки, чтобы не передумать, Мура поехала в сберкассу и оставила распоряжение...

«...и он же подцепил их в сорок втором». Тогда в Стокгольме на улице шепотом Анисимов сказал ей, что многое, очень многое зависит от Чернопятова. «Что?» — спросила Мура. И он вдруг ответил: «Жизнь».

Вот оно что. Значит, и от Чернопятова зависит, кого казнить, кого миловать? Казнить Анисимова или миловать? В первый раз видела своего дурака таким испуганным.

А с ней страшный Чернопятов притворялся покорным и заискивающим. «Можно мне называть вас Мурой? Нюсе — можно, а мне — нет?» — «Вы еще не заслужили»,— дерзко отвечала Мура. Со страшными только так — дерзко и независимо.

С тех пор, вот уже пять лет, Чернопятовы — первые гости, Нюся — лучшая подруга.

— Иван Данилович,— сказала она Анисимову, входя в прихожую.— Займите пока моего благоверного, а я похищаю Муру.

Женщины ушли в спальню.

— Что-нибудь случилось? — спросила Мура, садясь на кровать.

— Да ничего особенного,— Нюся остановилась перед высоким зеркалом, внимательно разглядывая себя круглыми синими глазами.— Ты знаешь такую фамилию — Гараи?

— Да,— неуверенно произнесла Мура, лихорадочно соображая, что именно известно лучшей подруге.— А почему ты спрашиваешь?

— Жоржа арестовали.

— Жоржа?

Ах, да, Жорж — первый муж Нюси, разошлись еще до войны, лет десять назад.

— Оказывается, его во время войны забирали,— таращa глаза, рассказывала Нюся.— А потом освободили, актировали. Ну есть такая форма, мне Чернопятов объяснил (Нюся всегда называла мужа по фамилии), это когда человек уже все равно умирает. Но Жорж выжил, представляешь, вернулся, выжил, а сейчас его опять забрали. И, главное, Чернопятов мне ни гу-гу. Представляешь? Я это все узнала от Изольды. Она мне позвонила, сестра Жоржа. Как-то разыскала меня, плакала, как будто я что-то могу...

Мура закурила длинную — дамскую — сигарету. Напряженно ждала: при чем тут Гараи?

— Ну я нажала на Чернопятова, ему и выяснять не понадобилось, сразу мне сказал: «За связь с семьей врага народа». Есть, говорит, такая Гараи, мне любопытно, что за женщина?..

Леля! Нельзя скрывать от Нюси, что она ее знает, они вместе работали, это легко проверяется.

— Мы вместе работали в Наркоминделе, черт знает когда!

— Да, Чернопятов говорит, что ты должна ее помнить,— озабоченно сказала Нюся.— Красивая она?

Чернопятов знает, кто что должен помнить.

— Красивая? Была красивая, да ведь сколько лет прошло! — Мурины пальцы, вцепившиеся в деревянную спинку кровати, побелели. Знает или не знает, что с анисимовского счета несколько лет переводились деньги на оплату квартиры для семьи врага народа? Знает или не знает? Слава богу, она хоть не виделась с Лелей, когда вернулась из Швеции. Порыв, толкнувший ее когда-то на Ольховку, давно прошел. Зачем видеться? Каждому, в конце концов, свое. Jedem das Seine, как говорили в доме Иеронима Боша.

Тетка, которую Мура, приехав из-за границы, командировала по известному ей адресу, разузнала, что семья Гараи вернулась из эвакуации и живет в своей квартире. Ну и слава богу, пусть живет.

— Мне Жоржа жалко,— пропела Нюся, проводя пуховкой по лицу.

— Чего ж ты не попросишь своего Чернопятова? — засмеялась Мура. Кажется, не знает, со страхом подумала она.

Нюся тоже засмеялась.

— Да-а, допросишься у них. Чернопятов ничего не может...

Ничего не может? Вот так новость! Зачем же этот прием со свечами? «Мой Чернопятов обожает свечи, уверяет, что при свечах мы, женщины, делаемся красивей». Ничего не может? А как же Иван-дурак? Он-то считает, что Чернопятов — его главная ставка в этой карусели.

Любимое слово Анисимова — карусель. «Что можно понять в этой карусели? Сегодня ты подписываешь приговор, а завтра сам оказываешься на кругу!» Все же прилепился к Чернопятову, считал: охрана. Чем страшней, тем надежней. Выходит, уже и Чернопятов ничего не может? Переменились времена?

— ...ничего не может, потому что Жорж связан с семьей Гараи, а сам-то Гараи числится за Чернопятовым.

Времена не переменились. Прием продолжается. Дело Генриха Гараи числится за Чернопятовым — вот почему он (даже если бы захотел, что сомнительно), не может помочь бывшему мужу Нюси. Просто такое неудачное совпадение! А все остальное он может. Анисимов не прогадал!

— Слушай, брось ты себе голову забивать! — веселым голосом сказала Мура.— Пойдем к мужчинам. Нельзя их так долго оставлять в обществе моей тетки!

— Думаешь, опасно? — засмеялась Нюся.

8

Дыхание Чейн-Стокса. Рылись в медицинском справочнике — подарок Георгия Константиновича — искали, что это означает. И, не переставая, плакали.

— Неужели он может не выздороветь? — спросила Марта. Ирма, всхлипывая, листала справочник. Второй день в доме не выключалось радио. «Как на вокзале»,— подумала Елена Николаевна. Она лежала на диване под старой беличьей шубой, закрыв глаза.

Наконец, отыскали про дыхание Чейн-Стокса. «Какой ужас!» — всплеснула руками Ирма.

«Er ist Verbrecher. Он преступник»,— много лет назад говорил Генрих. Леля умоляла, требовала: «Перестань! Подумай о детях! Что ты себе позволяешь?»

Он позволял себе думать и понимать. Как горько и зло смеялся: «Сталин — это Ленин сегодня. Нет, ты только послушай! Присвоить себе имя Ленина! Verbrecher!»

— Неужели он может не выздороветь? — снова спросила Марта. Она не решалась сказать: «Неужели он умрет?» Слово «умрет» в применении к этому имени звучало немыслимо, ошеломляюще. Никто и не говорил: «умрет».

И вот — умер.

Verbrecher. Как это все соединить, понять? Траур неподдельный, плачут даже мужчины, войну прошли, а тут не стыдятся слез. Verbrecher?

Елена Николаевна твердо сказала дочерям, что на похороны их не пустит.

— Нет, нет и нет! Ни одна не пойдет. Там бог знает что будет твориться! И вдруг поняла, что пойдут обе и что слов ее просто не слышат.

По радио — оно у них так и не выключалось — объявили, что доступ в Колонный зал открыт. Дикое, безрассудное объявление! Москва, миллионами ног топча черный мартовский снег, повалила в Колонный зал.

У каждого времени свои слова. Вдруг со всех концов зазвучало: «реабилитация».

— Вы подали на реабилитацию? — спросила у Лели Софья Васильевна, старший корректор.

Леля покраснела. Выходит, они знали, где ее муж, а она так старательно все скрывала!

— А куда надо подавать?

— О боже мой, как же вы не знаете! В военную прокуратуру, на Кировской...

И вот этот день наступает: Елену Николаевну Гараи, подавшую прошение о реабилитации своего мужа Генриха Александровича Гараи, приглашают за ответом в приемную Главной военной прокуратуры.

Сквозь затянутые желтоватым шелком окна пробивается солнце. На жестких стульях с высокими спинками, стоящих вдоль стен, молча ждут своей очереди люди с замкнутыми взволнованными лицами. Елена Николаевна видит: волнуются, как и она, но скрывают. По привычке скрывать все.

Она тоже привыкла скрывать. «Где ваш муж?» — «Он умер». Марта прибежала однажды со двора в слезах: «Они дразнятся, что наш папа — враг народа!» Жили в Шалбе, Марте девять лет, откуда узнали?!

«Не играй с ними, вот и все. Глупости!» — сказала Леля. Но это были не глупости, не шуточки, с этим предстояло жить.

Ирму не приняли в институт, Марту в четвертом классе хотели исключить из пионеров, скрыла, что отец — арестован. А она ничего не скрыла, она верила, что пропал без вести. Она и потом еще очень долго в это верила. Врала? Впрочем, так ли уж врала? Разве он в самом деле не пропал без вести?!

А сколько было слез! Настоящего, не детского горя. Исключают из пионеров! Леля пошла в школу к директору: «Зачем вы это делаете?» Директор, молодая уверенная женщина с тугим перманентом, смотрела безжалостно.

— А что же вы хотите? Это ребята так решили. Мы поправим их, но...

Она не договорила, но Леля поняла: ее дети — отверженные, им не место там, где по праву находятся остальные...

Елена Николаевна украдкой разглядывает сидящих напротив людей. Разные. С одинаковой судьбой. Спросить бы у них, что они объясняли своим детям? Какие слова писали их дети в анкетах?

— Гараи! — (Елена Николаевна вздрогнула.) — Пройдите, пожалуйста.

Она вошла в дверь и направилась к столу, за которым стоял невысокий седой военный.

— Прошу вас,— указал он на стул, и после того, как она села, сел тоже. Потом поднес близко к глазам лежащую перед ним бумагу. «Близорукий»,— подумала Леля. Почему-то было неудобно смотреть ему в лицо, и она стала смотреть на стену за его спиной. Стена была покрыта коричневым линкрустом, и в нем зияла дырочка от гвоздя. Видимо, недавно висел портрет, теперь его сняли, а дырочка осталась.

— «Гараи Генрих Александрович, год рождения тысяча девятьсот первый, национальность — венгр, гражданство — советское...— неожиданно высоким голосом начал читать военный. Леля боялась пропустить хоть слово и от напряжения перестала понимать, что он такое читает. Анкета? Опять анкета?

— ...полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления...»

Леля не мигая смотрела на дырочку в стене. «Поздравляю вас»,— услышала она. Военный встал и протянул Леле бумагу. «Спасибо»,— машинально ответила она, с усилием оторвав взгляд от стены.

И вот она проходит мимо сидящих в приемной людей, открывает тяжелую дверь и выходит на улицу. Сначала — направо к метро, а потом — вниз по бульвару к Чистым прудам. «Поздравляю вас,— стучит в голове,— поздравляю вас». Она идет торопясь, что-то гонит ее вперед, вперед. И вдруг — как током: Генриха реабилитировали! Оправдали! Нет, не оправдали, а признали, что — ничего не было! Ничего не было, из-за чего стоило умирать, бояться, лгать собственным детям! Господи, какой день! Можно плакать, можно биться головой о чугунную решетку на Чистопрудном бульваре, но ничего нельзя изменить, вернуть. Все исчезло, превратилось в пепел, и вместо горсти пепла эта бумага в руках!

У Покровских ворот Елена Николаевна зашла в кондитерскую и купила пирожных. Девочки должны знать, что сегодня — праздник. Праздник! Но

никого не было дома, когда она вернулась. Ирма позвонила и сказала, что останется ночевать у Гали. Галя — Ирмина подруга, вместе готовятся к экзаменам. Ирма теперь учится в фармацевтическом, на вечернем отделении, а работает в аптеке.

— Отца реабилитировали,— сказала Леля в трубку.

— Что? — не поняла Ирма.

— Ладно, потом...

Марта пришла поздно и, увидев на столе пирожные, захлопала в ладоши.

— Ой, а я так жрать хочу! — засмеялась она.

— Отца реабилитировали,— бесстрастным голосом сказала Леля. Ликование уже померкло в ней.

— Да? Как хорошо! — Марта схватила пирожное.

— Руки поди помой,— сказала мать.

— Ой, мама, чего сегодня было! — торопясь рассказывала Марта.— Милка с Мишкой из второй французской ходили подавать заявление в загс. Смеху было!

Мила и Миша — ее сокурсники по университету. В прошлом году Марта поступила в университет, и ее (вот что значит переменились времена!) приняли, несмотря на то, что в анкете она написала про отца — репрессирован.

— Почему — Милка, Мишка, почему — жрать? Почему в тебе столько грубости?

В голосе Елены Николаевны звенело отчаяние.

Из дневника Елены Гараи.

«25 февраля 1956 года.

Сейчас разбирала вещи и нашла этот дневник, совершенно забытый. Последняя запись от 13 июня сорок первого года. Боже мой! В другой жизни... Стихи Марты о Сталине. Показала ей, думала посмешить, а она расстроилась, говорит: „Мама, вырви эту страницу, какая гадость!» — «Да ты была маленькая!“ — „Все равно гадость“.

Это она, да и все мы под впечатлением XX съезда. Он сегодня закончился, а открылся 14 февраля, в день рождения Ирмы. Мне это кажется знаменательным...»

Широкое небо, еще не вполне весеннее, но и не зимнее, сыплет на город легкий снег, и он тает, не долетев до мостовой. На улице Фрунзе, бывшей Знаменке, скользко. Улица скатывается с Арбатского холма вниз к Моховой. Недаром — Моховая, мох, болото, низина. Веселый снег щекочет лицо, когда Елена Николаевна, запрокидывая его, смотрит на трехстворчатое — «итальянское» — окно над аркой. На чужой свет за чужими стеклами.

Здесь было их первое с Генрихом жилье. Здесь бывала счастлива, несчастна, но больше — счастлива. Тень счастья навсегда за трехстворчатым окном.

Никого из прежних жильцов в квартире давным-давно нет. Григорий Дмитриевич не вернулся, Дарья Петровна в войну умерла, а Маню родственники увезли куда-то под Серпухов.

Об этом рассказала лифтерша, все так же сидевшая на своем стуле, покрытом стершимся от времени куском ковра, когда десять лет назад, вернувшись из эвакуации, Леля с Ирмой и Мартой пришли сюда.

— Под Серпухов, милые, под Серпухов,— пела лифтерша,— увезли Манечку, сердешную мою. А Григорий так и пропал в тюрьме...

Лифтершу все в доме ненавидели и боялись, подозревая, не без оснований, что она-то и есть главный соглядатай и доносчица. И ее же назначали понятой, когда приходили с обыском...

В такое время умудрялись быть счастливыми! А потом всех — всех! — разметала буря.

Как хочется рассказать Генриху про то, что их страдания теперь названы

словами, произнесенными вслух, с трибуны. Необоснованные репрессии. Как хочется рассказать!

Вот пришла к старому дому, как к родной могиле. То, что Генрих понимал так давно, и о чем она умоляла его молчать, говорила: «Перестань, подумай о детях!» — теперь обсуждают даже в трамвае. Необоснованные репрессии. Кто б мог предположить, что такие слова прозвучат когда-нибудь утешением!

Постояв у старого дома, Елена Николаевна возвращается к метро. На бульваре деревья еще зимние, белые на черной, ждущей весну земле. Прежний памятник Гоголю, говорят, увезли в Донской монастырь, а к новому и привыкнуть невозможно.

«...Как ты бежала по Пречистенскому бульвару, мне никогда не забыть!»

Осень пятьдесят шестого года стала точкой отсчета. Говорили: до венгерских событий, после венгерских событий.

После венгерских событий в Москву приехал Фери. Работать в торгпредстве. На Садовом кольце, у Самотеки им с Диной дали роскошную казенную квартиру, обставленную полированной мебелью.

— Полированная мебель на Западе уже вчерашний день,— сказала Дина, заметив восхищенные взгляды Ирмы и Марты. Леле стыдно: дочери выглядят какими-то бедными провинциалками. С разгоревшимися лицами примеряли по очереди Динину мутоновую шубу, разглядывали магнитофон, телевизор. «Мещанки!» — ужасалась Леля. Сама она очень холодно приняла приглашение Фери прийти в гости. «Хорошо, как-нибудь».— «Нет, нет,— запротестовал Фери, и голос его по телефону прозвучал с непривычным радушием.— Мы завтра же ждем вас!»

И вот они в гостях. После стольких лет!

Милиционер в будке у подъезда: «Вы к кому?» — «К Гараи».— «Пожалуйста, шестой этаж».

Шестой этаж. Табличка на дверях: «Ф. Гараи». Марта теперь — Михайлова, Ирма — Кузьмина. В два года одна за другой вышли замуж. Только Елена Николаевна по-прежнему — Гараи. Но разве дело в фамилии? Фери, Ирма и Марта, оказывается, неуловимо похожи друг на друга! Леля и Дина одновременно ловят это сходство. Раньше его, как будто, не было.

— А? — говорит Дина.— Раньше я этого не замечала. Особенно в Марте. Правда, Леля?

И Леля видит: да, похожи. Дочери Генриха похожи на его младшего брата. Ничего удивительного. Удивительно другое: как изменился Фери! Раньше имя Генриха даже упоминать боялся, а сейчас с воодушевлением рассказывает, что всю стену — всю стену! — занимает выставка, посвященная Генриху в городском музее в Залаэгерсеге.

— Нас пригласили на открытие,— в голосе Дины самодовольство. «Все так же бесцветна,— с удовлетворением отмечает Леля.— И очень постарела, тут уж никакая шуба не поможет».

— Мы были почетными гостями...

Кровь приливает Леле к лицу, оно становится пунцовым. В этой казенной роскоши дышать же нечем! Она поднимается со стула, и Дина сочувственно предлагает: «Я провожу тебя в ванную».

Значит, мертвым воздали по заслугам? «Всю стену»,— сказал Фери. А знает ли он, где та стена, к которой в последний раз прислонялся Генрих?

Но она несправедлива. В чем, в самом деле, виноват Фери? В том, что и он не погиб в Ухте, как старший брат? Это зависть и ревность говорят в ней, не дают дышать.

«Надо успокоиться, успокоиться»,— шепчет Леля, уткнувшись в мохнатое полотенце. Ее лицо пылает, и холодная вода не в силах остудить его.

Следовало бы поехать в Коми, в Ухту. Ведь именно там он погиб. Но что увидишь, кроме леса и неба? Все же следовало бы поехать. Но девочки учились, потом Ирма выходила замуж, Марта, лишних денег нет. И уже стало казаться, что не так это важно — поехать в Ухту. Важней нечто другое, другое. Истинный памятник Генриху — его дети. Какие они — вот что важно.

Сумела ли она воспитать в них его черты? Конечно, нет. Дочери бездумны, легкомысленны, и она виновата в этом. Сама внушала им не думать, на любые опасные вопросы отвечала: «Тише! Не надо об этом говорить. Тише!» Боялась стен, соседей, всего боялась. Теперь, когда как будто можно говорить обо всем, дочерям некогда. У них своя жизнь. Ирма заканчивала институт, Марта уже на пятом курсе. «Я буду журналистом, как папа». Но знает ли, что такое «как папа», неясно. Они забыли отца. Но, может быть, что-нибудь прорастет? Его честность, доброта... «Все же они хорошие, добрые девочки,— думает Елена Николаевна,— но не пристрастна ли я?»

Через год встретила Муру. Отправилась как-то в ЦУМ покупать подарок для Марты ко дню рождения и встала в длиннющую очередь за какими-то диковинными импортными босоножками без задников. На дворе осень, не сезон, а за босоножками — давка. Елена Николаевна отважно ринулась к прилавку, а когда вынырнула из толпы со съехавшей набок шляпой и с заветным чеком в руках — увидела Муру.

— Ну? — так, будто они не расставались на целую жизнь, насмешливо сказала Мура.— И ты туда же?

— Босоножки...— еще не отдышавшись пробормотала Елена Николаевна.— Для Марты...

— Сколько ей лет?

— Двадцать четыре года. А Ирме — двадцать семь.

— Значит, мы двадцать семь лет не виделись.— Лицо, в котором с трудом можно было узнать прежнюю Муру, сделалось серьезным.

— А ты знаешь,— улыбнулась Елена Николаевна.— Мы здесь и встретились в последний раз, там на улице, помнишь?

— Нет, не помню,— сказала Мура.— Как живешь?

— Живу... А ты?

— Я не живу, я доживаю,— сощурилась Мура.— Анисимова хватил инсульт, когда все началось. Вернее кончилось. Теперь я выношу за ним горшки, вот и вся карусель.

Она внимательно посмотрела на Лелю. Та молчала.

— Между прочим, торжествуй: Чернопятов застрелился.

— Чернопятов? — спросила Леля.— Кто это?

— Не знаешь разве? Теперь, впрочем, уже никто,— сказала Мура с усмешкой.— Я тороплюсь, у меня там тетка одна с Анисимовым.

— Жанна Иогановна? Неужели жива?

— Я думаю, она будет вечно жива. Ну, я бегу, привет!

Она стала медленно и тяжело спускаться по лестнице. «Может, догнать, хоть телефон спросить? — растерянно думала Елена Николаевна, глядя вслед толстой крашеной женщине.— Мура... Неужели я встретила Муру?! И — ничего. Пустота. Как она сказала? Привет! Как Марта...»

По дороге домой обдумывала разговор с Мурой. Чернопятов... Откуда она знает эту фамилию? Чернопятов. О-о-о! Георгий Константинович, его приход в первый раз! «Не здесь ли живут Чернопятовы?» Как же она забыла! Надо было расспросить Муру. Чернопятов застрелился. Что это должно означать? Давно уже в жизни нет загадок. Так, во всяком случае, кажется.

Но после встречи с Мурой неотступно думала не о ней, не о далекой, связанной с ней молодости — думала о Георгии Константиновиче, мучась своей виной перед ним. Где он? Жив ли? Конечно, нет. Был бы жив, непременно пришел бы. Стыдно сказать, она даже фамилии его не знает. Ни фамилии, ни адреса — ничего. Могла бы зайти к его родным, но как их искать? Мура очень постарела. Неудивительно: столько лет прошло, вся жизнь. А того, что в ней было, для двух жизней достаточно. «Es reicht» [1],— говорил Генрих. Как мало отпустила ему судьба!

Чернопятов застрелился. Что за непонятная загадка такая? Уже нет сил разгадывать загадки...

[1] Этого достаточно *(нем.)*.

Александр ГИТОВИЧ
(1909—1966)

ИЗ ЦИКЛА «РЕШЕНИЯ»

1. Говорят мне

Искусство — малая держава,
И мы ее агенты. Мы
Живем без крова и без права
Под страхом казни и тюрьмы.

Десантники — нам не до шуток
Там, где враждебно и темно,
А боевые парашюты
В земле закопаны давно.

Десантники — нам не до славы:
Мы сброшены в условный час,
Чтобы великие державы
В ночи не опознали нас.

Чтоб нам, надменным и крылатым,
Ползком — на пустырях земных
Приспособиться к меценатам,
Всю жизнь обманывая их.

Коль опознают, то затравят,
Но не пройдет и сотни лет —
И памятник тебе поставят,
Сожженный заживо поэт.

Не так ли сто веков кровавых,
В непрерываемом бою,
Воюет малая держава
За независимость свою.

2. Говорю я

Сыны фантастической фальши
С помесячной вашей зарплатой —
Какой из меня шифровальщик?
Какой из меня соглядатай?

Уж, если хотите — я атом
Той самой Советской державы.
Я был и остался солдатом
Ее Вдохновенья и Славы.

Вы — сыщики — знали об этом,
Что, горькое горе изведав,
Я был и остался поэтом,
Когда истребляли поэтов.

В бессмысленной вашей работе,
Лишенной малейшего чувства,—
Кого и куда вы зовете,
Внебрачные дети искусства?

Людей моего поколенья,
Когда мы детьми еще были,
Незримо воспитывал Ленин,
И мы этих лет не забыли.

Я слушаю песню чужую,
Ни слова я в ней не приемлю —
И старые кости сложу я
В мою материнскую землю.

◆◆◆

Пусть этой муке кто-то знает меру —
Мы знаем лишь ее страшнейший миг,
Когда в ночи, как жизнь, теряет веру
Влюбленный в эту веру ученик.

Убийство генетики

Рассудив, что власть — основа денег,
Почестей и мнимого труда,—
Сочинял доклады академик,
Не боясь грядущего суда.

Любопытен этот вид отваги,
Где, в академической тиши,
Проступают буквы на бумаге,
Словно грязь из-под ногтей души.

◆◆◆

Там, где Рыбинск и Волга,—
Там почудилось мне,
Что уснул я надолго
На родной стороне.

И на ветхом погосте —
Неотесан и груб —
Греет старые кости
Деревянный тулуп.
1965

Воркута. Начальнику экспедиции доктору геолого-минералогических наук Адриану Владимировичу Македонову

Был бы я под немалой угрозой,
Если раньше писал бы туда,
Где, звеня кандалами мороза,
Ледяная лежит Воркута.

И где ныне — являя собою
Радикальный каприз бытия —
Ходит рядом не окрик конвоя,
А научная свита твоя.

Может, надо, пословице веря,
Нам учесть этот странный пример —
Как твоей помогали карьере
Те, кто слали тебя на карьер?

Там — где некуда больше податься —
Среди стужи, сводившей с ума,
Матерьял для твоих диссертаций
Поставляла природа сама.

Был твой путь неподкупен и долог,
И поэтому — веку под стать —
Лучше всех научился *геолог*
О поэзии нашей писать.
1962

Ходоки

Души нам сослали в Колыму,
А потом свершилось это чудо:
Отворили грешницам тюрьму,
И они пешком бредут оттуда.

А мороз стоит — не продохнуть,
И метель бесчинствует и злится...

Ох, нелегок пешеходный путь
До Москвы — до мировой столицы.
1965

Ереванский пейзаж

Здесь грозный памятник стоял
И нас давил, как слово божье,
И вот — остался пьедестал,
Где мы толпились у подножья.

И так, и эдак вьется нить,
Но сердце человека радо,
Что никому не заслонить
Архитектуру Арарата.

Публикация
Андрея ГИТОВИЧА

О ПОЭТЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

Жизнь, лишенная поэзии, была бы бесцветна и глуха как пустыня — это я усвоил с детской поры и навсегда. Уже в юности мне удалось сблизиться с замечательными поэтами, ровесниками. Среди них — Борис Шмидт, Оля Берггольц, Борис Корнилов, Вадим Шефнер, а затем появился Александр Ильич Гитович. Он был всего лишь на год старше меня, но оказал на развитие мое огромное влияние и постепенно стал одним из учителей моей жизни. Я просто влюбился в этого умницу, в его душевную щедрость, в искрометную остроту ума и таланта. Нравился и его мощный спортивный облик (он ведь был классный теннисист).

Все в нем сочеталось как на подбор: природная честность, святость дружбы, прямота нелицеприятных оценок. Правду,— иной раз горькую, крутую, говорил он прямо в глаза. Не только друзьям — Володе Лифшицу, Михаилу Троицкому... Это относилось часто и к тем влиятельным, с кем начиналась его деятельность в литературе.

Вспомним особенно дорогих, близких Гитовичу друзей: среди них Н. А. Заболоцкий, М. М. Зощенко (он называл его Саня) и, конечно же, И. С. Соколов-Микитов, М. А. Светлов, Михаил Дудин...

...Лето вас приветствует июлем,
Ясной радугой, грибным дождем...
Мы еще побродим, повоюем
И до самой смерти доживем.

Это из юношеских стихов Гитовича,— 1933 года.

А мне, когда звучат эти строки, вспоминается, как с затаенной в груди надеждой повторяли мы с ним эти стихи, когда встретились в проклятую блокадную зиму сорок первого года на окраине Усть-Ижоры, здесь, под Ленинградом. Гитович был мужественным воином, настоящим кадровым офицером — носителем высокой чести. Он не отсиживался в редакции своей армейской газеты, а чаще всего дневал и ночевал под огнем в славном колпинском Артпульбате, или в раздолбанной снарядами Петрославянке у героев 12-го артиллерийского гвардейского полка, о славных делах и людях которого сложил много превосходных стихов.

Сохранилось мало друзей, тех, кто помнит, что на широкой груди поэта Гитовича светилась чистым серебром высшая, как сам он считал, боевая его награда — солдатская медаль «За отвагу». Он получил ее в гиблых Синявинских местах за непосредственное участие в воздушном бою с гитлеровскими «мессершмиттами»...

Среди всех подаренных мне книжек Александра Ильича есть и тощенький сборничек «Фронтовые стихи», где опубликованы вещи, созданные при коптилке блокадными ночами в моем присутствии, они стали уже частью лично моей биографии...

За долгие лета нашей дружбы он посвятил мне множество острых и лаконичных стихотворений — то отчаянно озорных, то лирических, светлых. Частично они опубликованы, иные хранятся в моих папках, а письма (их множество) — в Пушкинском доме.

В последние годы жизни Гитовича я был соседом его по комаровской даче. Мы виделись ежедневно, гуляли по лесам с двумя его шотландскими овчарками, он читал мне чудесные свои переводы китайских поэтов, читал и новые свои стихи, которые почему-то никто не хотел печатать.

Потом мы вместе обедали. Из рядом стоящего домика, в четырех-пяти шагах, выходила к нашему застолью Прекрасная Дама — это была Ахматова. Прямая, статная, в пышном убранстве легких серебряных волос.

Я почему-то не смел задержать на ней пристальный взгляд, а Гитович, ее угощая, мило шутил, над столом порхали шутки, экспромты... Анна Андреевна обладала таинственной способностью незаметно исчезать. Одно какое-то мгновение — и вот уже напротив в ее окошечках загорался огонек настольной лампы.

— Опять какое-то чародейство,— говорил с явным удовольствием Гитович.

В комаровской тишине работалось ему хорошо и жилось спокойно, хотя зачастую и голодновато.

Помню, как в особенно трудную годину поддержал и просто выручил из беды старого друга Миша Дудин. Он — и больше никто — добился помощи Литературного фонда, он воплотил в явь давнюю мечту Александра Ильича — воздушное путешествие в Армению, и, наконец, убедил кого надо срочно издать новую книжку превосходных стихов Гитовича.

Счастливая эта пора недолго продолжалась. В августе 1966 года поэт скончался. Рухнул в одно мгновение.

И удивительно было видеть на недвижных устах поэта застывшую улыбку: в ней казался нам — и мне, и Вадиму Сергеевичу Шефнеру — какой-то высший смысл. Это — выражение отдыха и покоя после тяжкого, но выполненного до конца труда всей своей жизни.

Борис СЕМЕНОВ

Рис. О. Яхнина

Фазиль
ИСКАНДЕР

КУТЕЖ ТРЕХ КНЯЗЕЙ В ЗЕЛЕНОМ ДВОРИКЕ

Мы прикатили на трех машинах в это уединенное абхазское село по причине, которая сейчас совершенно выветрилась у меня из головы. Точнее всего, никакой причины не было. Один из участников нашей компании был приглашен к своему родственнику, а нас он просто прихватил по дороге.

Нас было человек восемь. В общем, что-то вроде этого. Точно не помню. Да и какое это имеет значение? Одним словом, нас было больше пяти, но меньше десяти человек. Во всяком случае, толпы не было. Но какова память? Собираюсь рассказать о людях, с которыми кутил, а сколько их было, не помню. Нет, в процессе рассказа я их, вероятно, всех вспомню, но так сразу собрать их в голове не могу.

Чувствую, что сейчас начну признаваться в своих слабостях. Старый испытанный прием. На нем я в свое время сделал свою литературную карьеру. Я думал, что этот прием уже себя исчерпал. Но, оказывается, нет. Оказывается, этот прием вообще неисчерпаем. Читателю приятно чувствовать себя несколько умнее автора. От этого он испытывает удивительный приток энергии, веселья и, в конечном итоге, благодарности к автору. А автору, в свою очередь, приятно, что ему удалось слегка задурить голову читателю. Он от этого тоже испытывает веселье. Вот так, взаимно взбодрившись, мы, глядишь, скоротаем вечерок.

Поражаюсь одному факту: как это я довольно прилично дожил до зрелых годов, прилично по нашим условиям, не помня ни одной даты, ни одной цифры, ни одного телефона, ни одного адреса, ни одного имени начальника, кроме Абесаломона Нартовича, с которым меня жизнь неоднократно сталкивала.

Пожалуй, из дат я помню, что в 1812 году была Отечественная война с Наполеоном. А в 1941 году началась Отечественная война с Гитлером. Еще я, конечно, помню, что в 1917 году была Октябрьская революция. Все, больше из дат ничего не помню.

Это может показаться каким-то кривляньем или кощунством, но я редко помню, в каком году я живу. Нет, в какой стране я живу, я всегда помню. А в каком году я живу, я никогда не помню. Когда почтальонша приносит мне денежный перевод и мне приходится заполнять бланк, я всегда вынужден у нее спрашивать, какое у нас число и какой год. Иногда бывает неудобно. Правда, я всегда даю им на чай, и почтальонши обычно радостно отвечают на мой вопрос. Но иногда приходит новая почтальонша, и ты ей уже задаешь этот глупый вопрос, а она еще не знает, что ты ей дашь на чай, и она отвечает на твой вопрос довольно тускло. Но ничего не поделаешь, так устроена моя голова.

Я даже придумал теорию, довольно убедительно объясняющую мое беспамятство. Я придумал такую теорию, что у разных людей голова по-разному устроена. У одних в голове большое место занимают складские помещения, а машинное отделение занимает довольно скромное место. А у других, якобы, как у меня, сильно разрастается в голове машинное отделение, и оно вытесняет складские помещения.

Сейчас я подумал: а что, если эта моя теория беспамятства есть попытка опоэтизировать обыкновенный склероз? Нет, не согласен. Настоящие стихи и кое-что другое, приятное моей душе, я все еще неплохо запоминаю.

Скорее всего, дело обстоит так. Моя голова — последний бастион защиты

от цивилизации. И она пока еще изрыгает и отбрасывает от себя ее назойливых носителей.

В бастионе моей головы последняя дюжина чегемцев (кажется, только там она и осталась) защищает ее от лезущей со всех сторон, карабкающейся, вползающей во все щели нечисти в рогатых антеннах. А я изо всех сил взбадриваю героических защитников.

— Бей их, ребята! — кричу я.— Заливай их кипящей мамалыжной заваркой! Круши им черепа кукурузной колотушкой! Протыкай их ломом! Суй им в морду горящую головешку, выхваченную из костра. Стегай их очажной цепью!

Мне говорят, цивилизация неизбежна, поэтому ты ее должен любить. Но смерть тоже неизбежна, что же, я и ее должен любить?! Впрочем, к этому я еще вернусь.

А теперь, поняв, в чем суть дела, и поуспокоившись, пойдем дальше. Что касается всяких там таблиц, карт, диаграмм, расписаний, так это все для меня полный хаос. Ни малейшей возможности взаимопроникновения. Я, например, своими силами никогда не мог использовать расписание пригородных поездов. Это же с ума сойти, сколько цифр идет по горизонтали и по вертикали, и среди сотен этих цифр ты должен найти одну-единственную, означающую время отхода твоего поезда.

Я лучше простою целый час возле расписания и, дождавшись, когда к нему подойдет человек с мягким выражением лица, а дождаться такого человека не всегда просто, но все-таки дождавшись, спрошу у него, придав собственному лицу подслеповатое выражение:

— Скажите, пожалуйста, когда отходит такой-то поезд... Я сам не могу разобраться, потому что у меня плохо со зрением...

Что касается всяких там диаграмм, схем или, как это называется, «кривой развития», так это вообще полный абсурд. Да я ненавижу ваше развитие уже потому, что оно всегда кривое!

Или, скажем, маршрутные карты. Во время заграничных поездок иностранные гиды нарочно каждый день раздают карты, а наши наивные туристы набрасываются на них, радуясь, что все это дается бесплатно. А я думаю: болваны, зачем вам эти карты, ведь все равно и так повезут по нужным местам?

Они не понимают, что эти самые гиды потом идут куда надо, и докладывают там: «Эти советские туристы, никакие они не туристы. Все они, кроме одного, разведчики, потому что так и набрасываются на карты».

А буржуазия потом на этом строит свою пропаганду. После этого я спрашиваю: «Кто больше политически развит, я или они? Кого надо чаще посылать за границу — меня или их?»

Мне иногда кажется, что здравый смысл, который я унаследовал от своих чегемских предков, предохраняет мою голову от ненужных и даже вредных знаний. Ну, в самом деле, какое значение имеет год, в котором ты живешь, если тебе точно известно, что время в твоей стране давно остановилось и никуда не движется?!

И вот это свойство моей головы, ее полная освобожденность от житейской и схоластической чуши позволяет мне сосредоточить умственные силы на самых важных и главных проблемах. И по этим проблемам я уже сделал ряд выдающихся открытий и, вероятно, еще сделаю, если, конечно, меня не остановят.

Некоторые довольно интеллигентные люди, замечая отдельные недостатки, которые все еще имеют место в нашей стране, думают: а что, если слегка потеснить большевиков, чтобы в дальнейшем, устранив эти недостатки, перестать их теснить? И вот таким людям я говорю: «Стоп, ребята! Это не только глупо, это хуже, чем глупо,— это опасно. Вы что, не знаете, что большевики ужасно не любят, чтобы их кто-нибудь теснил?»

И тут я выкладываю одно из своих великих открытий. Я один понял, от чего идут беды всей нашей общественной и хозяйственной жизни. Все это идет от того, что на местах и отчасти даже в центре нашим руководителям не хватает чувства юмора.

Все началось с Ленина. Великому Ленину, как он в этом признавался Горькому, и это описано в воспоминаниях Горького, и даже наша цензура ему это не вычеркнула, не хватало чувства юмора. Ленин со свойственной ему откровенностью признавался Горькому, что он хорошо чувствует чужой юмор, но сам, к сожалению, юмором не обладает. Но Ленин, благодаря своей гениальности, отчасти восполнял недостаток юмора великолепной организаторской работой.

К сожалению, после Ленина большевики, не обладая его гениальностью, по части юмора решили идти его путем. И это было крупной ошибкой. Они назначили руководителем страны самого неулыбчивого человека, ошибочно решив, что самый неулыбчивый человек и есть самый серьезный человек. И в этом уже проявился трагический недостаток чувства юмора. Нет, потом, после тридцать седьмого года, он с удовольствием улыбался себе в усы, и некоторые партийцы схватились за головы, поняв, какие именно явления жизни вызывают у него улыбку, но было уже поздно.

И вот я предлагаю всеми средствами печати и устного воздействия развивать по всей стране чувство юмора у руководителей всех рангов. Это поистине героическое занятие, вероятно, первое время не обойдется без жертв.

Вероятно, их (или нас? нет, лучше — их), юмористов, в первое время будут преследовать и даже частично сажать в лагеря. Но они (или мы? нет, лучше — они) и там не должны терять чувство юмора, а неустанно прививать его следователям, прокурорам, конвою и другим облеченным властью деятелям. Они должны поступать так, как арестованные Сталиным партийцы, которые и в самых страшных сибирских лагерях продолжали яростные, непримиримые споры по поводу стратегии и тактики мирового пролетариата.

А мы, оставшиеся на воле юмористы (или — они? нет, мы!), должны, ни на минуту не теряя бодрости духа, день и ночь распространять юмор по всей стране. Мы должны учредить кафедры юмора во всех вузах и даже в высшей партшколе. В высшей партшколе заведующим кафедрой юмора можно назначить Аркадия Райкина, если он, конечно, член партии, что само по себе было бы не лишено юмора.

Юмор должен проникнуть на все собрания, на все конференции, на все пленумы, на все съезды. Нет, меня на слове не поймаете, деловая часть не отменяется. Но все доклады, например, на съездах будут пронизаны юмором. Всем весело, Косыгин улыбается так, как будто его экономическая реформа принята. А что? Вполне возможно, в условиях юмора ее примут обязательно, товарищ Косыгин!

В условиях юмора в стране господствует прекрасное настроение, все равны и все имеют право смеяться и быть высмеянными. Партия смеется над интеллигенцией, интеллигенция смеется над партией, а рабочие смеются, глядя на тех и других.

И когда, наконец, юмор овладевает партией, а партия овладевает юмором, мы с легким смехом избавимся от всех недостатков нашей общественной и хозяйственной жизни.

Но стоп! — останавливаю себя. А не приводят ли мои рассуждения о юморе к некоторой опасной потере чувства юмора?

В таком случае немедленно беру свои слова назад. Или даже лучше — раскрываю карты. Эти страницы на самом деле написаны с одобрения самых высших инстанций для выявления людей, которые своими улыбками или тем более смехом тут же на месте обнаруживают свою диалектическую неблагонадежность.

Нет, так нельзя. Чувствую, что меня все время заносит, а остановиться не могу. Надо сейчас же взять себя в руки и немедленно вернуться в строгие рамки сюжета.

Итак... Мы прикатили на трех машинах в это уединенное абхазское село по причине, которая сейчас совершенно выветрилась у меня из головы. Точнее всего, никакой причины не было. Один из участников нашей компании был приглашен к своему родственнику, а нас он просто прихватил по дороге.

Нас, приблизительно, было восемь человек. А между прочим, этого рассуждения о юморе не было бы, если бы я точно знал, сколько нас было человек.

И теперь вы сами судите, плодотворно ли для автора в тех или иных случаях неточное знание предмета или оно его приводит к сокрушительным идейным провалам?

Сама наша компания образовалась случайно. Я ехал из Гагр в Мухус, чтобы встретиться с товарищем, которому помог выпутаться из очень нехорошей истории. В драке, навязанной ему, он вынужден был убить человека, за что ему присудили двенадцать лет лагерей строгого режима.

Он уже просидел около двух лет, когда я написал — и опубликовал, что было гораздо трудней,— статью об этом случае, где сумел доказать, что свой смертоносный удар он нанес человеку, защищаясь от не менее смертоносных ударов, которые ему наносили двое.

После напечатания статьи дело пересмотрели, и его выпустили из тюрьмы. До меня дошли слухи, что отец убитого, старый уголовник, грозится «пришить» и меня, и выпущенного из тюрьмы невольного убийцу его сына. На меня угрозы этого человека не произвели большого впечатления, он меня никогда не видел, жили мы в разных городах, и я не верил, что он будет пытаться меня разыскать.

Единственная предосторожность, которой я решил придерживаться,— это не ездить в городок, где жил этот старик. Сделать это было нетрудно, хотя в городке этом жили несколько моих родственников, которых я не прочь был увидеть. Но если б и не увидел, не умер бы от тоски. Во всяком случае, я старался помнить о старике, чтобы меня в этот городок случайно не занесло.

И вот я ехал в Мухус, чтобы встретиться с другом, которого выпустили из тюрьмы, и, когда такси доехало до окраины города, нам просигналила встречная машина, и мой шофер остановился. Я увидел своего друга, вылезающего из встречной машины. Оказывается, в этот день и в этот час он ехал со своим приятелем ко мне в Гагры, чтобы встретиться со мной. Ни он, ни я не уславливались о дне встречи. Каким образом нам обоим пришло в голову именно в это время ринуться навстречу друг другу?

Мы с товарищем обнялись и, стоя у обочины дороги, стали вместе с его приятелем обсуждать достоинства и недостатки окрестных ресторанов.

Сейчас, отстукивая на машинке эти строки, я вспомнил, что и эту встречу, и всю предыдущую горестную историю моего друга я уже описал в одной повести, где собственный добрый поступок приписал своему герою. И вот я снова к этому поступку возвратился. В чем же дело? Или меня тянет к собственному доброму поступку, как преступника к месту преступления? Или мне жалко, что я приписал его своему герою?

Да, жизнь, моя во всяком случае, так бедна хорошими поступками, что я невольно высветил этот сюжет, чтобы озарить и свой небогатый подвиг.

Странна жизнь писателя, то есть наблюдателя над жизнью. Кто выдумал эту должность? И почему именно я нахожусь на этой должности? Чувствую, что в один прекрасный день появится некий человек, и он скажет во всеуслышание:

— Снять его с должности наблюдателя над жизнью. Не то что следить за жизнью, пасти ее на зеленых пастбищах нашей идеологии, он и у себя под носом ничего не видит.

Предчувствуя, что это рано или поздно наступит, я заранее признаюсь: да, я действительно очень ненаблюдательный человек. Вот довольно забавный пример моей ненаблюдательности.

Когда я был студентом, я познакомился и подружился с одной очаровательной девушкой. До меня она была влюблена в какого-то неведомого футболиста из ее города и постоянно о нем вспоминала. Горечь ее воспоминаний я старался смягчить влагой нежных поцелуев, и, кажется, мне это удавалось.

Во всяком случае, она давала знать, что, пожалуй, если это все так продолжится, она сумеет забыть про своего футболиста. Я терпеливо дожидался того времени, когда она окончательно забудет про своего футболиста, а она продолжала про него рассказывать.

В те времена у меня был друг, который жил в одной из комнат общежития напротив меня. Он был посвящен в мои сердечные дела и в горестную историю с ее футболистом.

Однажды я зашел в его комнату и увидел, что моя подружка стоит у электрической плиты и жарит моему другу котлеты. Сначала я был донольно сильно смущен, никак не ожидая ее тут встретить. Потом в голове моей возник легкий и благородный вариант ее появления в комнате моего друга. Конечно, она шла ко мне, а он, увидев ее, перехватил по дороге и заставил ее жарить ему котлеты.

Вообще-то ему была свойственна некоторая склонность использовать окружающих людей. Обо всем этом я вспомнил в одно мгновение и даже почувствовал платоническую гордость за кулинарные способности моей подружки. Некоторая тень зависти из-за того, что сам я эти ее способности никогда не использовал, тоже промелькнула у меня в голове. Но я тут же себя успокоил мыслью о том, что мне-то она всю жизнь будет жарить котлеты.

Окончательно успокоенный да еще приглашенный ими за стол, я весело с ними пообедал и, ничего не подозревая, вышел с ней на улицу гулять. Она опять стала рассказывать про своего футболиста, и в ее рассказе на этот раз я заметил более пессимистические нотки, чем обычно. Она выразила сомнение, что навряд ли теперь кто-нибудь в ее жизни заменит ей неудачную первую любовь. Стоит ли говорить, что я ее уверял в обратном.

Прошло недели две, в течение которых мы несколько раз бывали втроем, прежде чем я догадался, что произошла основательная перегруппировка действующих лиц.

Я был потрясен случившимся. Паршивый опыт человечества меня ничему не научил. Я никак не представлял, что между друзьями возможно такое. Мой собственный опыт говорил совсем о другом. Когда я учился в школе, я вместе со своими двумя друзьями влюбился в одну девушку. Мы тогда все втроем помогали друг другу признаваться ей в любви. И хотя каждого из нас она поочередно отвергала, дружба наша никак не распадалась. Нам очень хотелось, чтобы хотя бы одному из нас с ней повезло. Но раз никому не повезло, что ж делать, нас утешала собственная дружба.

(Невозможность осуществления самой изумительной, как правило, первой любви. По-видимому, это так задумано свыше. Что бы делал человек, достигнув счастья? Неутоленной любовью судьба дает нам понюхать счастье и, отбрасывая его в недостижимую даль, говорит, как собаке: «Ищи!» И мы ищем. Это и есть путь духовного роста.)

...А тут получилось совсем по-другому. Оказывается, он с самого начала влюбился в нее и скрывал это от меня. Оказывается, он уже около двух месяцев ежедневно покупал ей коробку шоколадных конфет. Не застав ее в комнате, он оставлял эти конфеты под подушкой ее постели. Так что она, если надолго куда-нибудь уходила, возвратившись в комнату, прямо шла к своей подушке и, отодвинув ее, доставала коробку. А если коробки не оказывалось, она говорила: «Так он еще не приходил?»

Сначала она, хохоча (так говорили девушки из ее комнаты), ела сама эти конфеты и угощала ими своих подружек. А потом дрогнуло ее провинциальное сердце, и она решила нежной дружбой отблагодарить его за эти конфеты.

Так я думаю. Кроме того, на фоне этих ежедневных шоколадных конфет я, вероятно, производил довольно невыгодное впечатление. Хотя я ей устраивал несколько скромных студенческих пирушек с пивом, к которому она пристрастилась со времен футболиста, ей, вероятно, все это должно было показаться убогостью.

Вероятно, в ее хорошенькой головке произошла переоценка ценностей. Видно, она решила так: этот меня целует и изредка угощает своим жалким жигулевским пивом. А этот меня еще не целует, а уже угощает, и при том ежедневно, коробкой шоколадных конфет. А что же будет, когда он начнет меня целовать?

Одним словом, поняв, что чаша весов явно перевешивает в его сторону, я потихоньку отделился от них и зажил самостоятельной жизнью. Никаких объяснений ни с ним, ни с ней у меня не было. Мне было ужасно неприятно вступать в какие-то переговоры, и они, слава богу, не пытались со мной объясниться.

Случайно встречаясь с ними на улице или в институте, я сдержанно здоровался и проходил мимо. Отвечая на мой кивок, она смотрела на меня с выражением легкой грусти, как бы стараясь утешить меня, как бы внушая мне, что я сильно ошибаюсь, если думаю, что ее новое положение освободило ее от груза воспоминаний о прекрасном футболисте.

Он же здоровался со мной совсем иначе. Он здоровался со мной, как бы сосредоточенно прислушиваясь к музыке высших сфер и давая этим знать, что ему совершенно невозможно в его состоянии вникать в мелкие земные человеческие отношения.

Так длилось, примерно, с месяц. Однажды он зашел ко мне и сказал, что приглашает меня пообедать вместе с ними в его комнате. Я согласился, хотя мне очень не хотелось идти. Но я боялся, что если я откажусь, мне придется объясняться с ним. А объясняться с ним мне никак не хотелось. Это что же, так в лицо и сказать человеку, с которым дружил два года, что он поступил, как негодяй? Да не в том дело, что он оказался с ней, мало ли чего не бывает в жизни. Но ведь я же знал о конфетах, которые он дарил ей, задолго до того, как дрогнуло ее сердце. Надо было делать вид, что ничего не случилось,— это устраивало обе стороны. Кстати, признаюсь в еще большем грехе. Никогда не мог не пожать протянутую руку знакомого мне человека или не ответить на его кивок, даже если уже знал, что этот человек совершил какую-то низость. Иногда, в редких случаях, мог сказать все, что я думаю о нем, но не пожать протянутую руку не мог.

Часто после пожатия такой руки у меня возникало неимоверное желание содрать со своей испакощенной ладони кожу. Однажды такое ощущение длилось два дня. Значит, я чувствовал греховность такого рукопожатия? Да, и все-таки потом снова пожимал руки подобным людям.

После появления «Козлотура» мои родные «Красные субтропики» дали разгромную рецензию о нем. Это был прямой призыв к пролитию крови автора. Кроме всех остальных грехов, статья обвиняла меня в оскорблении национальной чести.

Человек, написавший статью, и люди, стоявшие за ним, явно ожидали, что призыв к пролитию крови будет подхвачен центральной прессой. И не совсем напрасно. Позже один работник самого важного нашего органа печати рассказал мне, что вопрос этот обсуждался у них, но тогда победили люди, склонные к умеренности. Повесть не тронули.

Прочитав статью, я пришел в бешенство, которое длилось часа два. Я ходил по комнате, и тогдашний мой гневный монолог против автора статьи можно было уместить в одну фразу:

— Зачем, зачем тебе, Гольба, защищать честь абхазцев от меня, абхазца?!

Потом я махнул рукой на это дело, но на автора статьи все-таки сильно разозлился, тем более, что хорошо знал его. Через несколько лет, приехав в Мухус, я случайно на улице столкнулся с ним. Блудливо улыбаясь, он протянул мне руку, и я... и я... и я... пожал ее.

Попробуем спокойно разобраться в этом вопросе. Мне могут сказать: «Ведь от того, что ты не пожмешь руку человеку, совершившему подлость, он не умрет. Но ему это будет очень неприятно и, возможно, в следующий раз остановит его от низкого поступка».

Может быть, так, а может быть, и не так. Безусловно, что это унижение может привести его к раскаянию и самоочищению. Но, возможно, непожатие руки приведет человека, совершившего гнусность, к еще большему ожесточению и еще большей склонности совершать гнусности.

Как же быть все-таки? Пожимать руку совершившему подлость или не пожимать? Кто вообще придумал этот дурацкий обычай пожимать руку? Может, отменить его? Или, если отменять уже поздно, ввести несколько типов рукопожатий, означающих: одобряю твое существование на земле, не совсем одобряю или совсем не одобряю.

Нет, надо вернуться к самому себе. Почему я все-таки пожимаю протянутую руку, зная, что это рука человека, совершившего гнусность? Конечно, главная причина в том, что я по натуре не могу быть карающим органом. Не могу и все. Я не оправдываю себя, но и не до конца осуждаю.

А теперь рассмотрим психологию людей, которые мужественно не замечают протянутую руку. Конечно, среди них есть просто честные люди с крепкой нервной системой, и они своей рукой, не дрогнувшей навстречу протянутой руке, ясно показывают неодобрение гнусности.

Это так. Это бывает. Но, к сожалению, большинство людей, таким образом осуждающих зло, действует совсем из других побуждений. И в силу нашей профессии мы довольно четко угадываем мотивы этих побуждений. Мотивы эти таковы: ты совершил гнусность (скажем, продался), а я изо всех сил сдерживаюсь и не совершаю гнусность, так я же должен пожимать тебе руку?! Так вот тебе — не пожму! Пусть все видят, что я еще не совершил гнусность, пусть хоть эта малая выгода заменит мне ту, большую, о которой я скромно, но пламенно мечтаю.

Попробуем этот вопрос рассмотреть в философском плане. По-видимому, существует два типа психологии, два отношения к злу. Один тип людей, замечая зло, стремится тут же на месте с ним расправиться, чтобы восстановить гармонию мира. Другой, видя проявление зла, чувствует его бесконечную связь с мировым злом, и у него опускаются руки от понимания, что вместо отрубленной ветки зла вырастет другая или даже многие.

Первый говорит:

— Ну, что ж, будем все время рубить!

Второй говорит:

— Нет, это не верно. Надо идти более долгим путем. Надо докопаться до корней и выкорчевать дерево зла целиком.

Первый:

— Да на это уйдут усилия ста поколений!

Второй:

— Хоть тыщи! Другого пути нет.

Первый:

— Надо заставить человека быть человеком!

Второй:

— Надо очеловечивать человека, и тогда он сам станет человеком.

Конечно, мое рассуждение слегка прихрамывает. Нет, я не хочу отрицать пользу тех, кто занимается исключительно отрубанием веток. Они тоже нужны, некоторое количество таких людей мы оставляем, но главные силы все-таки бросаем на раскапывание корней.

Вообще эти отрубатели веток, то есть прямые борцы со злом,— довольно странный народ. Иногда стоишь в очереди и ждешь, когда она дойдет до тебя. А тут со стороны прут и прут к прилавку. Конечно, мелькает мысль: хорошо бы стать там, у прилавка, и навести порядок, чтобы очередь быстрей двигалась. Но какая-то душевная лень мешает, да и возможность схлопотать по морде учитывается. И начинаешь глубоко задумываться о том, как бы организовать торговое дело, чтобы очередей не было совсем. И иногда в голове возникают изумительные проекты, но чувствуешь, что тебе не под силу протолкнуть их через соответствующие учреждения.

И ты, тяжело вздохнув, продолжаешь ждать своей очереди, а наглецы со всех сторон прут и прут к прилавку. Ну, ладно, решаешь про себя, подумаешь, простою лишних полчаса или час.

И вдруг из очереди выходит энергичный мужчина, становится у прилавка и никого не пускает, и очередь двигается быстрей, а ему даже по морде никто не дает, до того у него энергичный и самостоятельный вид. Есть же на свете настоящие мужчины, думаешь ты, а сам я байбак. И вдруг у тебя в голове возникает великолепная мысль: надо передать свой прекрасный проект по уничтожению очередей этому энергичному мужчине. Он, только он, этот проект пробьет через все препятствия и воплотит его в жизнь! Но ты тут же угасаешь от ясного понимания того, что не будет этот энергичный мужчина возиться с твоим проектом, ему гораздо приятней здесь, на виду у толпы, наводить порядок. Ему даже отчасти было бы нежелательно жить при таком положении вещей, когда не надо на виду у толпы наводить порядок.

Не в этой ли роковой невозможности соединить прекрасный проект с действиями энергичного мужчины — трагедия мировой истории?!

И, бывает, такой энергичный мужчина так и стоит у прилавка, отбрасывая нахалов, до самого того мгновения, когда подходит его очередь. Тут он покупает свои продукты и удаляется, сопровождаемый взглядами толпы, как бы говоря: «Не надо никаких цветов, никаких благодарностей, мне достаточно вашего молчаливого обожания».

Это так. Это бывает. Но бывает, что этот энергичный мужчина некоторое время отбрасывает нахалов, а потом вдруг, не дождавшись своей очереди, сует деньги продавщице, берет свои продукты и удаляется быстрыми шагами, как бы пораженный какой-то мыслью, которая тут его осенила, и в результате чего ему немедленно необходимо, бросив все дела, уйти в направлении этой мысли.

И вот что интересно. И продавщица знает, что он не дождался своей очереди, и очередь знает, что ему рано было отовариваться, но все уверены, что так и надо, что он должен был иметь какую-то выгоду за свой временный героизм. И очередь смотрит ему вслед долгим взглядом, одновременно и оправдывающим его поступок, и слегка тоскующим по бескорыстному кумиру, и как бы понимающим, что сама она не вполне достойна такого кумира.

Но я залез в какие-то дебри. А между тем человек, совершивший гнусность, стоит с терпеливо протянутой рукой, а я никак не могу решить, надо ее пожимать или не надо?

Ну, вот — пожал. После этого я чувствую к себе и к своей ладони омерзение. Но все-таки я пожал эту руку. Значит, если бы я не пожал ее, я бы чувствовал себя еще хуже? Из двух зол я выбираю меньшее? Почему оно меньшее?

Потому что, не пожав эту руку, я как бы полностью отрицаю, что передо мной стоит человек, а не животное. Но такая кара все-таки не соответствует его проступку. Как же быть? Но, может быть, пожимая эту руку, я признаю свою согреховность той гнусности, которую совершил этот человек? Безусловно, в этом есть правда. Ведь перед тем, как совершить свою гнусность, он подсознательно или даже сознательно представил всех своих близких и знакомых и почувствовал, что, в общем, все они, скорее всего, проглотят эту гнусность. А раз он так решил, значит, мы давали какой-то повод надеяться, что гнусность пройдет, значит, что-то такое в нас было? Конечно, не мы главные виновники, но и мы давали повод надеяться, что гнусность пройдет, а теперь, не подавая ему руки, всю вину сваливаем на него, хотя часть вины лежит на нас самих. Но, с другой стороны, подав ему руку, мы тем самым полностью оправдываем его надежду, что гнусность пройдет. Нет, раньше надо было быть такими, чтобы он не посмел делать гнусность. Вот где правда! Но ведь когда-нибудь надо становиться такими? И вот, не пожав ему руку, мы всем показываем, что мы в дальнейшем будем такими, чтобы никто не смел делать гнусности. Но ведь он может воскликнуть: «Это несправедливо! Почему именно с меня надо начинать? Может, я бы не решился сделать гнусность, если бы знал, что вы с меня будете начинать наказывать?!»

Господи, как же быть? И подавать руку неправильно, и не подавать руку неправильно! Может, это вообще неразрешимый вопрос? Может, всякое бегство из человеческого общества вызвано его неразрешимостью? Идея отшельничества не отсюда ли? Бежать, бежать, в пещеру, в скит, там никому не придется пожимать руку!

Может, Лев Толстой именно по этой причине бежал из Ясной Поляны? Приезжают со всего мира. Знаменитый писатель. Граф. Русское хлобосольство. Надо пожимать руки. Разговаривать. А он, великий психолог, видит, сколько среди этих гостей пакостников. А Софья Андреевна радуется и ничего не понимает. И взрыв последнего решения: бежать! бежать!

И я бегу от этого вопроса к моим очаровательным в своей ясности изменникам, о которых читатель, наверное, подзабыл.

Придется коротко напомнить. Вообще с читателем лучше всего разговаривать коротко и громко, как с глуховатым. Громко-то у меня получается, вот коротко не всегда.

Значит, напоминаю. Во времена студенчества у меня была подружка, но ее у меня отбил мой друг. Шоколадными конфетами соблазнил. Но я с ним не

стал ссориться, отчасти из ложной гордости. Надо было делать вид, что ничего не случилось. Как в песенке поется:

Отряд не заметил потери бойца.

Вот и я должен был делать такой вид. И этот мой друг пригласил меня в свою комнату пообедать с ними. Мне ужасно не хотелось идти, но я вынужден был пойти, чтобы не объясняться с ним. И вот в этом месте я отвлекся на эту проклятую руку.

Когда я вошел в комнату, она жарила картошку на электрической плите. Я поздоровался с ней и сел на стул. Она сказала ему, чтобы он пошел за пивом. Он неохотно согласился с ней и, надев пиджак, ушел. Я не знал, о чем с ней говорить, но она знала. Она начала издалека, то есть со своего футболиста, терпеть воспоминания о котором у меня не было ни малейших оснований.

Из ее слов получалось, что она сейчас сильнее, чем раньше, грустит по своему футболисту. Из ее слов получалось, что она хочет вернуться ко мне и попробовать вместе со мной перебороть свои воспоминания о первой любви.

Но я уже не хотел, чтобы она вернулась ко мне. Я не хотел помогать ей забывать своего футболиста, хотя надо сказать честно, она мне все еще нравилась. Одним словом, я не поддерживал разговора. Я только понял, что конфетная осада ни к чему не привела. (Цепкий взгляд благотворителя, рассеянность ублаготворенного.)

Внезапно распахнулась дверь, и в дверях стоял мой друг-предатель (через четверть века с трудом соединяю эти слова), глядя на нас вытаращенными глазами. Шагов его не было слышно. Он явно подкрался к дверям, чтобы застукать нас за злодейским поцелуем. Поняв, что поцелуями явно дело не пахнет, он радостно поставил бутылки с пивом на стол. Но я-то уже знал, что радоваться ему, бедняге, нечего.

Так оно и получилось. Вскоре она стала появляться в институте в обществе студента-венгра. Судя по всему, тут роман развивался стремительно. Теперь она здоровалась со мной без всякого намека на футболиста.

Вот так и закончилась эта история. Никогда не думал, что о ней вспомню. По-видимому, песчинка боли, застрявшая в душе, нарастила вокруг себя эту сомнительную жемчужину. (Учредить клинику по иглоукалыванию писателей для получения искусственного жемчуга.)

Но к чему я это все вспомнил? Да, речь зашла о наблюдательности. Из этого рассказа видно, что я очень ненаблюдательный человек. Но в свое оправдание я хочу сказать пару слов.

В сущности, ненаблюдательных людей нет. Просто те люди, которых считают ненаблюдательными, наблюдают за каким-то невидимым для нас объектом. И самое опасное в них то, что никогда не понятно, за чем именно они в данное время наблюдают. Поэтому мой дружеский совет всем — избегать делать подлости, надеясь на ненаблюдательность ваших знакомых. Они могут вас разоблачить в самом неожиданном месте.

...О, хроническая нечистоплотность человеческого племени! И стыдно отворачиваться от тебя, и не хватает такта терпеть твое смрадное дыхание!

Этим летом один наш археолог показал мне пучок стрел, найденный им в высокогорной пещере. По его расчетам, стрелам было около тысячи лет. Я долго рассматривал этот бесценный дар нашего далекого предка, этот хорошо сохранившийся, но слегка ссохшийся букет смерти. Особенно хорошо сохранились наконечники стрел, так сказать, самая идейная часть: сердцевидные, ромбовидные, серповидные, клешневидные, зубчатые... Какое изобретательное многообразие форм при строгом единстве содержания — мечта пропагандиста. Глядя на эти стрелы, я почувствовал неудержимый позыв выблевать на историю человечества.

Чтобы выжить, человеку слишком долго важнее было развивать в себе изворотливость ума, нежели божественную энергию стыда. Так и пошло, что выработался большелобый ублюдок с хилой сердечной мышцей, образовалась

дурная автономия ума, оргия тупоголовой цивилизации, не слушавшая и не слышавшая тревожных окриков культуры и только сейчас, на краю бездны, слегка очнувшись, обалдело озирающая замученную местность Земли.

Где выход? Культура должна опередить цивилизацию и возглавить племя людей. Возможно ли? Не будем унывать. Дон Кихоты всего мира, по коням!

Как бы мы жили, если бы время от времени на наших дорогах не появлялся знаменитый испанский кабальеро на своем героическом коне и, обдавая нас бодрящими клубами пыли, с выражением величавой важности на лице и беспредельной уверенности в победе добра, не выезжал вперед?!

Вот он остановился у киоска и, протянув продавщице монету, снимает со своей потной головы помятый шлем, а потом наклоняется за кружкой и пьет русский квас.

Воспользуемся его передышкой, как пользуется ею этот мальчик, сующий в рот его лошади огрызок яблока. Посмотрите, как великолепен этот лысеющий шишковатый череп. Что? Среди многих шишек вы не видите шишки мудрости? А разве вы не знаете, что одна шишка, полученная за неукротимую веру, стоит десяти шишек мудрости?! А у него все шишки получены за неукротимую веру!

Как жадно припали его губы к остужающей влаге, как отчетливо ходит в горле его рыцарский кадык, как вольно откинут его худой корпус, одетый в пыльные, потрепанные доспехи, как беззаботно расслаблена нога, отдыхающая в стремени! И каждая прореха на его старом плаще гордится собой, она счастлива грядущей наградой — латкой, пришитой ласковыми пальцами Дульсинеи. И чем больше прореха, тем он счастливей, потому что тем больше будут возиться с ней пальцы Дульсинеи!

Но главное — глаза! В глаза поглядите! Они сейчас устремлены в кружку с квасом с такой нецеленаправленной зачарованностью, словно видят в ней первый оазис грядущего счастья. Да, мечта так же реальна, как эта кружка с квасом, и так же утоляет душу, как этот напиток ссохшуюся глотку.

И вот он, напившись, едет дальше. И мальчик, о чем-то догадываясь, долго смотрит ему вслед. До свиданьи, великий кабальеро! Но скажите, неужели и он выходец из нашего чахлого племени? Да, и он! Значит, племя еще способно на что-то? Да, выходит, способно! Значит, нежность, самоотверженность, доверчивость, доброта, мужество — не пустой звук? Да, клянусь всеми четырьмя копытами его коня, не стертыми мировой пошлостью,— не пустой звук!

...Но я слишком далеко отошел от своего сюжета. Я никак не могу его сдвинуть с места. Мой сюжет буксует, как русская история. И все-таки мы его сдвинем и пойдем дальше, ибо единственный вид власти, которую мы приняли на земле,— это власть над словом.

Итак, я отпустил свое такси (если читатель помнит, я приехал на такси), и мы с другом и его приятелем, стоя на обочине дороги, неторопливо обсуждали достоинства и недостатки окрестных ресторанов. Не правда ли, великолепное занятие — стоять на обочине дороги рядом с ожидающей тебя машиной и обсуждать достоинства и недостатки окрестных ресторанов?

Покамест мы этим занимались, рядом с нами остановилась черная «Волга», и оттуда выглянуло монументальное лицо Абесаломона Нартовича. Последняя самая высокая должность, которую он занимал,— это председатель местного совета министров. Сейчас его сняли с этой должности и он работает директором научно-исследовательского животноводческого института. Но лицо Абесаломона Нартовича, особенно в машине, выглядит так, как будто он все еще возглавляет местный совмин. Абесаломон Нартович вышел из машины и подробно поздоровался со всеми, как бы по инерции возвышая людей, с которыми он здоровался, до своего бывшего министерского уровня.

Вместе с ним вышли еще два человека. Один из них был дядя Сандро. Представлять его, кажется, нет необходимости. Взглянув на него, я почувствовал, что он мне порядочно надоел. Я даже мысленно сказал ему: «Ты мне надоел, дядя Сандро. Я чувствую, что мне еще попадет за тебя...»

И надо же — старый черт почуял дуновение моего робкого бунта.

— Ты мне что-то хотел сказать? — спросил он у меня с вызовом.

— Нет, нет, дядя Сандро,— сказал я, опуская глаза.

Второй спутник Абесаломона Нартовича, высокий, стройный, красивый, как бы весь хрустящий от свежести, оказался космонавтом. Он бодро пожал всем руки, словно вкладывая в рукопожатие избыток сил, которые в нем накопились в свободное от космоса время.

Казалось, Абесаломон Нартович взял себе в спутники этих двух людей для демонстрации двух исторических периодов нашей жизни. Он как бы говорил этим: вот лучшее, что создано нашим прошлым (дядя Сандро), а вот лучшее, что создано нашим настоящим (космонавт), а вот я, мирно соединивший их. Так это выглядело.

Мне Абесаломон Нартович всегда нравился за свой талант рассказчика и балагура. Талант этот он, будучи ответственным работником, вынужден был всегда маскировать, что, впрочем, ему плохо удавалось. Я ему тоже, как мне кажется, нравился, он не мог не видеть во мне благодарного слушателя. Всякий человек с артистической жилкой не может не ценить своих поклонников. И во мне, я думаю, он всегда ценил поклонение своему дару, развернуть который он не мог по причине своего служебного положения. Во всяком случае, не мог в полную меру своего дарования.

Да, Абесаломон Нартович мне всегда нравился, но сказать, что он нравился мне только за свои байки, будет неточно. Он нравился мне и за это и за то, что всегда таил в себе возможность самых парадоксальных поступков. Так, одному моему знакомому он, еще будучи на самом верхнем пределе своей карьеры, сказал:

— Вообще, из нашей фамилии никто своей смертью не умирал...

Это признание было сделано человеком, находящимся на самой вершине своей власти. Носители этой власти, даже если иногда и задумываются о возможности своего падения, во всяком случае, не признаются в этом никогда и никому. Наоборот, главное их занятие сверху донизу — всегда подчеркивать незыблемость своей власти.

Может возникнуть вопрос, а не брал ли Абесаломон Нартович во время своего царствования (как он сам однажды сказал) подарки? На этот вопрос, если он действительно возникнет, я, как честный историограф, должен буду ответить положительно. Об этом говорили многие, и, что характерно для Абесаломона Нартовича, сам он это не слишком скрывал.

Однажды после крупного вовлияния с местными художниками, он нас повез к себе домой, где подряд два раза на двух фортепьяно исполнил грузинскую песню «Сулико». В столовой еще стоял клавесин, если он мне спьяну не примерещился. То, что в комнате было два фортепьяно — это абсолютно точно. Это следует даже из краткого диалога, который там же состоялся между нами.

— Абесаломон Нартович,— спросил я,— зачем вам два инструмента?

— Дарят,— ответил он, сокрушенно пожимая плечами,— неудобно отказать...

В другой раз, добродушно ворча, он сказал про одного председателя колхоза, что тот зазнался и перестал приносить подарки.

Конец хрущевской эпохи оказался и концом Абесаломона Нартовича. Секретарь ЦК Грузии Мжаванадзе, чтобы облегчить свой достаточно перегруженный грехами корабль, не стал защищать Абесаломона Нартовича, а дал его на растерзание врагам.

Правда, Абесаломон Нартович получил достаточно почетную отставку. Он стал директором научно-исследовательского института. Недалеко от города, окруженный лавровыми деревьями, слоновыми пальмами, цитрусовыми насаждениями, он жил в своем институте, как опальный римский сенатор в своем имении.

Здесь я его встретил в первый раз после отставки и спросил у него, как и почему Мжаванадзе отвернулся от него в решительный час, тот Мжаванадзе, который при Хрущеве столь отечески патронировал его. Неподражаемым в своем античном величии жестом Абесаломон Нартович наклонил ветку

лавра, нюхая ее и одновременно увенчивая ею себя, как бы символически восстановил свое прошлое положение и, отпустив прошумевшую ветку, выдохнул:

— Старческая трусость...

Надо сказать, что опала не была громом среди ясного неба для Абесаломона Нартовича. За несколько лет до снятия с должности он защитил в Москве диссертацию и стал кандидатом биологических наук. Защита прошла блестяще. Правда, была одна забавная заминка.

Говорят, во время защиты ему был задан вопрос:

— Что такое клетка, по-вашему?

— Какую клетку вы имеете в виду? — уточнил Абесаломон Нартович, чем вызвал оживление в зале.

Таким образом, став директором института, Абесаломон Нартович в сущности отошел на хорошо подготовленные позиции. Уже будучи директором животноводческого института, он издал несколько книг. Наиболее интересная из них — «Певчие птицы Абхазии». Оказывается, Абесаломон Нартович издавна питал слабость к певчим птицам. И он их неустанно изучал. В наше время такая сентиментальная слабость крупного ответственного работника навряд ли может поощряться. И Абесаломон Нартович не мог не знать об этом. Но даже зная, что это может испортить ему карьеру, он, надо полагать, в условиях глубокого подполья, продолжал изучать певчих птиц Абхазии. Да, это вполне толковая книга, хотя и не имеет никакого отношения к профилю его института.

Но Абесаломон Нартович не был бы Абесаломоном Нартовичем, если бы он, написав книгу о певчих птицах Абхазии, не внес бы в нее нечто такое, отчего у специалиста глаза полезут на лоб, а знающий Абесаломона Нартовича человек только улыбнется или разведет руками. Так, в число певчих птиц Абхазии он внес попугая. Этим самым, я сейчас вспомнил, он как бы духовно осуществил мечту принца Ольденбургского, который действительно во время своего пребывания в Гаграх пытался запустить в наши леса ангольских попугаев, но их быстро переклевали местные ястребы.

Одним словом, неизвестно, по какой причине попугаи попали в число птиц Абхазии, да еще певчих. Так и вижу сановитую фигуру Абесаломона Нартовича, неожиданно легко взлетающую над землей и чисто делающую двойное сальто!

Так как в абхазском языке вообще нет слова «попугай», Абесаломон Нартович сходу придумал ему абхазское название, и притом довольно остроумное. В обратном переводе на русский язык оно звучит примерно так: таратор. Ну, скажите, разве не трогателен этот человек?

Милый Абесаломон Нартович, если то, что я сейчас пишу, попадет на глаза читателю, то многие могут подумать, что я тебя разоблачаю. Но это величайшее заблуждение. В сущности, я люблю Абесаломона Нартовича, может быть, и несколько странною любовью, но люблю.

Всерьез говоря, в любви писателя к своей натуре есть элемент аморальности или, вернее, доморальности. Писатель неизменно испытывает приступ нежности, встречая в жизни своеобразную натуру. По-видимому, стремление к своеобразию — в природе художественного творчества, иначе это преклонение перед своеобразием ничем объяснить не возможно. Некоторая доморальность заключается в том, что писателю в момент встречи со своеобразной натурой практически все равно, какое это своеобразие — высокое или низкое. Но нравственное чувство писателя заключается в том, что он со всей доступной ему точностью передает истинные черты своеобразной натуры, не стараясь низкое выдать за высокое или, наоборот, высокое выдать за низкое. И чем своеобразнее своеобразное, тем сильнее его любит писатель. Тут, видимо, сказывается еще неосознанная благодарность за облегчение работы. То есть, чем меньше приходится привносить, чтобы сделать образ законченнее, тем благодарней ему писатель за близость натуры к собственному идеалу.

А если высокое и низкое в человеке сочетается? Тогда своеобразие образа заключается именно в этом причудливом сочетании, и у писателя чешутся руки обязательно сохранить его.

Наивные люди думают, что великий Гоголь, создавая образы российских уродов, скорбел. Уверяю, что, описывая Ноздрева, Плюшкина, Собакевича, Гоголь испытывал самую высокую творческую и человеческую радость. Конечно, очнувшись и увидев, что он создал парад уродов, он несколько опешил и растерялся. Но, создавая их, он испытывал только радость.

Однако пора оставить высокие материи и попробовать все-таки сдвинуть с места сюжет. Итак, мы все еще стоим на обочине дороги, теперь уже в обществе Абесаломона Нартовича, и продолжаем обсуждать достоинства и недостатки близлежащих ресторанов. Кстати, строительству этих ресторанов Абесаломон Нартович уделял особенно большое внимание, когда был у власти. Ему мы обязаны рестораном в Эшерском ущелье, где в самый жаркий день царит влажная прохлада, ему мы обязаны рестораном на развалинах старой крепости, на вершине мухусской горы и многими другими. Он не только способствовал строительству этих ресторанов, но и заботился о том, чтобы они снабжались картинами местных художников.

Обсуждая с нами достоинства и недостатки местных ресторанов, Абесаломон Нартович поглядывал на проезжающие машины, и под его взглядом некоторые из них притормаживали, он здоровался с сидящими за рулем и небрежным движением руки отправлял их дальше, показывая, что в сложившихся обстоятельствах люди, сидящие именно в этих машинах, ему не нужны.

Кстати, мне ближе человек, который продолжает раболепствовать перед потерявшим власть кумиром, чем тот, что сразу же начинает ему хамить. В первом все-таки проявляется некоторое чувство ответственности за свое прошлое рабство, ему как бы стыдно сразу переходить в новое состояние, он как бы чувствует, что сам этого не заслужил еще. Тогда как второй, хамством мстя за свое прошлое раболепие, выявляет готовность раболепствовать перед новым кумиром.

Наконец, Абесаломон Нартович остановил машину, в которой по его гениальной догадке оказался именно тот человек, который повез нас в деревню. Сначала он вышел из машины и познакомился со всеми. Потом, услышав наши обсуждения достоинств и недостатков окрестных ресторанов, внес свое предложение:

— Слушайте,— сказал он,— чего вам выбирать ресторан? Меня в деревне ждет родственник, у которого мы посидим лучше, чем в любом ресторане. Поехали?

Все согласились ехать в деревню.

— Только заедем ко мне в институт,— сказал Абесаломон Нартович,— возьмем фейхоа.

Оказывается, жена космонавта, которая вместе с ним отдыхает в военном санатории, болеет какой-то болезнью, от которой помогает фейхоа. А при институте Абесаломона Нартовича есть хороший фруктовый сад, где среди прочих экзотических насаждений растут и деревца фейхоа (семейство миртовых, кисло-сладкие продолговатые плоды зеленого или желтого цвета, если вам это так важно знать.)

Мы расселись по машинам и поехали в институт к Абесаломону Нартовичу. Наконец, наша компания окончательно утряслась, и для любителей точности мы теперь можем пересчитать, сколько нас было человек. Я со своим другом, которому помог выйти из тюрьмы, и его приятелем — трое. Кстати, мой друг при виде такого большого в прошлом начальника, как Абесаломон Нартович, совсем скис. За весь день он и пару слов не промолвил. По-видимому, кроме всех остальных прелестей, тюрьма еще развивает в человеке комплекс несовместимости с начальством. Может, я напрасно ввел его в это повествование? Он — герой совсем другой вещи. Хотя нет — в конце он понадобится.

Одним словом, можете досчитать сами. Получится восемь человек, если не забудете шофера Абесаломона Нартовича. А что я говорил с самого начала? Я говорил, нас было человек восемь. Некоторые могут подумать, что я потом все это подстроил, чтобы похвастаться неизвестно чем. Нет, конечно. С точки зрения литературного правдоподобия было бы правильней, если бы я немного ошибся.

Машины въехали на территорию института и, проехав мимо небольшой цитрусовой плантации, остановились у двухэтажного дома под сенью лавровых и камфаровых деревьев.

Все, кроме шоферов, вышли из машин, поднялись на второй этаж, прошли приемную, где за столом сидела молодая секретарша, и вошли в кабинет Абесаломоиа Нартовича. Он уселся за свой стол, усадил нас па многочисленные стулья, стоявшие у стен кабинета, и, придав лицу руководящее выражение, нажал на кнопку звонка.

Вошла секретарша, несколько косясь и блуждающей улыбкой выражая некую иронию, неизвестно к кому обращенную. Возможно, к самому Абесаломону Нартовичу. Если это так, мы можем только воскликнуть: «О, время, время!» Дело в том, что еще в недалеком прошлом, на вершине своей карьеры, Абесаломон Нартович славился как легендарный любовник. По слухам (врагов? или сторонников?) ему нередко приходилось прерывать заседания совета министров (местного, конечно) и удаляться с очередной фавориткой в особую комнату, а притихшие министры пережидали приступ любовного кайфа как неотвратимое и грозное явление природы или эпилептический припадок.

А между тем секретарша продолжала стоять, оглядывая нас с блуждающей улыбкой, в то же время смущенно поеживаясь, сиротливо приподымая плечико и даже как бы слегка отстраняясь, словно предугадывая непристойные предложения и выражая своим телесным обликом не совсем полную готовность выполнить их. Сквозь эти многообразные чувственные маски тихо, но настойчиво проступала тайная наглость юной женщины, помнящей о своей внеслужебной власти над несколько аляповато молодящимся боссом. Во всяком случае, так мне показалось.

— Ящик фейхоа для нашего космонавта в мою машину и фрукты для гостей,— излишне строгим голосом приказал Абесаломон Нартович, как мне показалось, чтобы перекрыть впечатление от ее тайной наглости.

Восторженно узнавая космонавта, секретарша исчезла. Абесаломон Нартович вынул из стола экземпляр своей книги «Певчие птицы Абхазии» и, надписав ее космонавту, стал рассказывать о некоторых свойствах этих птиц. Я все ждал, чтó он скажет, когда дойдет до попугая, но до попугая он не дошел, потому что вернулась секретарша с двумя вазами, наполненными яблоками, грушами и виноградом.

Вазы с вспотевшими от охлаждения плодами и томно свисающими гроздьями винограда были водружены на стол. Абесаломон Нартович прервал свой рассказ и, захлопнув книгу, вручил ее космонавту. Тот с таким видом прижал ее к груди, словно давал клятву в следующий же свой космический полет забрать ее с собой.

— Фейхоа поставили в багажник? — спросил Абесаломон Нартович.

— Да,— сказала секретарша, не сводя восторженного взгляда с великолепного космонавта. Взгляд этот выражал почти обрядовую готовность жрицы по первому же знаку своего идола тут же, не сходя с места, сорвать с себя все одежды. Взгляд этот почти всех смутил, в том числе и Абесаломона Нартовича. Я говорю — почти, потому что космонавта этот взгляд не смутил. Не поняв ее призыва, он мельком посмотрел на нее с высоты своего отличного роста далеким, стерильным, галактическим взглядом.

— Попробуйте фрукты из нашего сада,— сказал Абесаломон Нартович, все еще стараясь подчеркнуть свой полный контроль над происходящим.

Все потянулись к фруктам. Космонавт взял краснобокое, образцовое яблоко и сверкающими зубами сделал мощный образцовый надкус.

— Я сейчас хочу вам предложить,— сказал Абесаломон Нартович торжественно,— прохладительный напиток собственного рецепта... Надюша, принеси стаканы.

Не найдя отклика на свой призыв жрицы, секретарша погасла, и теперь выражение иронии на ее лице приобрело абсолютно универсальный характер, охватывающий всех находящихся в кабинете. Она повернулась и, откровенно смеясь над нами своими покачивающимися бедрами, вышла из кабинета. Абесаломон Нартович несколько удрученно посмотрел ей вслед, а потом взглянул на нас, как бы призывая не придавать слишком большого значения ее насмешливо покачивающимся бедрам. Не без некоторого уныния мы согласились проглотить это оскорбление.

— Знаменитый Логидзе тайну своих прохладительных напитков унес с собой в могилу,— сказал Абесаломон Нартович,— я в меру своих скромных сил пытаюсь создать равноценный напиток.

Интересно, подумал я, кто-нибудь в этой стране занимается своим прямым делом? Все же, могучая широта натуры Абесаломона Нартовича оставляла надежду, что и делам своего института он не совсем чужд.

Тут слово взял дядя Сандро и рассказал небольшую новеллу о своей встрече со знаменитым Логидзе.

Оказывается, Логидзе изготовлял лучшие в мире прохладительные напитки. Его лимонад был так прекрасен, что персидский шах и дня не мог прожить без него. Ящики с лимонадом Логидзе отправлялись в Баку, оттуда морем шли в Персию и дальше караванным путем до самого Тегерана.

Но в начале тридцатых годов у Логидзе сильно испортились отношения с Берия. Берия как будто пытался узнать у него тайну прохладительных напитков, а Логидзе не открывал этой тайны. Несмотря на интриги Берия, старик мужественно сохранял свою тайну. И Берия ничего ему не мог сделать, потому что не знал, как отнесется к этому Сталин. Он его только выжил из Тбилиси. Логидзе переехал в Мухус. Здесь он работал на лимонадном заводе, продолжая делать свои прекрасные напитки, но тайну их производства никому не открывал.

Нестор Аполлонович Лакоба решил во что бы то ни стало вырвать из него эту тайну, чтобы будущие поколения советских людей могли наслаждаться изумительным напитком. Это щекотливое дело Лакоба поручил дяде Сандро. Он посоветовал ему как следует тряхнуть старика, но так, чтобы вместе с тайной напитка не вытряхнуть из него душу.

Подобрав заранее ключи к дверям его квартиры и узнав, что старик в ту ночь в доме был один, дядя Сандро, прикрыв лицо маской и вооружившись пистолетом, вошел к нему в дом. Он зажег свет и приблизился к изголовью старика.

Старик проснулся, но, увидев над собой человека в маске и с пистолетом в руке, не испугался и даже не растерялся. И от этого, по словам дяди Сандро, он сам растерялся. Он совершенно не учел, что дух старика Логидзе к этому времени был великолепно закален долгими интригами Лаврентия Берия.

— Опять бериевские штучки? — спросил он, усаживаясь на постели.

— Нет,— сказал дядя Сандро,— но ты должен открыть...

— Тайну воды Логидзе? — насмешливо спросил старик и, взяв папиросу со стула, стоявшего в изголовье, чиркнул спичкой и закурил.— Так запомните: нет никакой тайны Логидзе.

— Как — нет? — удивился дядя Сандро.

— Так — нет,— сказал старик, затянувшись и махнув на пистолет дяди Сандро,— убери, а то выстрелишь случайно... Нет никакой тайны Логидзе, есть любовь к делу и знание дела.

— Как так? — спросил дядя Сандро, пряча пистолет в карман.

— Ты знаешь, как готовят вашу мамалыгу? — спросил старик.

— Знаю,— ответил дядя Сандро.

— Каждая хозяйка знает, как готовить мамалыгу? — спросил старик.

— Каждая,— ответил дядя Сандро.

— И никакого секрета в этом нет? — спросил старик.

— Секрета нет,— отвечал дядя Сандро.

— Почему же есть хозяйки, которые готовят мамалыгу так, что пальцы оближешь, а другие неважно готовят? — спросил старик.

— Некоторые умеют лучше готовить, а некоторые не умеют,— ответил дядя Сандро, стараясь не дать сбить себя с толку.

— Но ведь те, кто готовит хуже, знают все, что знают те, что готовят лучше? — продолжал старик.— Или у них есть какая-то тайна?

— Нет,— сказал дядя Сандро,— какая же может быть тайна, все знают, как готовить мамалыгу.

— Так почему же,— спросил старик,— одни готовят ее прекрасно, другие похуже, а третьи совсем плохо?

— Не знаю,— сдался наконец дядя Сандро.

— Потому что в мире есть талант и любовь,— сказал старик,— чего ваши начальники никак не поймут. И женщина, в которой соединился талант и любовь, готовит мамалыгу лучше других. Любовь учит ее выбирать свежую муку на базаре, хорошо ее просеивать, а талант помогает ей правильно понять соотношение огня и того, что варится на огне.

— Так как же быть? — сказал дядя Сандро.

— Вы только уважайте талант,— отвечал старик,— а после меня придут люди, которые будут готовить прохладительные напитки не хуже меня.

— Но я обязан узнать тайну Логидзе,— напомнил дядя Сандро, что он человек тоже подневольный.

— Тебе нужна бумага? — спросил старик.

— Да,— сказал дядя Сандро.

— Хорошо,— согласился старик и, встав с постели, подошел к столу. Он взял кусок бумаги, макнул перо в чернильницу, что-то написав на бумаге, помахал ею в воздухе, чтобы написанное обсохло, и протянул ее дяде Сандро.

— Это все? — спросил дядя Сандро, удивленный краткостью формулы состава знаменитого прохладительного напитка.

— Все,— отвечал старик,— но главное — я тебе сказал словами. Если природа наградит человека любовью и талантом, он будет делать воду не хуже меня и танцевать будет не хуже тебя.

Дядя Сандро, по его словам, почувствовал, что краснеет под маской: старик его узнал.

— Не обижайся,— попросил его дядя Сандро,— политика...

— Я не обижаюсь,— сказал старик,— я уже привык...

Дядя Сандро покинул старика Логидзе и на следующий день вручил Лакобе формулу знаменитого напитка. Лакоба отослал формулу не то в Москву, не то в Тбилиси, дядя Сандро точно этого не знает. Специалисты проверили формулу и через некоторое время сообщили Лакобе, что формула, которую дал старик, ничем не отличается от формулы обычных прохладительных напитков. Лакоба махнул рукой на это дело и больше не стал беспокоить старика.

Пока дядя Сандро все это рассказывал, секретарша внесла поднос со стаканами, Абесаломон Нартович открыл холодильник и вытащил оттуда графин с какой-то ядовито-желтой жидкостью.

— Все-таки старик Логидзе тогда задурил тебе голову, Сандро,— сказал Абесаломон Нартович голосом, исполненным уверенности в своей правоте, одновременно разливая свой напиток по стаканам,— он тайну своего напитка унес с собой в могилу... Но я добьюсь напитка, который будет не хуже... Пробуйте пока этот...

С некоторой неуверенностью мы потянулись к стаканам. Я пригубил ледяную жидкость и стал медленно ее отсасывать. Она была горьковатая и сильно вязала во рту. Другие тоже, как я заметил, осторожно тянули из своих стаканов. Только космонавт с присущей ему решительностью опрокинул стакан в рот и, утерев губы, сказал:

— Хвоей отдает...

Это он сказал с обезоруживающей точностью.

— Совершенно верно,— не растерялся Абесаломон Нартович,— в напиток входит сок фейхоа, и он создает этот оригинальный оттенок.

Космонавт взял из вазы грушу и сочно впился в нее, явно стараясь промыть рот после этого фантастического напитка. Остальные тоже взяли по плоду.

— Великолепная груша,— сказал космонавт, жуя и шумно втягивая в себя излишки сока.

— Дюшес,— довольный, заметил Абесаломон Нартович.— Надюша, распорядись, чтобы поставили мне в багажник ящик груш для нашего космонавта.

Надюша, усмехнувшись, пошла к дверям, продолжая насмешничать над

нами своими покачивающимися бедрами. Но после напитка Абесаломона Нартовича мы легко перенесли эту насмешку. Я, во всяком случае.

— Вы меня балуете,— сказал космонавт.

— Страна любит своих героев,— отвечал Абесаломон Нартович и, снова обращаясь к предмету своей последней страсти, добавил: — Опыты с прохладительными напитками продолжаются...

Он подошел к холодильнику и открыл дверцу. Мы увидели дюжину бутылок из-под кефира, заполненных опытными образцами напитков почти всех цветов радуги.

— Этот пока самый совершенный по вкусу,— сказал Абесаломон Нартович,— указывая на графин, из которого мы пили,— недавно я им угощал министра сельского хозяйства Италии, он остался доволен... Если мне его слова правильно перевели.

Я хотел спросить, удалось ли бедному министру сельского хозяйства Италии, по крайней мере, закусить фруктами, но не решился. Мы вышли из кабинета.

— Если мне будут звонить,— обернулся Абесаломон Нартович к секретарше,— я поехал в совхоз...

— Хорошо,— сказала секретарша и в последний раз покосилась на космонавта. Она опустила глаза в книгу, которая лежала перед ней, и на губах ее затрепетала блуждающая улыбка.

Когда мы подходили к машинам, кто-то из работников института втаскивал ящик с грушами в багажник автомобиля Абесаломона Нартовича. Мы сели в машины и поехали.

Наконец, после долгих блужданий я снова вышел на автостраду своего сюжета. Итак: мы прикатили на трех машинах в это уединенное абхазское село по причине, которая, как оказалось, не вполне выветрилась у меня из головы. Теперь становится абсолютно ясно, что никакой причины не было. Просто один из участников нашей компании был приглашен к своему родственнику, нам для приличия предложил с ним ехать, а мы, не долго думая, приняли это предложение.

Через три часа мы остановились в маленькой деревушке перед изумрудным абхазским двориком. Пока мы входили во двор, из дома вышел человек лет тридцати с пронзительными синими глазами, следом за ним молодая женщина, судя по всему, его жена, а потом появился и седоглавый патриарх, по-видимому, отец молодого хозяина.

Нас познакомили. Было видно, что хозяева обрадовались долгожданному приезду своего родственника со свитой, возглавляемой бывшим ответственным работником, слухи о снятии которого, вероятно, сюда еще не дошли, они все еще перекрывались его долгой почетной деятельностью.

Кстати, Абесаломон Нартович хорошо знал этот дом и этот дворик, и он немедленно подвел нас к забору, возле которого росла старая ольха с обвивающейся вокруг нее виноградной лозой необыкновенной толщины. Он нам стал рассказывать об истории этой лозы, которой, по его утверждению, было около ста пятидесяти лет.

Я оглядел дом и двор. Молодой хозяин уже успел прирезать козу и, подвесив ее на веревке к балке кухонной веранды, быстро освежевывал тушу. Над крышей кухни подымался дым, там, вероятно, уже варили мамалыгу, готовились к нашему приему.

На веревке, протянутой вдоль веранды дома, сушились огненные связки перца и темно-пунцовые сосульки чурчхели. У крыльца, ведущего в горницу, был разбит палисадничек, где цвели георгины, вяло пламенели канны, золотились бархатцы.

Два рыжих теленка, помахивая хвостами, паслись во дворе. Процессия индюшек во главе с зобастым, клокочущим, похожим на распахнутый аккордеон индюком, прошла в сторону кухни. За забором, ограждающим двор, зеленела кукуруза с крепкими, уже подсыхающими початками на каждом стебле. Сквозь листья тутовых и алычевых деревьев, разбросанных на приусадебном участке, далеким, греховным соблазном детства темнели виноградные гроздья.

И вдруг мне почудилось, что я больше никогда не увижу ни этого дыма над абхазской кухней, ни этого сверкающего зеленью травы дворика, ни этой кукурузы за плетнем, ни этих деревьев, притихших под сладкой ношей созревшего винограда. Все это для меня кончится навсегда. Томящая тоска охватила мою душу.

(В невольном выдохе взрослого человека в минуту душевной смуты «Господи, помоги!» и в крике ребенка «Мама!», безусловно, есть роднящая интонация, единый источник. Но крик ребенка вполне объясним повседневной реальностью материнской защиты. Не стоит ли и за возгласом взрослого человека такая же реальность, только невидимая? Та же мысль в перевернутом виде — святость материнства. Обдумать.)

Я стал прислушиваться к словам витийствующего Абесаломона Нартовича. Он рассказывал о свойствах местных сортов винограда, а космонавт записывал в блокнот названия этих сортов. Нет, сейчас это было невозможно слушать.

Я взглянул на дядю Сандро и понял, что именно он виновник моих тоскливых предчувствий. Мне захотелось отвести с ним душу, и я, взяв его под руку, отделил от компании. Мы стали прогуливаться по дворику.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Мне страшно, дядя Сандро,— сказал я ему откровенно.

— Чего ты боишься? — спросил он у меня.

— Ох, и попадет мне, дядя Сандро, ох, и попадет мне за то, что я описал твою жизнь! — воскликнул я.

— Мою жизнь? — повторил он с обидчивым недоумением.— Моя жизнь у всей Абхазии на виду. Люди гордятся мной.

— Попадет,— повторил я,— хотя бы за то, что я описал, как Лакоба в присутствии Сталина стрелял по яйцу, стоявшему на голове у повара. Попадет мне за это!

— Глупости,— сказал дядя Сандро, пожимая плечами,— во-первых, кроме меня, там было человек сто, и все это видели. Во-вторых, Лакоба был замечательный стрелок, и он всегда попадал по яйцам, а в голову повара никогда не попадал. Вот если бы он попал в голову повара, тогда об этом нельзя было бы писать...

— Не в этом дело,— пояснил я ему,— они скажут, зачем надо было об этом писать. Что за феодальные забавы, скажут они, в период строительства социализма.

— Что такое феодальные забавы? — спросил у меня дядя Сандро.

— Это значит старинные развлечения,— сказал я ему.

— А как это одно другому мешает,— удивился дядя Сандро,— социализм происходит снаружи, а это было внутри?

— Что значит снаружи и что значит внутри? — спросил я, не совсем понимая его.

— Очень просто,— сказал дядя Сандро,— социализм — это когда строят чайные фабрики, заводы, электростанции. И это всегда происходит снаружи, а Лакоба стрелял внутри, в зале санатория. Как это одно другому мешает?

— Ах, дядя Сандро,— сказал я,— они по-другому смотрят на это. Ох, и попадет мне!

— Заладил! — перебил меня дядя Сандро.— Что, кэ-гэ-бэ боишься?

— Да,— застенчиво признался я ему.

— Ты прав, кэ-гэ-бэ надо бояться,— сказал дядя Сандро, подумав,— но учти, что там сейчас совсем другой марафет. Там сейчас сидят другие люди. Они сами ничего не решают. Это раньше они все сами решали. Сейчас они могут задержать человека на два-три дня, а потом...

— Что потом? — не выдержал я.

— Потом они спрашивают у партии,— отвечал дядя Сандро,— а там, внутри партии, сидят специалисты по инженерам, по врачам и по таким, как ты. По разным отраслям. И вот человек из органов спрашивает у них: «Мы задержали такого-то. Как с ним быть?» А человек из партии смотрит на карточки, которые у него лежат по его отрасли. Он находит карточку этого человека, читает ее и уже все знает о нем. И он им отвечает: «Это очень плохой

человек, дайте ему пять лет. А этот человек тоже опасный, но не такой плохой. Дайте ему три года. А этот человек просто дурак! Пуганите его и отпустите». Если надо дать человеку большой срок, они туда посылают справку, чтобы документ был. А если маленький срок, скажем, два года — могут просто по телефону сказать.

— Да мне-то от этого не легче, как они там решают,— сказал я,— страшно, дядя Сандро...

— Слушайся меня во всем,— отвечал дядя Сандро,— и ты никогда не пропадешь! Ты мне найди телефон и фамилию человека, который занимается по твоей отрасли. Мы ему приготовим хороший подарок и все уладим.

— Ой, дядя Сандро,— воскликнул я,— это идеология, там не берут!

— Глупости,— ответил дядя Сандро,— все кушают. Идеология тоже кушать хочет. Вот тебе свежий пример. Вызывает меня недавно один ответственный человек, фамилию я тебе не называю, а то ты по дурости вставишь куда-нибудь. И он мне говорит: «Дядя Сандро, ты всеми уважаемый человек. Прошу тебя, сделай для города такое дело. Нам очень трубы нужны, но мы их нигде не можем достать. В Москве обещали. Вот тебе пятьсот рублей на мелкие расходы, вот тебе посылки, вот тебе имена людей, которым надо позвонить, напомнить про трубы и передать посылки. Поезжай в Москву, номер в гостинице мы тебе отсюда закажем, занимай его и звони оттуда всем этим людям, напоминай про трубы и раздавай посылки».— «Хорошо»,— говорю и забираю деньги. А этот человек говорит: «Теперь ты видишь, дядя Сандро, что я для города стараюсь, а люди считают, что я беру взятки для себя».— «Конечно, вижу»,— говорю.

— И вот нагружают мне целое купе посылок, и я еду в Москву. А что в посылках — не знаю. Раз не сказали — некрасиво спрашивать, тем более самому открывать. На вид каждая так пуда на два. Но на посылке не написано кому. Только написан номер посылки, и этот же номер стоит против имени этого человека на бумаге. Хитро придумали, чтобы посторонний, если зайдет в купе, на посылке не прочитал имя какого-нибудь начальника.

И вот я звоню из гостиницы. Иногда попадаю к нужному человеку, иногда попадаю к секретарше, иногда говорят: завтра позвоните. Я им все объясняю и про трубы, и про посылки, и про номер, в котором живу. Теперь мне интересно узнать: начальники, которым я привез посылки, очень большие или не очень? А на бумаге должность не написана — только имя и телефон. Хитрые, но я еще хитрей. И вот начинают приезжать. Нет, сам ни один не приехал. Шоферов присылают. Входит шофер, говорит, от какого человека, я смотрю на бумагу и отдаю нужный номер посылки. Но при этом разговариваю с шофером. Предлагаю выпить чачу, закусить чурчхели. Правда, пить никто не пил, но чурчхели все берут. И я так, между прочим, спрашиваю у шофера: «На какой машине работаешь?» — «На „Чайке“»,— отвечает первый шофер.

Ага, думаю, на «Чайку» маленького начальника не посадят. Значит, не меньше замминистра. И что же оказалось? Из шести шоферов четверо работали на «Чайке» и только двое на «Волге». А ты говоришь... Человек, который присматривает за вами, может, даже на «Волге» не ездит.

— Ой, дядя Сандро, не знаю, не знаю,— сказал я, но почему-то немного успокоился.

— Зато я знаю,— ответил дядя Сандро,— я передам ему подарок, и он скажет про тебя все, как мы хотим. Но ты против линии не идешь нигде?

— Что вы! Что вы, дядя Сандро!

— Линию никогда не нарушай — остальное ерунда! — сказал дядя Сандро.— Если ты что-то не так написал, мы ему подскажем, что говорить. Например, так: «Этого человека не трогайте, у него в голове не все в порядке, он сам не знает, что пишет».

— Что вы, что вы, дядя Сандро! — испугался я.— Так в сумасшедший дом могут посадить!

— Могут,— согласился дядя Сандро, подумав,— тогда по-другому подскажем. Например, так: «Глуповатый, но правительство любит».

— Это подходит,— сказал я, успокаиваясь от несокрушимой уверенности дяди Сандро, что мир именно такой, каким он его себе представляет.

— Запомни для будущего,— продолжал дядя Сандро,— эта власть крепко сидит, и никто ее сдвинуть не сможет. А некоторые глупые люди об этом думают. Ты знаешь, недалеко от моего дома сапожная мастерская? Шесть жалких сапожников работают там. А кто над ними заведующий? Партийный человек. И он видит все, что они говорят, что они думают и куда поворачивают. Нет, кушать дает. Сам кушает и им дает кушать. Но нарушать линию никому не позволит. И так все проникнуто, все! А некоторые дураки этого не понимают.

Однажды сижу в открытом кафе и пью кофе с коньяком. Отдыхаю. Вдруг подсаживаются ко мне два молодых парня, заказывают кофе и начинают говорить. Но о чем они говорят, ты послушай. Один говорит: при демократии мы сделаем то-то и то-то. А другой говорит — нет, при демократии мы сначала то-то не будем делать, а будем делать другое. А этот с ним спорит — нет, при демократии мы сначала будем делать то-то, а другое будем делать потом.

Прямо при мне говорят, не боятся. Думают, наверное, неграмотный абхазский старик, ничего не понимает. Но я лучше их знаю, что такое демократия. Это значит управлять государством, как в других странах. Но я про эти другие страны все знаю. Многих встречал, которые там побывали. Там страны маленькие, а дороги хорошие. У нас страна большая, а дороги плохие. И от этого совсем разный марафет управления. Там, если в районе кто-нибудь взбунтовался,— трр, дороги хорошие, полиция через час приезжает, всех разгоняет и всех успокаивает. А у нас? В России есть такие места, где от района до областного города пятьсот километров или больше. И вот если в районе взбунтовались, покамест милиция приедет, чего только они не успеют сделать! Клуб сожгут, магазин разобьют, всю водку выпьют. А страна большая, дороги плохие, милиция не успевает. И поэтому такой марафет управления, чтобы люди на местах в испуге сидели. Чтобы прежде, чем бунтовать, они целую неделю между собой советовались: стоит или не стоит! И они так и делают. Один говорит: «Клуб сожгем, магазин разобьем, всю водку выпьем, консервами закусим».

Другой говорит: «Нет, клуб не надо сжигать, лучше прямо магазин разобьем».

А третий говорит: «Нет, клуб надо сжечь, потому что перед людями стыдно. Люди подумают, что из-за водки это сделали».

И пока они так спорят, милиция все узнает и, хотя дороги плохие, время есть, они успевают приехать.

А эти двое молодых, которые сидят напротив меня, ничего об этом не знают. А все время говорят: демократия, демократия... Тут я, наконец, не выдержал.

«Дураки,— говорю я им,— глупые несмышленыши. Эту власть Гитлер не смог опрокинуть со своими танками, а вы что сможете со своей болтовней? Только бедные родители ваши страдать будут».

«Ничего,— говорит один из них,— это так кажется, что они сильные, наша возьмет».

Тут я разозлился. Я ему дело говорю, а он мне нагло так в лицо отвечает! И как раз в этот момент в кофейню входит мой знакомый милиционер. «Жора,— кричу ему,— подойди сюда!»

Эти двое оглядываются, видят — подходит милиционер. Побледнели, хоть в гроб клади. Я, конечно, продавать их не собирался. Не в таком доме родился, не такой человек. Но хочу, чтобы дошло до их головы, где живут. Подходит милиционер и, улыбаясь, говорит: «Здравствуйте, дядя Сандро, что вам надо?»

«Ничего,— говорю,— хотел бы с тобой по стаканчику выпить».

«Извините, дядя Сандро,— говорит,— но я не могу, я на дежурстве».

«Ну, тогда,— говорю,— прости, Жора, другого дела не имею».

Милиционер отходит, эти ребята немножко оживают, и один из них говорит: «Спасибо, старина, что не продал».

«Я,— говорю,— продавать вас не собирался, потому что не в таком доме родился, не такой человек. Я хотел проучить вас, чтобы глупости не говорили, тем более в кафе. Здесь попадаются старички, которые трясут головой и, кажется, ничего не понимают, потому что одной ногой стоят в могиле, но другой ногой они стоят совсем в другом месте. Так что думайте, прежде чем болтать глупости».

Ничего не сказали, ушли.

Мы с дядей Сандро продолжали прогуливаться по двору. Пока я с трудом осмысливал набросанную им грандиозную схему государственного устройства, мысль его сделала неожиданный скачок на Голду Меир. Он и раньше в разговорах пару раз упоминал о ней с некоторым скрытым раздражением. В самой идее выдвижения женщины во главу государства, он, по-видимому, подозревал отдаленное, но чутко уловленное им, как великим тамадой, покушение на принцип мужевластия за абхазским столом. По-видимому, он про себя рассуждал так: сегодня женщину поставили во главе государства, а завтра поставят во главе стола. Это как понять?

— Слушай,— сказал он,— эта старуха Голда Меир все еще управляет Израилем? Она что, совсем с ума сошла? Зачем она русских евреев впускает в свое государство? Что она, не знает — они в России сделали революцию и то же самое могут сделать там?

— Да что вы, дядя Сандро,— сказал я,— ничего они там не сделают. Тогда было совсем другое время.

— Другое время,— повторил дядя Сандро,— ты его из книжек знаешь, а я его хорошо помню. Я лично с Троцким охотился...

— Как так? — удивился я, потому что он об этом мне никогда не рассказывал.

— Да,— сказал дядя Сандро,— в двадцать четвертом году он был в Абхазии. Я тогда попал в один дом, где он гостил, и мы все пошли на охоту. Он очень любил охотиться и был прекрасным стрелком. Он так проворно успевал поворачиваться и стрелять в летящую птицу, что можно было подумать — всю жизнь занимался охотой, а не революцией. Лучше него стрелял только один человек — Лакоба. Троцкий был прекрасным охотником, ученым человеком и лучшим оратором страны. В те времена проводились всесоюзные соревнования ораторов, и он каждый год брал первое место. И все-таки он был глупым человеком. Почему? Отвечаю.

Двадцать четвертый год. Великий Ленин умирает. А Троцкий сидит в Абхазии и охотится. Ленин умер, поезжай в Москву, постой у гроба как близкий человек, может, сумеешь кусок власти оторвать у Большеусого, а он сидит в Абхазии и охотится. А потом, когда Большеусый все захватил, он приезжает в Москву и спорит с ним. Разве это умный человек? Но стрелок он был прекрасный, лучше него только Лакоба стрелял... А с другой стороны, если посмотреть: хороши стрелки! Одного Берия отравил, а другого человек Большеусого ломом угробил. Если ты уж такой стрелок, так знай, куда стрелять...

На этой ворчливой интонации наша беседа с дядей Сандро была прервана. Нас позвали к столу. Стол был накрыт прямо на дворе. Я столько раз описывал абхазские столы, что мне прямо совестно возвращаться к этому. Читатель может подумать, что я какой-то обжора. Нет, я, конечно, любил поесть и выпить, но с годами уходит аппетит к застолью да и к шуткам тоже. Одним словом, стол был прекрасный, и я только бегло опишу то, что было на столе, никак не обнажая своего личного отношения к яствам.

Главное блюдо — молодая козлятина — дымилось на нескольких тарелках. Свежая мамалыга, копченый сыр, фасоль, сациви, жареные куры, зелень (зеленый лук — амурная стрела вегетерианца) — все это теснилось на столе. Как видите, ни малейшего гастрономического восторга.

Абесаломон Нартович был посажен в середину стола, направо от себя он посадил космонавта, а налево дядю Сандро. Может быть, он все еще настаивал на демонстрации высших достижений нашего прошлого и настоящего. А возможно, он без слов старался нам внушить, что сам преемник идей дяди Сандро, а космонавт отпочковался от его собственных идей. Расселись и мы.

Дядя Сандро был избран тамадой. Но я не буду описывать, как он вел застолье. По-видимому, это вообще не поддается описанию. На протяжении всего романа я избегал такого рода сцен, тем самым создавая в воображении читателя мифический образ великого тамады, который только и соответствует

величию лучшего дирижера кавказского застолья. В этом деле он божество, а пытаясь зафиксировать реальность божества, мы неизменно ослабляем его божественную реальность. Бог, расчесывающий бороду на наших глазах, это уже маленькая победа атеизма, господа!

Чтобы уберечь нас от солнца, все еще высоко стоявшего в небе, молодой хозяин нарубил в ольшанике большую охапку зеленых веток и втыкал их в землю, с болезненным вниманием вглядываясь в нас, чтобы степень густоты тени, отбрасываемой листьями на наши лица, строго соответствовала духовной значимости каждого из нас.

Вообще это был довольно странный человек. Его синий, пронзительный, взыскующий взгляд, с одной стороны, как бы забрасывал нас на неведомую нам, но приятную высоту, но, с другой стороны, он как бы обещал нас немедленно покарать, если мы окажемся недостойными ее. Поэтому было не совсем ясно, как себя вести.

Лучшую, самую густолиственную ветку, он сначала воткнул напротив Абесаломона Нартовича, но потом после некоторых колебаний понял, что космонавт фигура покрупней, а поняв это, он с патриархальной прямотой вытащил из земли эту лучшую ветку и вонзил ее напротив космонавта. Во время этой операции Абесаломон Нартович одобрительно кивнул головой, показывая, что хозяин только исполняет его не успевшее слететь с губ пожелание.

Следующая по густоте листвы ветка досталась Абесаломону Нартовичу, а потом дяде Сандро. Остальные ветки хозяин распределил между оставшимися, все еще взыскующе вглядываясь в каждого из нас, но уже не столь болезненно. Он как бы успокаивал себя мыслью, что ничего страшного не произойдет, если он тут немного и ошибется.

Так как мы за столом сидели очень долго, и солнце за это время прошло по небу немалый путь, хозяин еще дважды пересаживал ветки, чтобы тень от них падала на наши лица. Но и пересаживание веток производилось далеко не формально, а с учетом более обогащенного понимания нашей духовной сущности, которая раскрывалась ему в процессе застольной беседы.

Не говоря о более мелких ветках, предназначенных нам, после двух, на наш взгляд, невинных высказываний космонавта, произошла решительная переоценка самой густолиственной ветки, и молодой хозяин при последней пересадке своей искусственной рощи снова отдал предпочтение Абесаломону Нартовичу, как бы возвращаясь к своему первому интуитивно-правильному душевному порыву.

Все было хорошо за этим столом, но ради полноты истины надо сказать, что вино было паршивым. Вино портится вместе со временем, а точнее говоря, вместе с моими милыми абхазцами. Сейчас сплошь и рядом к вину подмешивают сахар и воду, и получается в результате какая-то бурда, хотя и довольно крепкая, но малоприятная.

В середине застолья космонавт попросил слова у дяди Сандро, и тот ему дал его.

— Дорогие друзья,— лучезарно сказал космонавт,— я хочу, чтобы мы за этим прекрасным столом выпили за комсомол, воспитавший нас...

Молодой хозяин, услышав этот тост, застыл, как пораженный громом. Произошла небольшая заминка, которую Абесаломон Нартович тактично прикрыл, поддержав тост и сказав, что сам он начинал карьеру с комсомольской работы.

Тост космонавта прозвучал, конечно, несколько странно для этой глухой деревушки. Но ничего особенного в нем не было. Просто этот молодой хозяин с самого начала настроился не принимать от нас ничего, кроме перлов.

К счастью, сам космонавт ничего не заметил. Но молодой хозяин остановил на нем свой пронзительный, взыскующий взгляд. Потом взглянул на дядю Сандро таким же пронзительным, но еще более взыскующим взглядом, как на тамаду, несущего полную ответственность за все, что говорится во время тоста. После этого, выходя из оцепенения и приобретая дар речи, он с выражением мучительной догадки вымолвил по-абхазски:

— Уж не глуп ли он часом?!

— Нет, их так учат,— по-абхазски же строго поправил его дядя Сандро, как бы намекая на таинственную, но незыблемую связь между тостом космонавта и подготовкой к космическим полетам. Этим пояснением он одновременно отбрасывал и дерзостное, хотя и смехотворное предположение, что он мог ошибиться как тамада, предоставив слово космонавту.

Заговорили о деле моего друга и потом не очень тактично, но и не имея в виду обидеть его, перешли на рассказы о смертоубийствах вообще. И тут Абесаломон Нартович нам выдал, на мой взгляд, хорошую новеллу. И что особенно ценно, новелла эта была выдержана в реалистическом духе, что говорит об удивительной многогранности его дарования рассказчика. В широких кругах нашей интеллигенции он был известен как автор фантастических рассказов. Передаю то, что услышал, по памяти, безусловно обеднив многие подробности и интонации.

— В нашей деревне,— начал Абесаломон Нартович,— недалеко от нашего дома жил пастух по имени Гедлач. Это был человек маленький, как подросток, с горящими совиными глазами и очень диким нравом. Связываться с ним считалось очень опасным, хотя он никому ничего плохого не сделал. Но все понимали, что он может сделать все, что придет ему в голову

Он был пастухом, как я сказал, и заядлым охотником. Каждое лето он пропадал на альпийских лугах и не только убивал медведей и туров, но и прославился тем, что сумел подкрасться к живой косуле и поймать ее за ногу. Кажется невероятно, но так оно и было. Косуля проволокла его с километр, пока он не изловчился нанести ей ножом смертельный удар.

У него было прозвище Железное Колено, данное ему за неутомимость. Во время охотничьих походов за турами никто не мог угнаться за ним, и, в конце концов, он всех оставлял позади, а сам докарабкивался до самых недоступных турьих пастбищ на самых крутых склонах Кавказа.

Между прочим, в детстве у меня были способности хорошо подражать голосам людей, зверей и птиц. Отсюда мой интерес к певчим птицам. Если б я развивал этот талант, я сейчас, наверное, был бы народным артистом. Но я пошел на комсомольскую работу, а там этот талант оказался не нужен.

И вот, когда умер отец Железного Колена, меня подговорил мой товарищ, с которым я пас домашних коз, попугать Железное Колено, подражая голосу его отца, который я хорошо помнил. И я стал время от времени, находясь недалеко от дома Железного Колена, на их семейном кладбище, звать его голосом отца.

— О, Гедлач,— кричал я,— иди сюда, иди!

Обычно под вечер так прокричав несколько раз, я замолкал, а потом гнал свое стадо домой. Дорога моя проходила мимо дома Железного Колена, и я иногда видел его, неподвижно стоящего на взгорье посреди двора и удивленно прислушивающегося к чему-то.

— Ты проходил мимо наших могил? — спрашивал он у меня.

— Проходил,— отвечал я.

— Никого не видел?

— Нет.

— Ничего не слышал?

— Нет,— отвечал я,— а что?

— Голос отца слышится,— отвечал он,— не пойму, что ему надо... Поминки провели, как надо, сороковины устроили хорошие, придет годовщина и годовщину отметим... Не пойму, чем он не доволен...

Вскоре вся деревня узнала, что отец Железного Колена призывает его к себе.

— Наверное, медведь тебя загрызет или сорвешься с какого-нибудь склона,— говорили ему односельчане.

— Ну, что ж,— отвечал он, не переставая сверкать своими совиными глазами,— если пришел мой срок — никуда не денешься...

Я, конечно, кричал далеко не каждый день, а так, в неделю раз или два. Нам забавно было смущать этого дикого человека. И я, конечно, никак не ожидал, что он при своей дикости обладает звериной хитростью, о которой никто тогда не подозревал. Оказывается, он заметил некоторую связь между

зовом отца и моим через некоторое время появлением со стадом на дороге, проходящей мимо его дома.

И вот однажды, когда я стоял возле могил их семейного кладбища и, поднеся руку ко рту, осторожно прокричал:

— О, Гедлач, иди сюда, иди!

— Ах, это ты, сукин сын! — услышал я вдруг его голос и увидел его самого, выскочившего из-за чинары, росшей на кладбище. Как он за нею смог притаиться, я до сих пор не могу понять.

В первую секунду я замер от ужаса, увидев его искаженное гневом лицо и желтые глаза разъяренной совы. В руках он держал ружье. В следующую секунду я покатился вниз с обрывистого склона, поросшего кустами сассапариля. Вслед за мной грохнул выстрел, я услышал, как пуля свистнула над моей головой. Я вскочил на ноги и бежал до самого дома. Хотел он меня убить или хотел напугать — до сих пор остается для меня неясным.

В тот день отец мой привел брошенное мной стадо домой и договорился с Железным Коленом, что сам меня накажет. Но отец, зная, что Железное Колено в меня стрелял и я был смертельно перепуган этим выстрелом, не стал меня наказывать.

В один из ближайших дней, когда я возвращался домой со стадом коз и проходил мимо дома Железного Колена, тот окликнул меня.

— Чтой-то отец перестал меня звать,— спросил он,— не знаешь ли, отчего?

— Не знаю,— сказал я, опустив голову, чтобы не смотреть в его совиные глаза.

— Не пролети пуля мимо твоей дурной башки,— сказал он,— в самый бы раз тебе спросить у моего отца: не надо ли ему чего от меня?

— Прости, Железное Колено,— ответил я,— я пошутил.

— Вот и я в шутку стрельнул в тебя,— сказал он и повернулся к дому.

Года через два Железное Колено женился и, на удивление всем, из соседнего села привез очень красивую девушку. Трудно было понять, почему она согласилась выйти замуж за Железное Колено. Ни привлекательной внешности (почти урод), ни особого достатка в доме у него никогда не было. Может, она соблазнилась его охотничьими подвигами или что-то другое — не знаю.

Тем не менее он женился на этой красивой девушке, сыграл свадьбу, а примерно через две недели после женитьбы собрался в горы, потому что начиналось лето. Односельчане в шутку спрашивали его, как это он не боится бросать без присмотра молоденькую жену, когда она только-только вошла во вкус. А в доме у него жена оставалась одна. Но он этих шуток не понимал. Он отвечал, что слишком привык проводить лето на альпийских лугах, а в жаркой и потной деревне он никак не может оставаться на лето. Одним словом, он так и уехал в горы. Но он не только летом, но и зимой надолго отлучался, собираясь в многодневные охотничьи походы.

Бог знает, как он там жил со своей молодой женой, но детей у них не было. Года через два-три в деревне стали поговаривать, что жена Железного Колена поживает со своим соседом. Это был парень лет тридцати, холостяк, красавец, богатырь. Он жил один со своим племянником и работал в сельмаге. Ну, поговаривали, конечно, об этом шепотом, и никому в голову не приходило открыть глаза Железному Колену. Во всяком случае, среди наших родственников.

Однажды мы сидели на кухне перед очажным огнем. Мама готовила обед, а отец, сидя у огня и разговаривая с дядей Михелом, время от времени поглядывал в открытую дверь кухни, где виднелась его лошадь, привязанная уздечкой к всаженному в землю лому. Когда лошадь объедала всю траву вокруг дома на радиусе вытянутой уздечки, он выходил из кухни, подходил к лому и всаживал его в другое место, чтобы лошадь поела свежей травы. Просто пустить ее пастись было нельзя, потому что во дворе росли саженцы фруктовых деревьев.

И вот отец в третий раз вышел во двор, чтобы вынуть из земли лом и всадить его в новое место. Вдруг он остановился посреди двора, прислушиваясь к чему-то.

— Тише! — крикнул он в кухню и застыл, прислушиваясь. Потом обернулся в сторону кухни и крикнул дяде: — Поди-ка сюда, Михел. Сдается мне, что кто-то дурным голосом кричит...

Мы все высыпали во двор и стали слушать. Сначала ничего невозможно было разобрать, а потом я услышал далекое:

— ...Кто-нибудь... Беда... Беда...

У дяди Михела слух был острый, как у оленя. Он не только услышал слова, но и определил, кто кричит.

— Это племянник нашего завмага,— сказал он, вслушиваясь...

— Беда, беда...— снова в тишине раздался еле слышный голос,— кто-нибудь, кто-нибудь...

— Там что-то страшное случилось! — крикнул отец и, сняв уздечку с лома, влез на неоседланную лошадь. Он погнал ее к дому завмага.

— А ты, Михел, крикни братьев и приходите туда,— сказал он, обернувшись, и, открыв ворота, выехал на дорогу.

Минут через двадцать мы все подошли к дому завмага, где уже было несколько соседей во главе с моим отцом.

Все толпились на кухне. Я заглянул в двери и увидел завмага, лежащего возле кухонной кушетки на спине. Его запрокинутая голова лежала в огромной луже крови, и я вздрогнул от ужаса, увидев черную, зияющую щель перерезанной глотки. Одна рука его сжимала окровавленный нож. Брюки почему-то были расстегнуты, и пряжка пояса лежала в крови. Вот что я успел увидеть. В следующую минуту отец оглянулся и выгнал нас, несколько детей, стоявших в дверях.

Через некоторое время стали прибывать и другие соседи. Слышно было, как по деревне перекликаются люди, сообщая друг другу страшную весть. Все больше и больше людей приходило во двор завмага, и уже целая толпа стояла во дворе, а племянник его снова и снова рассказывал, как он пришел домой и застал дядю в кухне в луже крови. Так прошло часа два. Вдруг со стороны дома Железного Колена раздался его крик.

— Беда, беда,— кричал он,— на помощь!

Голос его был очень хорошо слышен, и все очень удивились его голосу. Все знали, что он сегодня отправился в горы на летние пастбища, а некоторые просто видели, как он часа три тому назад с навьюченной лошадью и ружьем за плечами проходил в сторону гор.

Многие ринулись к его дому, и мы, мальчишки, тоже туда побежали. Дом его был расположен близко, метров двести от дома завмага. Когда мы вошли к нему во двор, он стоял у кухни и развьючивал свою лошадь. Мы подошли к нему. Он снял мешок с лошади и, придерживая его двумя руками, кивнул в сторону кухни:

— Моя хозяйка повесилась...

Все обомлели, а он втащил мешок в кухню. Поставив мешок и утерев со лба пот, он кивнул нам:

— Здесь...

Мы вошли в кухню. Она висела на закопченной кухонной балке, склонив голову и тихо-тихо покачиваясь. Скамейка, которую она, по-видимому, оттолкнула, перевернутая, валялась в нескольких метрах от ее тела.

— Как ты здесь очутился,— спросил один из односельчан,— я же видел, как ты в горы уходил?

— В том-то и дело, что ушел,— сказал Железное Колено,— да по дороге вспомнил, что забыл соль. А что за охота без соли? Убьешь косулю, а мясо-то без соли попортится... Вот я и вернулся, а она тут висит... А чего это люди бегут к дому завмага, чего там стряслось?

— Он горло себе перерезал,— сказал один из соседей.

— До смерти? — спросил Железное Колено.

— Да, мертвый,— отвечали ему.

— Чудно как-то,— вдруг сказал Железное Колено,— эта повесилась, а тот глотку себе перерезал... Вроде чего-то не поделили промеж собой...

Всем стало как-то не по себе. Как-то неловко стало даже нам, детям. Было похоже, что он что-то знал про них и даже как бы слегка насмехался над их

участью. Вот что я тогда почувствовал, а больше ничего не почувствовал.

— Надо же,— вдруг сказал Железное Колено, полыхнув своими совиными глазами,— не вернись я за солью, так бы и не узнал об их смерти до самой осени, пока с гор не спустился бы.

— Отчего же,— сказал один из соседей,— послали бы за тобой горевестника...

— Разве что горевестника,— сказал Железное Колено,— да и то неизвестно, застал бы он меня в балагане или нет... Я ведь на много дней ухожу на охоту...

— Да,— сказал мой отец,— это удачно получилось, что ты соль забыл.

— Вот и я говорю,— отвечал Железное Колено,— не вернись я домой, может, провисела бы здесь до самой осени... Детки-то не плачут, а ближайший сосед, кому бы приметить, что ее не видать и не слыхать, сам глотку себе перерезал...

Помнится, мне тогда очень не понравились его слова, но я сам не знал, почему. Мне показалось, что он вроде намекает на их близкие отношения и вроде бы издевается над мертвыми.

— Снять ее или будем ждать судейских? — спросил Железное Колено, обращаясь к отцу как к самому старшему и уважаемому человеку.

— Будем ждать судейских,— ответил отец.

Потом мы все разошлись по домам, дверь на кухне, где жил завмаг, прикрыли, а с мальчиком в доме остались двое родственников.

Вечером братья отца собрались у нас на кухне и обсуждали эти две страшные смерти. Братья принялись было гадать, отчего они покончили самоубийством, но отец сразу же перебил их и сказал, что это убийство.

Он сказал, что Железное Колено, видно, заподозрил, что жена ему изменяет с завмагом, и, сделав вид, что уезжает в горы, скрылся в леске, привязал там лошадь, тайком возвратился к дому завмага и, застукав их там, видно, в самое время их близости, подкрался сзади и перерезал ему глотку. Если уж он смог подкрасться к косуле, к этим, да еще занятым любовью, он мог запросто подойти.

— Но она-то ведь повесилась? — сказал один из братьев отца.

— Повесилась,— усмехнулся отец,— а ты видел узел, на котором к балке привязана веревка? Ни одна женщина в мире не знает таких узлов, такие узлы вяжут только бывалые пастухи. Может, она со страху и сама полезла в петлю, но узел-то завязывал он и больше никто. Он убил их обоих, снова тайно ушел в лес, переждал пару часов и вернулся домой. Вот как было, я думаю... Только, чтобы все вы язык за зубами держали, нам ни к чему связываться с этим бесноватым...

На следующий день из города приехал начальник районной милиции, доктор и еще какие-то люди. Во дворе завмага толпились соседи, окружив начальника милиции и его помощников. Вместе с ними был и Железное Колено.

Я стоял на кухонной веранде с полотенцем, перекинутым через плечо, и с кувшинчиком воды в руках. Мне сказали, что доктор после осмотра трупа должен вымыть руки, а я ему буду поливать.

Поэтому я один стоял на кухонной веранде и видел, как доктор возится с трупом. Сначала он щупал, как мне показалось, перерезанное горло завмага, а потом разжал его ладонь, вытащил оттуда кровавый нож, осмотрел его и положил на кухонный столик.

Когда доктор положил нож на стол и уже хотел выходить из кухни, вдруг туда юркнул Железное Колено и, сверкнув своими желтыми совиными глазами, нагло сунул что-то доктору в карман. Я не знаю, что это было — золото или деньги. Когда он ему сунул в карман то, что сунул, он бросил снизу вверх на доктора — доктор был солидный крупный человек — такой взгляд, что мне стало за него страшно. Я уверен, что доктору тоже стало не по себе. Все это произошло в какую-то секунду, а через мгновение Железное Колено уже стоял в толпе перед кухней и слушал одного из соседей, который что-то рассказывал начальнику милиции. Ни один человек не обратил внимания, что Железное Колено вошел в кухню и вышел, хотя он сделал это открыто. Но главное, как он посмотрел на доктора! Это был дикарский взгляд, полный уверенности, что доктор не посмеет его ослушаться.

— Ну, как? — спросил начальник милиции, когда доктор с окровавленными руками появился на веранде.

— Самоубийство,— сказал доктор.

Он стал мыть руки, а я поливал ему. Потом он снял с моего плеча полотенце и тщательно вытер руки.

Одним словом, так и было решено, что жена Железного Колена и завмаг покончили жизнь самоубийством. Мертвых похоронили, как положено, и постепенно в деревне перестали вспоминать об этом случае. Железное Колено больше не женился. Через несколько лет, охотясь на туров, он сорвался со скалы и утонул в горном озере.

Так закончил свой рассказ Абесаломон Нартович. Все его слушали с большим вниманием. Особенно внимательно его слушал космонавт. К сожалению, выслушав рассказ Абесаломона Нартовича, он решил внести в него поправку, которая роковым образом сказалась на судьбе самой густолиственной ольховой ветки.

— Абесаломон Нартович,— сказал космонавт,— вы знаете, как я вас уважаю, и вы прекрасно изложили нам эту историю. Но я уверен, что наш советский доктор не мог, покрывая убийцу, взять деньги или еще что-то. Вам это просто показалось.

— Я рассказал так, как я видел,— отвечал Абесаломон Нартович миролюбиво, как бы не совсем отказываясь и от своей версии.

— Да, да,— повторил космонавт,— вам это показалось. Там и начальник милиции был, так что ему нечего было бояться...

— Да что он, с неба свалился! — воскликнул по-абхазски молодой хозяин, неимоверно страдая своим взыскующим взглядом.

— Ну, конечно,— шутливо заметил по-абхазски приятель моего друга,— он же космонавт.

— Их так учат! — еще более строго заключил дядя Сандро. И хотя за эту поправку космонавта он как тамада не нес никакой ответственности, но признание ее нелепости, безусловно, могло бросить тень на тост космонавта, который дяде Сандро раньше удалось нейтрализовать.

Несмотря на разъяснение дяди Сандро, молодой хозяин стал непреклонно пересаживать свою рощицу, якобы повинуясь движению солнца на небе, а на самом деле явно для того, чтобы самую густолиственную ветку ольхи снова воткнуть в землю перед Абесаломоном Нартовичем. Отчасти это выглядело и как вручение пальмы первенства за лучший застольный рассказ. Во всяком случае, движение солнца на небе не играло никакой роли, оно уже настолько приблизилось к закату, что никому не мешало.

Через некоторое время мы поднялись из-за стола и перед уходом разбрелись по двору.

Я стоял у козьего загона, примыкавшего ко двору, и смотрел, как старик, присаживаясь на корточки, доил коз.

Звук молока, струящегося в подойник, внезапно побрякивающий колоколец на шее зачесавшейся козы, топотание и блеяние козлят в соседнем загоне, нежность закатного солнца, зелень двора, далекий дедушкин дом, затухающая печаль примирения.

Мы попрощались с хозяевами и выехали из деревни. Через полчаса мы были в городке, где когда-то мой друг совершил невольное убийство. Наши автомобили остановились для заправки у бензоколонки, и я решил выйти и пройтись.

Я направился в сторону сквера на противоположной стороне улицы, где надеялся найти уборную. Когда я вышел из машины, приятель моего друга стал шутливо кричать мне, что я забываю, где нахожусь, что жизнь моя в опасности и он требует моего немедленного возвращения. Улыбнувшись ему, я махнул рукой, давая знать, что я понимаю всю неправдоподобность такой встречи со стариком, тем более, что старик никогда меня не видел в глаза и не мог узнать, что я это я.

Так думал я, переходя дорогу и раздвигая стриженые кусты туи, огражда-

ющие сквер. Когда я углубился в него по песочной дорожке, обсаженной пампасской травой, деревцами мушмулы, спрутоподобными агавами, напоминание приятеля моего друга показалось мне не столь уж смехотворным. Возможно, я еще был под впечатлением рассказа Абесаломона Нартовича о страшной мести Железного Колена.

Уборная все не попадалась, и я все дальше и дальше отходил от наших автомобилей, а сквер был до удивления пуст. Я уже думал пренебречь общественным порядком и воспользоваться этим малоприятным безлюдьем, но тут я увидел очертания общественной уборной, слегка прикрытой зарослями бамбука и в этом прикрытии напоминающей небольшую заброшенную пагоду.

Я зашел внутрь. В раковине из крана с обломанной ручкой хлестала вода. Раковина, по-видимому, была засорена, потому что вода лилась через край и весь пол был от этого мокрый. В уборной никого не было. В воздухе пахло не только хлоркой, но какой-то непонятной тревогой, запустением, опасностью.

Закончив свое нехитрое дело, я хотел было повернуться и выйти, как вдруг услышал шаги человека, который подошел к уборной. Внезапно шаги заглохли, и я почувствовал, что человек этот остановился в дверях и явно ждет меня.

И сразу же меня заполнил дикий, с каждым мгновением возрастающий нечеловеческий страх. Зачем обычному посетителю уборной останавливаться в дверях, когда он ясно видит, что здесь только один человек, а свободных мест много?!

Он дожидается меня! Это сам старик или один из его людей! И молнией мелькнула догадка, как именно он мог узнать о нас. Во время застолья, когда речь шла о невольном убийстве моего друга, к столу подходил один из соседей хозяина. Тот мог передать другим, те могли оказаться родственниками этого старика, и они могли поехать в городок и все рассказать старику. Я мгновенно вспомнил, что какая-то «Победа» стояла недалеко от поворота, где была расположена бензоколонка. Не нас ли она там дожидалась?

Страшась обернуться и посмотреть в глаза своей смерти, я продолжал стоять спиной к неведомому человеку, терпеливо дожидавшемуся меня. И чем дольше мы пребывали в этом странном положении, тем страшнее мне становилось, потому что тем более я делался уверенным, что ждет он именно меня и это единственная цель, с которой он стоит в дверях.

Мне очень хотелось обернуться, но какой-то инстинкт самосохранения диктовал мне, что оборачиваться нельзя, что пока я не обернулся, он сам еще может позволить себе мешкать, но как только я обернусь, он должен будет стрелять или идти на меня с ножом.

Нельзя сказать, чтобы мысль об обороне не приходила мне в голову. Я подумал, что если это будет нож, то надо во что бы то ни стало выставить руку вперед и постараться принять удар ножа рукой, а там, если можно, бежать. Но я совершенно не знал, что я могу сделать, если у него в руке пистолет. Я представил себя лежащим здесь, прижавшимся щекой к мокрому, грязному, холодному цементу, и это был образ смерти, дополнительно отталкивающий своей оскверненностью. Оказывается, человеку не все равно, где он превратится в труп.

Может быть, отчасти из-за этого я решил обернуться и пойти. Я говорю отчасти, потому что была и другая настойчивая мысль. Кроме того, что раненым или смертельно раненым приятней было вырваться в сквер и упасть на зеленый газон, чем на грязный, мокрый пол общественной уборной, я почувствовал, что дальнейшее мое пребывание здесь как бы утверждает мое согласие с предстоящей карой. Мне подумалось, что человеку, пришедшему казнить меня, показывать свою готовность быть казненным — это морально облегчить его дело. Разумеется, я заботился не о его морали. Просто мне подумалось, что если он не абсолютно готов к убийству, то мои шансы на жизнь должны увеличиться от моей неготовности принять убийство. Ведь моя готовность принять убийство утвердит его, может быть, не совсем окончательное решение убить. Никто не знает, сколько убийств замысливалось в мире, потому что статистики готовившихся, но несовершенных убийств не существует.

Все это промелькнуло у меня в голове, и я решил, что дальше оставаться в уборной слишком опасно. Но легко сказать, а как трудно перейти в другое состояние, как трудно привести в движение оцепеневшее тело, взглянуть в глаза человеку, который собирается отнять у тебя жизнь. И я принял половинчатое решение.

Я повернулся не к дверям, а к раковине и стал мыть руки, что должно было означать некоторую последовательную естественность моих движений и как бы замаскировать мое слишком долгое пребывание здесь. Я мыл руки, стараясь придать своим движениям бодрую беззаботность. Я как бы кричал ему: я совершенно не готов быть убитым, потому что меня незачем убивать!

Не буду длить этого отрывка описанием того, как я тщательно вытирал руки платком и что я тогда думал. Сам факт, что я об этом пишу, говорит о том, что я остался жив.

Положив в карман платок, я решительно, излишне решительно повернулся к дверям и как бы прямо посмотрел на человека, стоявшего в дверях. Я именно как бы прямо посмотрел. Я видел очертания его фигуры, но мои глаза сознательно не хотели смотреть в его глаза. Преодолевая оцепенение, я прошел мимо него, думая о том, что если он сейчас вырвет из кармана нож, надо во что бы то ни стало выбросить руку вперед.

Я заметил с некоторым облегчением, что он не спешит сунуть руку в карман и вытащить оттуда оружие, и, стараясь юркнуть в этот просвет надежды, проскользнул мимо него и в то же мгновение почувствовал оголенность своего холодеющего затылка.

Прошло несколько окрыляющих мгновений, я шагал по дорожке сквера, не чувствуя под собою ног, и чем дольше я шел, тем очевидней становилось мое спасение, и я двигался вперед ликующими шагами. Но ведь я чувствовал всей шкурой, что он стоит в дверях и ждет меня, так что же ему было надо?!

Я понял, что только один человек в мире может мне объяснить таинство случившегося. Конечно, этим человеком был дядя Сандро! И я ринулся к машине Абесаломона Нартовича, где сидел дядя Сандро. Я сел в машину, чувствуя в себе неумеренную, постыдную радость жизни. Хотелось прижаться к кому-нибудь и притихнуть. Почему-то больше всего хотелось прижаться к космонавту, не только потому, что он мощный выразитель жизни, но и потому, что в нем чувствовался ясный, безыскусный строй души. Именно к такой душе и хотелось прижаться сейчас. Ведь он в сущности отличный парень! Конечно, он слегка придуряется и понятно почему. Он попал в элиту, он счастлив и ему страшно было бы из-за какой-нибудь случайной глупости выскочить из нее. Вот он и прижимается к идеологии. Мне тоже захотелось прижаться к идеологии, угреться возле нее, помурлыкать.

Я рассказал дяде Сандро о пережитом мною страхе.

— Дуралей,— улыбнулся в ответ дядя Сандро,— так и буду тебя всю жизнь учить? Этот человек был настоящий абхазец, еще не порченый. А настоящий абхазец никогда не покажет свою оголенную плоть другому человеку и не будет смотреть на его оголенную плоть. Это считается оскорблением. Вот он и ждал, покамест ты выйдешь.

Точно! С необыкновенной ясностью я вдруг увидел фигуру этого человека, фигуру абхазского крестьянина в рубашке навыпуск, подпоясанного тонким кавказским поясом и в азиатских сапогах.

Абесаломон Нартович, сидевший рядом с шофером, вельможно откинувшись, переждав наш разговор с дядей Сандро, продолжил еще начатую в деревушке, по-видимому, бесконечную тему о свойствах местных сортов винограда.

— Вообще молодое вино из винограда «качич»,— сказал он космонавту,— прошу запомнить, очень коварный напиток.

Фраза эта мне показалась необыкновенно уютной и милой, и я, ощущая в своем теле нежные вздроги, повторял про себя: коварный напиток, коварный напиток. И дай нам, господь, не знать другого коварства!

Машины тронулись в обратный путь.

1975

Вячеслав
КУЗНЕЦОВ

◆◆◆

«Добро должно быть с кулаками» —
слетело с легкого пера.
И грезится мне: над веками
тень топора...
Тень топора.
Что инквизитор, что диктатор,
сжигая жертву на костре,
твердил в талмудах и в трактатах
об этом самом —
о добре.

«Добро должно быть с кулаками» —
нет опрометчивей строки!
И тот, с кабаньими клыками,
отращивает кулаки.
Ему та формула — отрада,
он с жизнью запросто —
на «ты».
А мне не надо,
мне не надо
его кулачной доброты.

Пророк

Высок и крут
к прозрению пролог —
с порога начинается тревога.
Как редко в мир является пророк!..
Не потому ли ждем его,
как бога?
Подсаживаем ложь на пьедестал
и молимся очередному брюху.
Ниспровергаем, ежели уста
глаголят то,
что непривычно уху.
И снова ждем...
И в этом наш порок.
мы слепо ждем,
мы попусту радеем.
Шумим, балдим:
— Вот явится пророк!..

А он уже состарился
меж делом.

◆◆◆

«Продается собака»,—
кричит объявление.
Люди, ежась, проходят неловко, бочком.
«Продается собака...» —
есть что-то неладное,
что-то очень постыдное
в этих словах!

«Продается собака».
Мне б увидеть хозяина.
Поглядел бы в глаза его молча,
в упор.

Продается собака?
Это ты продаешь собаку.

Ты
продаешь
собаку!

Так и скажи...

Колымская песня

Памяти комбрига и писателя
Георгия Шелеста

«Будь проклята ты, Колыма!..» —
сидит эта песня в печенках
у всех, кто сходил здесь с ума
в бараках, на стылых ночевках.

Ах, песня! Ты сводишь с ума,
и сердце — как груз многотонный...
Стоят в Магадане дома
из солнца, стекла и бетона.

А были костры и — зола.
Работа от стужи спасала.
...Пусть будет вам пухом земля,
комбриги мои, комиссары!..

Сияют снега на гольцах,
а солнце все выше и выше...
Но пятен на ваших сердцах,
на совести вашей — не вижу.

Не слезы, а огненный дождь,
когда невзначай вспоминаешь:
«Встречать ты меня не придешь,
а если придешь — не узнаешь...»

Нина
ИВАНОВА-РОМАНОВА

КНИГА ЖИЗНИ

39

Стоит теплый август — бархатисто-черные звездные ночи, прощальная пышность зелени, густой, темной, тяжелой и пыльной.

Мы часто и подолгу сидим на скамейках бульвара — уже с сумерек глухого, непроницаемого, как шатер. Над нами незримо висит время — ведь дней через десять отъезд. Кажется, острее это чувствует и помнит Шура. Он так ласков, так нежен, что душа моя поднимается еще на одну, уже совсем волшебную ступень: это — чувство бестревожной веры во все хорошее, счастливое, удачное, в нерушимую принадлежность моего сокровища одной мне и навеки. Исчезают последние тени жалящих сомнений: я что-то значу для лучшего из людей вокруг меня, я нужна, я дорога, я, наконец, понята... Это, наверное, и значит — любима? Как это огромно и ослепительно на самом деле и как слабо умеют показать это книги. Стихи, думаю я, сильнее. Но и их отдельные удачи — только лучики из щелей, а вся яркость и теплая отрада самого солнца остается все-таки внутри, за стенками души человеческой.

И ничего мне теперь не страшно при мысли о будущем. И не думаю о нем. Не все ли равно, где жить и работать, если мы нашли друг друга и поняли это? Расстояние, дорога без транспорта, какие-то там строгие начальники у Шуры — все это скучная ерунда перед нашей радостью. Ходить осенними болотами и непроглядными ночами одной? Не страшно, пойду. Хоть куда и хоть сколько раз, если надо увидеть Шуру. Еще куда-нибудь поехать? Поеду. Если для него или с ним. Ждать его? Могу, сколько угодно. Одно ожидание — награда, какой нет ни у кого. Ну — общее порицание, ну — ссылка, наконец... Обидно, конечно, но куда я не пошла бы за ним? В тюрьму? Пойду! Потом же вернусь к нему...

А он? А как я могу представить себе иным, чем я, его — такого честного, чистого, хорошего, преданного и верного? Я долго сомневалась, боялась. Это кончилось. Я словно выросла во взрослую женщину и поверила в себя. Все чудесно — так зачем оно кончится?

Это бедность моей фантазии спасала мою радость; незнание бытия охраняло ее.

Предпоследний вечер.

Затихший, влажно дышащий бульвар. Только мы двое, и никого больше во всем нашем мире. Шура так взволнован и так стремителен, что пугает меня. «Это прорвалась сдержанность прошлых вечеров» — запишу я потом. А тогда я опять не выдерживаю, сержусь, отдаляюсь. И в этот вечер, уже отмеренный и занумерованный судьбою, звучит на моем крыльце знакомый и вполне неправдоподобный диалог:

— Так больше не приходить?

— Не приходите!

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 2.

Очень искренне. Совершенно без улыбки. Но странно: слова эти приобретают новое свойство для нас — они недолговечны, как летучие атомы гнева.

Все-таки я страшно боюсь, что он не придет в последний вечер, двадцать восьмого.

Но он приходит. Мы одни в комнате. Я не зажигаю огня — к чему? Я слышу, вижу, чувствую родное тепло, запах плаща, такой знакомый, самый лучший на свете. Долго разговариваем. Он даже опять вспоминает о «жене». Не потому ли, что так неотвратимо думается около меня, которая все еще не жена почему-то? Мне же бесконечно хорошо, бездумно, безоглядно. Я даже сама положила голову на его плечо.

Выхожу на крыльцо проводить его.

И здесь вспыхивает такое жадное объятие, словно внезапная молния осветила весь тайный трагизм нашего часа — расставание, осень, необнадеживающую, угрожающую неизвестность завтрашнего дня...

Ну, все. Пора. Еще, еще! И я, эта бука и трусиха, вдруг охватываю его за шею и не хочу отпустить! Мы стоим уже на крыльце, открытые всем ветрам и случайностям чужого взгляда. Ничего это больше не значит для меня, и не помню я о том.

Делаю шаг назад, пятясь к дверям; руки мои расцепляются за его затылком, но, скользнув на плечи, охватывают их и остаются. Руки не слушаются меня. Это ново. А я слушаюсь их. Снова шагаю вперед...

Потом запишу застенчиво: «впервые потянулась сама поцеловать его»...

Нет, не потянулась. Схватила в обе ладони прекрасную голову — с такой мягкой молодой кожей и легким мужским пушком щек,— прочла мгновенный зов любящих глаз, рванулась к ним вся и — целовала, целовала, целовала...

40

Сентябрь.

Не знаю, захочется ли кому читать дальше. Но мне больше не хочется писать. Мне страшно подступить к этим осенним месяцам: хватит ли сил пройти по ним так прикосновенно еще раз? Вот я прошла по полугодию и потеряла ощущение своего сегодня и легших между ними лет. Опять могла бы написать, что «долгие года засохнувшими листьями свернулись».

Но в памяти есть еще что-то об этом человеке, чего никто не знает, или не помнит, или не расскажет. Кроме меня.

Чувствую свою вину: много пишу о себе. Но иначе не удается. Кроме того, рассказ мой начинает командовать мною, требует подробностей, отступлений, третьих лиц и имен. Нередко подчиняюсь, не успев решить, надо ли. Хочу быть строже к себе — не знаю, смогу ли.

А вчера пришло письмо из Череповца: хоронили нашего старого учителя, последнего из оставшихся в живых — Михаила Николаевича Хильтова. У него училась я в педтехникуме. Обломился последний живой мостик к школьным годам. Около него так легко можно было вспомнить себя ученицей...

...Я все уклоняюсь от неизбежности переступить в сентябрь. Но он ждет меня и не отпустит. Он — как жесткая обложка в конце книги, малоговорящ и неизбежен.

Итак, сентябрь. В заметках стоит: «Деревня. Работа. Он не приходит. Я удивляюсь. Работа, работа (кипятильный куб, жатва, культработа). Он не приходит. Мне обидно. Лето отцветает. П. заходит ко мне по вечерам»...

Меня очень захватили тогда мои новые обязанности. Я была единственной учительницей однокомплектной школы на три деревеньки — Дементьево, Заякошье, Курилово — и совхоз «Алексеево». Была очень нужна там и большим и малым, и утром и вечером, и в будни и в праздник — и не считала себя вправе не сделать всего, что могу. Первое время, заваленная всякими неотложностями, не приходила в город и в выходные дни. Я ведь впервые получила подлинное дело! Некогда было много думать. Из-за новизны положения рано было скучать.

Драгоценным пакетом, словно бы зашитым на груди, лежали недавние воспоминания. Они давали мне силу, терпение, равновесие на каждый день.

И вместе с тем, еще не мучая, привычно шевельнулись былые сомнения в себе: ведь он знает дорогу, и такой погожий стоит сентябрь...

«Ну, что ж? — говорит Врагиня.— Если суждено больше не встречаться, то уж лучше так, теперь, когда тебе есть, чем заняться». Ее слова скользят по поверхности сознания, как чужие, как то самое присловье про беду, которую руками разведу. Это, наверное, Врагиня осваивается на новом месте.

Наконец, вырываюсь в город. С ночевкой.

В этот день ждать бесполезно: он не знает, что я пришла. И вечер стоит непривычно осенний. Но завтра мне нужно уходить уже в два часа дня — вечером в школе собрание.

С утра встречаю на улице Казеницкого. Он сам спрашивает, долго ли я пробуду, и обещает оставить Шуре записку о том, когда я ухожу. Мне уже мерещится чудесный путь вдвоем по осенним полям и перелескам.

Шура не приходит.

Опять выходной день.

Договариваюсь с молодым зоотехником-комсомольцем, что вечером без меня он включит в школе радиоприемник, когда крестьяне придут, как обычно, послушать радио.

Накануне к вечеру иду в город. По дороге решаем с Врагиней — не ждать, не искать встречи, привыкать одной...

Бегу в библиотеку — навстречу Шура. С ним — Ипполит Кафтария, молодой грузин, высланный в Череповец позднее. Неожиданно русоволосый, хромой, с палкой; он спокоен в обращении, довольно интеллигентен. Где-то у него остались жена и ребенок, по которым он очень скучает. Шуре он ближе других по возрасту, духовному уровню, они часто вместе. Кафтария сразу прощается. Все как-то странно обыкновенно. Я сразу робею. Разговор идет вяло. Придумываю вопросы, чтобы не молчать. Я не чувствую Шуры и вдруг сама беру его под руку, как могла бы взять однокурсника, чтобы не поскользнуться... Спрашиваю об Ушане. Он, оказывается, болен.

— Навестим его? — предлагаю я. Уже боюсь, что целый вечер только со мной сегодняшнему Шуре будет скучно. Мы поворачиваем на Пролетарскую.

— А не поздно к нему? — спрашиваю я.— Может быть, платье серенькое его неподвижно на спинке стула?

Шура смеется. У Ушана действительно серый костюм, хотя, разумеется, поэт имел в виду не его, а рабфаковку.

Мы заходим к Ушану. В его маленькой комнатке на Пролетарской улице очень тесно. Топчан, два стула и стол. Ушан в постели, но бодр, уже поправляется. Я сажусь напротив него, Шура — боком.

Вспоминаю летние полунамеки и обмолвки Шуры. Ушан сумел обойти барьеры и давно работал где-то экономистом, материально не нуждался. К нему в гости приезжала из Москвы жена с сыном. В Череповце у Зельмана Израилевича были приятельницы среди молодых дам — некоторых из них я даже знала. Раз как-то в очень поздний час, когда мы стояли с Шурой на моем крыльце, уже прощаясь,— мимо нас, по улице Карла Маркса к Советскому, энергичным шагом прошел Ушан. Мы замерли: я у двери, мой собеседник — на расстоянии, спиной к фонарю. Шура беззвучно смеялся, и я невольно уловила его догадку. Когда Ушан прошел, Шура сказал:

— Уж я посмеюсь над ним завтра! Спрошу, как он провел вечер. Вот удивится...

Разговор заходит о моем новом местожительстве. Я внезапно представляю себе, как же оно все-таки будет неуютно и пусто, если мне некого будет там ждать. И я настойчиво приглашаю в гости обоих мужчин, беру с них обещание прийти в воскресенье.

А когда я возвращаюсь в свое новое «домой», сразу замечаю: там что-то изменилось, похолодало, начало оседать в обыкновенность. Тихо и устойчиво переместился какой-то жизненный центр. С этих дней начинается мое великое стояние на крутом холме Дементьева, как на Путивльской стене.

Только за уроками я живу текущим временем, радуюсь или огорчаюсь за милых моих ребятишек. Но на перемене в своей комнате сразу подхожу к окну.

На болоте пустая тропка
Уползает в густой ивняк.

Уже знаю все ее повороты, пропадания и возникания по буграм. По ней тянется невидимая нить к городу, ко всему, что у меня было хорошего. По ней только и может прийти ко мне радость. После уроков, готовясь к новому дню, исправляя ребячьи тетради, через каждые несколько минут поднимаю голову и пробегаю глазами по склону. В сумерки становится плохо видно. Нужно подходить к окну вплотную.

Шура свободен, он может прийти в любой день... Если ему, хоть на одну десятую по сравнению со мной, так же одиноко, то как же он вытерпит до воскресенья? И зачем нам Ушан? Нет, он возьмет и придет один. Ну, через день, ну, через два, а уж на третий-то обязательно!

Все у меня вымыто и прибрано, обдуман ужин и постель для гостя. И в этот третий день не оторваться от окна. Отхожу и бросаюсь к нему опять — не пропустить бы! Выхожу на кухню, разговариваю со сторожихой и думаю, что за эти две-три минуты легкая фигура в плаще чайного цвета, еще в виде только желтоватой черточки, может уже появиться из-за самых дальних кустов. Но

Над густой чернотой пейзажа
Месяц блекнет снопом овса.
Трое суток! Пойми — нельзя же:
Это — семьдесят два часа...

И вся неделя проходит — его нет.

Воскресный день тянется, втройне беспокойный: столько прохожих идет по дороге к городу и обратно, на многих одежда желтоватого цвета, и столько темноволосых!

Зажигаю лампу — окно школы будет видно далеко и поможет запоздавшим путникам.

Не понадобилось им оно в тот вечер. Не пришли.

41

А пришли в четверг.

Я уже свободна и стою у раскрытого окна. Прямо через подоконник Шура протягивает мне собранные по дороге цветы.

Уже столько передумано, что трудно поверить. Даже кажется, что на этом визите настоял скорее Ушан. И цветы собирать не он ли заставил?

К вечеру выходим гулять. Школа стоит одиноко, в полуверсте от деревни. Вблизи лишь кладбище да пустая закрытая церковь. Стоит тонкая осенняя тишина, торопливо догорает закат.

Я иду между моими гостями. У Шуры безразличный вид, руки в карманах; он не идет, а бредет, сутулясь, обходя кочки. Ушан — вплотную рядом со мной; взял и, не выпуская, держит мою руку.

— А я не выжил бы, как это говорят, вдвоем в глуши,— вдруг, не к слову, роняет Шура...

Зачем он так говорит? Разве я не поняла уже давно? Ни слова, ни жеста, ни мысли такой не позволила себе. Зачем же меня еще бить? И при этом сластолюбце, словно караулящем, когда меня совсем оставят...

Шура задерживается на крыльце. Ушан входит со мною в комнату и бесцеремонно охватывает меня обеими руками. Я не умею воевать — сказать резкое, ударить. Не смею крикнуть, вмешать других, сконфузить гостя. С силой вырываюсь, ничего не говоря, выхожу на кухню, дожидаясь Шуры.

Вечером пьем чай и поем. Голос у Зельмана Израилевича мягкий, верный, поет он с душой — и многое можно ему простить за это. Поет сперва один — свою любимую «Элегию» Массне. Потом поем на два голоса «Слети к нам, тихий вечер» Тома́, «Вечерний звон», «Стонет сизый голубочек»... Шура слушает, не перебивая. До полуночи сидим у радиоприемника. Ушан разулся — устали ноги — и нимало не стесняется своих рваных потных носков.

Перед полночью включается Красная площадь. Слышен шелестящий шум проезжающих машин, смягченные гудки — тогда они еще не были отменены — сдавленный расстоянием гул большого города.

И вдруг преображается такое обыкновенное лицо Ушана. Блестит его взгляд, косящий черный глаз придает ему выражение раздумья. Он взволнованно говорит нам:

— Вот-вот, слышите? Слышите Москву? Машины, голоса прохожих? Я хорошо знаю это место, тут поворачивают при проезде на набережную... Вот еще прошла машина... И сразу — клин-клинг-блям-брям...— голос судьбы. И все смолкло.

Я словно прикоснулась к открытому чужому сердцу: как тосковали эти люди здесь, где я жила до сих пор, почти не ропща!

Утром, до начала уроков, гости мои собираются уходить. Раза два нерешительно прошу я Шуру еще остаться. Он отказывается, и они уходят. Провожаю их по склону холма до первой канавы и не скрываю своей обиды, хотя и молчу. Шура взглядывает мне в лицо, читая мое настроение. Еще раз взглядывает. Прощаемся.

Возвращаюсь в школу и начинаю урок, стараясь отогнать тяжкое ощущение — чего? Разве я знаю? Может быть, «начала конца»? Даже, может быть, конца? Разве не похоже?

Даже не хочется отпускать после уроков детей. Они защищают меня от того, что обступит меня в сумерки.

На перемене мудрая и душевная моя Настасья Михайловна говорит, что одна баба уже спросила ее: кто приходил к учительше?

— Это дядя с племянником,— ответила она, напомнив мне монахиню из романа Гюго, никогда не лгавшую и не поколебавшуюся, когда только прямой ложью можно было спасти человека.

Но уроки кончаются, дети уходят. Я даже с умыслом роюсь в тетрадях, подхожу к живому уголку, таблицам на стене, оттягивая свою встречу с пустыми стенами комнаты. Все же приходится туда возвратиться.

А здесь мои первые шаги — всегда к окну. Зачем оно мне теперь? Но я подхожу. И не могу сладить с собою — смотрю...

А по тропинке, улыбаясь, поднимается Шура... Один. Веселый, приветливый. Слабо мелькает у меня в голове: Ушан прогнал его назад. Ушан такой земной, его злит наша «небесность»... Но неважно, пусть так, главное — он вернулся!

Где он был эти четыре часа? Не знаю и не спрошу. Встречу вернувшееся лето свое протянутыми руками, распахнутой душой. Буду кормить гостя ужином, сидеть напротив — никак не наглядеться. Запишу потом в дневник ярчайшее воспоминание свое не своими, может быть, и слабо светящими словами: «Вечер, который дороже целой жизни. Вечер незабываемый, неповторимый...»

Стелю гостю на полу, приготовляю себе свою раскладушку. Открываю дверь в кухню — это Врагиня открывает: утром сторожиха встанет рано, затопит печь — пусть видит, не думает... А милой Настасьи Михайловны давно уже не видно. Свет на кухне погашен, дверь в коридорчик деликатно прикрыта. Гашу лампу, чтобы удобнее было ложиться. Комнату зеленоватым светом заливает полная луна.

Мы, как в первый наш приход, опять подходим к окну и, как в добром старом романе, смотрим вдвоем на желтый диск. Окрестности погрузились в глубокий мягкий мрак, и я невольно говорю свои стихи:

Над густой чернотой пейзажа
Месяц блекнет снопом овса...

Останавливаюсь — дальше нельзя, Врагиня всегда начеку.

Шура слушает, ждет, требует читать дальше:

— А как потом?

— Не скажу...

Он смеется:

— Это обо мне дальше! Что же там может быть? Какая рифма «пейзажа»?

Минуту молчит и шутливо подбирает вслух:

— ...пей, Саша!

«У меня лучше»,— думаю я, а сказать этого не смею.

Повернуться бы к нему лицом и прочесть все до конца в самые очи! Но — разве можно? Разве не принадлежали мы оба к бессловесному и косноязычному своему поколению, которое многословно митинговало и спорило, а любило, страдало и умирало молча?

Так и не узнал он лучшего, может быть, моего стихотворения. Но он прочел его душой и тихо привлек меня к себе, а я, даже не успев разрешить себе это, прислонилась к его плечу головой.

Нам еще хотелось посидеть рядом, и мы присели на неудобный, выпирающий край моей раскладухи, потом, устав от него, даже прилегли, целомудренно и блаженно обнявшись. Вот тогда лежала моя рука на его плече, слегка занемев от неподвижной позы, а потом она написала:

Когда вочь, как момент, коротка,
А момент, словно вочь, и длиннее,
Когда к утру моя рука
На плече у тебя занемеет..

Совсем не к утру, далеко до него еще было, когда мы разделись в темноте и легли по своим местам, а я загородилась стулом, чтобы меня и не видно было. Но так пишутся стихи, свидетели живые и недостоверные...

Было в тот вечер одно мгновение, когда я впервые ощутила сдавленную муку человека около себя. Я почти поняла ее и простила, и оценила, как быстро он овладел собой...

А у нас с Врагиней был уговор еще с лета. Она сказала: когда он сделает предложение, поставь условие — сперва окончить вуз, а потом свадьба. Иначе ты его и не кончишь, останешься без образования — вот и мечты! И хуже того — отстанешь от него духовно... Вон ты какая здоровая — у тебя же сразу дети пойдут... Я не могла не согласиться с ее глупой мудростью. Только не понадобилась мне эта мудрость: не в моем характере было влиять на ход событий — подчинялась течению, как неживой предмет. Потом, очень нескоро, не раз думала: не побоялся ли Шура сломать судьбу мою, привязав ее к своей, угрожающе неизвестной? Намек на это даже мелькнул где-то в его письмах, да я тогда не поняла — очень уж мешала Врагиня... Сейчас думаю: а не принял он отъезд мой в деревню как решающее «нет»? Ведь я не посмела ни объяснить ему тогда причин, ни просто посоветоваться.

Долго в ту ночь не могла уснуть, все чего-то неизвестного боясь, ожидая, бессознательно готовясь и к приятию, и к сопротивлению. Гость мой тоже уснул не сразу. Несколько раз он пошевелился, меняя позу на подстилке.

Я мысленно гладила его волосы, шепча ему все запретные слова. Слушала тишину и повесть воображения моего о том, как и *как* он сейчас думает обо мне. Но даже какой-нибудь пустяк сказать не решилась. Долго мне казалось, что он окликнет меня, ну, просто так, чтобы услышать мой голос. Ну, как тогда на бульваре... Он не окликнул. Уже нескоро уловила я его дыхание: уснул.

Сколько раз потом, умудренная горем и неблагодарностью жизни, для которой втуне сберегла я нерастраченную душу, о, сколько раз потом мысленно вставала я со своей узенькой койки, отодвигала этот стул, босиком в темноте подходила, протягивала руку и говорила тихое: это я! И как потом долго и неиссякаемо оплакивала маленького умненького мальчика с черными кудрями, которому так и не дали родиться...

Просыпаюсь утром. Дверь в комнату прикрыта. Это сделала Настасья Михайловна, которая уже бесшумно хлопочет на кухне с завтраком — потрескивают дрова в печке.

Дневной свет снимает с вещей ночное очарование. Уже ни слова, ни единого жеста от минувшей ночи. Но, сидя за завтраком напротив Шуры, я вдруг всем своим воскресшим существом вижу, чувствую, впиваю тихо светящуюся в его глазах огромную нежность ко мне. Ею полны и незначащие слова прощания, и улыбка, обращенная ко мне и медлящая скрыться, каждое движение его. Он даже не спешит уйти, все стоит и смотрит на меня. А идти пора — дети собрались на урок.

42

Неделю-две я опять не прихожу в город: много дела. Но так полна пережитым, что нужны дни и дни, чтобы оно перестало светить и греть и нашлось место какому-то неуюту. Все сомнения даже забавны теперь: как могли бы мы разлюбить друг друга? Как могло бы сломаться наше вечное понимание?

Вот вспоминается: летом, вечером стоит Шура в моей комнате и говорит:

— Я вас никогда не забуду...

Он словно бы хочет пошутить, а в глубине глаз серьезная мысль. Я вижу ее и запомню. И какое ликование прячу я от него в эту минуту: значит, и для него встреча наша необычайна!

И всю жизнь, несмотря ни на что, я была уверена, что выполнил он это обещание, не мог иначе. Я — тоже, хоть и не обещала.

Но тогда, чтобы шуткой завуалировать вырвавшуюся громкую фразу, он прибавил:

— Напишу о вас воспоминания.

А вот это сделала только я...

...И прихожу я в город. И заходит ко мне Шура. Мачеха дома, мы идем гулять. Приходим в Соляной. Стоит тихий теплый сентябрьский вечер. Темнеет. Сад еще не потерял своего зеленого убранства, еще больше затемнил аллеи. Вот на ту скамейку сразу за поворотом, на которой не раз сидели, сели мы и в этот вечер. Густые кусты охватывают ее полукольцом.

Сидим и молчим. Мне все равно хорошо и не хочется больше тревожиться, бояться, сомневаться. Вот он здесь, и он мой. Мой потому, что больше ничей. Пусть судьба творит свое дело дальше, никому поперек дороги не лежит наша дружба. Если он хочет сидеть около меня и думать — не буду мешать...

Он молчит. И вдруг рассказывает: получил извещение-запрос — его разыскивает «жена».

Мне кажется, что меня это даже никак не трогает. Я понимаю: его могут помнить, искать, но ведь он-то любит только меня! Если бы она значила что-нибудь для него, он остался бы безразличным ко мне с самого начала. И в тоне его рассказов о ней никогда не улавливалось ничего, кроме человеческого и, может быть, партийного уважения.

Шура опять молчит, а потом тихо добавляет:

— Эти дни прошлое захватило меня...

И отворачивается.

«У меня нет ни прошлого, ни будущего, одно настоящее, и все мое настоящее — это Вы. Это никак не обязывает Вас?» — подсказывает мне Врагиня. Я чувствую уязвимость этой непроизвольной мысли, молчу. Что вступаться за себя словами, если мало всей привязанности моей?

Но как будто еще не страшно и не больно. Мало ли что бывает, мало ли кто найдется и встретится. Я имею тысячу и одно доказательство внимания. Зачем сомневаться? Это все скользит в голове, как не мои мысли. Просто не знаю, что думать от неожиданности.

И есть в натуре моей какая-то первичная инертность, краткий паралич чувства в момент острого толчка судьбы. Не умею сразу охватить разумом трудной новости. Какое-то время еще механически живу и думаю по-прежнему.

Я медленно немею. Встаю и иду за ним из сада. Поднимаюсь на мое крыльцо. Все как обычно. И вот здесь мне чудится что-то холодно-новое: разговор не вяжется совсем — нам *скучно*!..

Возвращаюсь в Дементьево. Непонятное и незнакомое чувство нависающей опасности, неизведанной, неопределенной, возможно, еще не существующей — давит меня, выбивает из колеи, ставит в тупик перед собою же. Не знаю, как отнестись ко всему случившемуся, тем более, что я не понимаю его, да и случилось ли что-нибудь? Только почему так смертельно грустно?

Если бы не Врагиня, я «вся исплакалась» бы, как говорят в Череповце. Но она не позволяет мне ни одной слезы. Становится зла и груба: еще чего? Плакать о мужчине?! И не думай, и не посмей! Я тебе поплачу! Так унизиться... Пусть лучше они плачут из-за нас.

Вот пытаюсь представить себе: все по-прежнему, только Шуры нет и не будет — и словно заглядываю в большую черную яму под самыми ногами. «Как было бы дико думать, что его можно теперь вычеркнуть из моей жизни!» — записываю в дневник. И об этом «диком» не могу не помнить день и ночь. И думаете, больше не смотрю в окно? Наверное, еще чаще и дольше, если это еще возможно.

Прихожу в город.

Прохладно, сыро. Заходит Шура. Рассказывает: получил письмо от нее. Арестовали ее в Ленинграде, шесть месяцев была в заключении. Потом выслали в Сибирь, теперь — в Бийске.

Что-то изменилось в его внешности. Он пополнел, стал словно бы веселее, вообще какой-то иной, словно старше. Вот и бриться начал. Врагиня подталкивает: скажи!

— А вы пополнели.

— Да...

Он смущенно смеется.

43

Шура ничего не рассказывал мне о внутренних делах своей группы, но об отдельных новостях иногда упоминал. Череповецкая группа оппозиционеров регулярно собиралась на собрания-занятия — такое сложилось у меня представление. Читали, изучали что-то, обменивались мнениями, спорили. Осенью, а может быть, и раньше, обострились взаимные противоречия, антипатии. Люди устали друг от друга, пресытились безрезультатными словесными битвами, долгой бездеятельностью после прежней заполненной и интересной жизни. Да и люди-то были разные, случайно собранные: молодые и пожилые, семейные и одинокие, рабочие и интеллигенты, экономисты, политики, студенты...

В словах Шуры я ни разу не уловила и тени антипатии к кому-либо из товарищей — он был моложе, может быть, терпимее других, верней — добрее. Но среди них возникали резкие столкновения. Сказывалась горечь большой политической неудачи, бесперспективность, оторванность от всего, долбящая бранчливость газет, не стеснявшихся в выражениях. Появились какие-то расхождения, усилившие разобщенность. Наверное, считая себя партией и применяя ее тогдашние приемы, и этот микроколлектив добивался у себя единообразия мышления, внушая, навязывая и запрещая. Осуждая поиск и сомнения, угрожая зачислением в «правые», выдвигая непогрешимых вождей...

Ягодкин — тогда начальник ГПУ в Череповце, о нем будет впереди — бросил мне зачем-то фразу:

— Ушан и Сермукс ненавидели друг друга. Они боролись за главенство в группе, за влияние на остальных...

Я ни разу не была на их собраниях, не слышала ни одного серьезного политического разговора между ними, даже в пересказе; ни разу не видела вместе Ушана и Сермукса в течение времени, достаточного для такого разговора. Думаю, что, кроме теоретических словопрений, самая острая тогда для них тема была — о «капитуляции». Возможно, порыв, толкнувший их когда-то на откол от победившей точки зрения, у многих из них теперь иссякал: вынужденное, затянувшееся бездеятельное существование превращалось в бесполезное саможертвоприношение.

Шура как-то упомянул, что кто-то уехал. Иногда что-то мелькало в словах Ушана.

К началу затяжной череповецкой осени — унылой, с вязкой глубокой грязью малоосвещенных улиц, застоем обывательской жизни, пьяными, собачьим лаем и долгими ночами — обстановка в группе этих людей сложилась, кажется, совсем не веселая, труднопереносимая, беспросветная.

Я пишу об этом с тяжелым чувством отталкивания, приневоливаю себя. Так все это было безрадостно, обременительно для жизни всех участников трагедии, вольных и невольных. Так дорого обошлось многим при лучших-то намерениях, чистейших побуждениях и недюжинном мужестве. Ничего оправданно доброго не принесло это и молодому общественному порядку. Усилило недоверие, подозрительность, преследования. Вызвало мстительность, жестокость, бесчисленные потери, искусственный и пугливый застой мысли.

А «партийный обыватель», с которым они боролись, как плесневый грибок, приспособился и к новой питательной среде.

44

И идем мы с Шурой по полутемному Советскому, не подгоняя шагов друг к другу, изредка, случайно, на секунду соприкасаясь плечом. Во мне поднимается горечь до самого горла: открываю себе, что, оказывается, ждала хоть маленького жеста ласки, несмотря ни на что! Уже все понимаю, ничего не требую, ни на что не надеюсь. Согласна на милостыню...

Нет, не только. Ведь это та же я, с которой было ему долго тепло и нескучно. Ведь и он здесь один. Ведь такой еще теплый и такой темный безлюдный вечер...

Останавливаемся наискосок, через перекресток от моего дома, на углу. Слабо светят за окнами лампы. Слабо светит знакомое лицо.

— Это надо знать по себе, что значит шесть месяцев тюрьмы,— говорит Шура.

Вот о чем он думает!

Сто раз вспомню я эту фразу через несколько часов, когда в полной темноте, до рассвета, пойду своей унылой дальней дорогой в Дементьево. Мне покажется: Шура и не представляет себе, что я без колебаний согласилась бы на год тюрьмы, на сколько угодно, если бы... Но только — не за трагические идеи его, портящие людям жизнь. Их выдвигают, отстаивают, оспаривают так, что только умножают вокруг зло и неуют. Я пошла бы на любой искус за любовь свою...

— Жена зовет меня туда, в Бийск, хочет хлопотать о переводе... Там сильная группа,— говорит Шура.

Понимаю, как это важно для него — тем хуже для меня. Нечего мне не только сказать, но и подумать. Все катится в пропасть. К сожалению, нужно жить и дальше, оставаться с собой, идти десять верст лесом и опять жить.

Но ведь все-таки я сейчас тут стою, перед его глазами, редкая гостья в городе и не первая же встречная... Хоть бы одну искорку сочувственную уловить! Поймать, запомнить, питаться ею потом. Но ее нет. «Не поправить дня усильями светилен».

Я киваю, поворачиваюсь и перехожу улицу. Здороваться, прощаться, подавать руку — между нами не установилось. Кстати сказать, комсомол боролся тогда с рукопожатиями; традиции, даже самые обиходные, были чохом отнесены по ведомству мещанства. Не запрещалось, но... Мы же хотели обязательно отличаться от прошлого века.

И мы расходимся, едва кивнув, а может быть, и не кивнув.

Назавтра в Дементьеве — в последний вечер сентября — я открою тетрадь для стихов и расскажу ей, как

> ...едва упал, словно мимо,
> Пожелтевший лист «до свиданья»,
> Стала, как ожог, нестерпима
> Острая никчемность свиданья.

45

Октябрь.

Неопытному горю свойственно обманчивое неверие в непоправимость беды, какое-то вполне алогичное, нерассуждающе-упорное «не может быть — и все!». Как в сказке, мыслим, обязателен только хороший, справедливый, желанный конец. Например, через день, первого октября, я смогу написать:

...Почему-то не вяжется:
Эта осень и дождь.
Почему-то мне кажется,
Что ты завтра придешь!

А дальше начинаются дожди. Мелкие, проливные, перемежающиеся, затяжные. Дороги становятся малопроходимыми.

«Месяц немыслимой, неизмеримой тоски»,— запишу я коротко в дневник. Часто кажется, что уже уехал. Это страшно, как похороны.

И с кем говорить о том?

Вот когда стала понятна щемящая печаль русской песни, знакомой и не звучавшей для меня раньше. Вот и песня покойной матери говорит теперь обо мне:

С той поры будто солнышка нету,
Все осенняя темная ночь.
Что ни жди, не дождешься рассвету,
Что ни плачь, все беде не помочь...

А милые русские частушки, любимые с детства! — в эти месяцы я их много записываю, собираю через учеников и их близких.

В моей дипломной работе был единственный раздел, с которым не согласилась Наталья Петровна, воспитанная на Баратынском и Чайковском: она признавала художественной только длинную народную песню. А я знала сотни этих лаконичных и искренних поэтических реплик живой души, скованной новыми темпами жизни. Знала удивительные по душевности мелодии к ним, могла петь их часами...

Хорошо хорошим-то
Хороших-то и любят-то.
Что ж меня, худую-то,
Никто не приголубит-то?

Милый женится, ну да,
А я-то, бедная, куда?
На реке большая прорубь —
Суну голову туда...

Мне даже не хватало песен. Пела и свои стихи — приходил и к ним напев.

Липами зеленое
Изношено платье —
Зимушку студеную
Одной коротать мне.

Врагиня моя примолкла, удручена — власть ее ослабела. Но как-то раз выхватила у меня перо и «накатала» поэмку-отповедь. Бог ты мой милосердный, что там было! Я все же забрала у нее перо, но совсем она его не выпустила, и мы закончили стихотворение вместе:

...Не ходите больше!
Одной мне легче
Зализать обрубок
Потерянной лапы...

Возможно, и была здесь какая-то трезвая мысль... Но надламываются, кажется, последние силы души. Записываю в дневник: «Тишина бессильного горя на сердце».

Все равно. Пусть. Не пойду в город. Не могу больше — на такую пытку.

46

Кроме всего, очень хочется поделиться с кем-нибудь стихами. Теперь даже милого наивного ЧАППа нет у меня: далеко мне, скучно мне, трудно мне туда идти.

Вспомнилась Т. К. Трифонова. Она была внимательна ко мне, подбадривала. Подбираю несколько последних стихотворений — «Знаю, будет вечер», поэмку-отповедь Врагини, так как она — в новой стилистической манере, и еще что-то — и отправляю в Ленинград.

Ответ приходит быстро.

Вскрываю конверт, стоя в какой-то длинной очереди в одном из учреждений в городе. Неожиданная человеческая душевность письма поражает меня. Я с трудом вижу строки сквозь хлынувшие слезы, останавливаюсь, чтобы взять себя в руки, и не могу...

Тогда меня просто восхитила эта очередь из железных людей: ни одна душа не заметила ничего, а стояла я долго и до конца не могла успокоиться.

Это письмо Трифоновой сохранилось (Лапповский бланк, отсутствие даты). По нему еще раз вижу, как высушили, выдубили потом людей война и тридцатые годы. Мои встречи с Трифоновой в сороковых годах никак не допускают возможности такого письма даже в прошлом. А тогда она писала:

«Дорогая тов. Иванова! Мне очень трудно отвечать на ваши стихи, потому что к чисто литературной оценке здесь невольно примешивается мысль о человеке... Ваши стихи написаны слишком искренне, откровенно. Это — дневник, а разве можно советовать человеку — о чем писать в своем дневнике?.. Я — может быть, потому, что немножко знаю вас лично,— не могу так холодно разбирать ваши стихи... Какие-то сильные личные мотивы, мотивы ушедшего лета, которое сейчас вам кажется единственным и неповторимым — эти моменты захватили вас целиком... И знаете, что? Это личное у вас мне кажется очень хорошим... Простите меня за эти слова, но мне просто хочется пожать вам руку и сказать, что вы молодец. И еще хочется сказать, что не повторяется прошлое, но наступает новое... А стихи у вас хорошие. Но, конечно, они не имеют интереса общественного. Может быть, когда личные вопросы улягутся, вы подойдете к другим темам. И тогда вам пригодится тот несомненный формальный рост, который отчетливо виден в ваших стихах. Я хочу вам предложить: пишите чаще и больше, посылайте все, что пишете, пишите о своей работе, о волнующих вас вопросах и т. д. Я работала в деревне и знаю, что там иногда не с кем поговорить, посоветоваться, поделиться. Если переписка может хоть отчасти заменить живого человека, пишите! Еще раз: стихи свежие, острые, своеобразные. Свою манеру не надо ставить в кавычки, она у вас вырабатывается. Итак — до следующего письма...»

Я не написала больше ни разу! Стихи мои оставались личными. «Волнующие меня вопросы» нельзя было и выговорить... И учительская работа моя — не для стихов. Уже наваливаются местные дрязги, сплетни, обиды. Словно под корень хочет подсечь меня жизнь. Делать нечего и деться некуда.

47

В одну из суббот, днем, вдруг приходит ко мне из города Иосиф Неелов. Это тоже наш молодой чапповец, поэт. Не то поляк, не то еврей, худенький, черноволосый, приветливый. Рассказывает новости, напоминает: сегодня вечером — ЧАПП. Уговаривает идти с ним в город.

И — вдребезги все мои твердые решения, уговорил! Знала бы я, что вечером опять буду сидеть на собрании в редакции, слушать важного Будду-Клименкова, что опять рядом со мной сядет Шура и что мы даже будем *оба* рады друг другу!

Невероятно! Но наваждение продолжается. После собрания идем вдвоем до моего городского дома, и опять коротка дорога... Я зажимаю себя в кулак. Врагиня на ухо долбит: твое решение! Твое решение! На слова и вопросы Шуры отвечаю сжато, сухо. Мне безмерно неловко за свою никчемность рядом с этим человеком. Но скрыть свою тугу́, видимо, не умею.

Шура некоторое время молчит, потом заглядывает мне в лицо как-то дружески-заботливо, да нет, еще теплее... Вне всякой связи с разговором произносит с непередаваемой интонацией, с ударением:

— Не думайте, что я получаю письма!

«Что мне до этого?» — суфлирует Врагиня, но голубь повертывается в сердце, оттесняет ее, и уже другие слова стоят во мне:

«Милый ты мой! Помнишь о моей муке? Хочешь снять ее хоть временно?.. Тебе одиноко, и я не забыта еще настолько, чтобы не поделиться со мною».

Не смею, не хочу верить и не могу не заметить: не только «поделиться» — быть со мною хочет сейчас человек! Есть у меня постоянное место в душе его. Оно за мной, если... Если вот так пусто около него...

Продолжается наваждение — мы долго стоим на моем крыльце. Долго и ласково...

Приду в Дементьево и запишу в дневник: «Он любит меня немножко. Отчего же так тоскливо смертельно?»

Ну, конечно, усиливаются мои дежурства у окна. Кусты пожелтели, облетают. Плащ чайного цвета или рыжеватое поношенное пальто будут с ними сливаться...

Неделя. Две. Никто, конечно, не приходит...

И не в эти ли вечера пишет Шура стихи, которые я увижу только лет через тридцать пять? К двадцатому—двадцать второму числу того ноября, того двадцать девятого года, это — семь недатированных стихотворений, посланных им тогда же, с письмом, Игорю Поступальскому, своему другу.

...Ответь мне хоть строчкой: такая тоска,
Как будто я вне человеческих зон.

Это, видимо, октябрь и «не думайте, что я получаю письма»...

В воскресенье я в городе, и встречаю на улице Шуру. Идем рядом. Рассказывает: опять получает письма, его туда зовут. Мне — с улыбкой, весело:

— Возьму и уеду. Писать будете?

Потом добавляет: его запросили, он дал согласие на перевод в Бийск.

Много позднее, передумав и перебрав все за годы, я пойму, что было ему тогда очень непросто отказаться от перевода. Здесь — угнетающая обстановка прискучившей группы, застоявшейся «в собственном соку». Затянувшееся положение «вне человеческих зон». Духота и бесперспективность окружения, городка, без живых нитей к труду, ученью, творчеству. А там, в Бийске,— новое место, новые люди, обещающие пищу разуму, какие-то вести, политические новости. Женщина, все решившая, с которой относительно без забот; узы, мне неведомые, закрепленные общностью «однодельцев» — все это, видно, было сильнее череповецких черемух.

Но идя рядом, не позволяю себе вдуматься в его слова. Чтобы продержаться до конца встречи, нужно отложить это до часа наедине с собой. Я изворачиваюсь в шутливой болтовне. Без цели, без надежды, «запросто» говорю, что выхожу утром на рассвете в Дементьево и прошу меня проводить (это чтобы показать, что не считаю себя покинутой: «у покинутой просьб не бывает»). Он, кажется, обещает.

Но не приходит. Мачеха замечает мою отравленность. Впервые мне кажется, что ей жаль меня немножко. Она что-то спрашивает, когда я прохожу мимо нее к двери, но я могу только качнуть головой: если заговорю — разрыдаюсь. Глаза уже полны — плохо вижу перед собой. Она молчит.

Через два дня в школу приходит мне открытка: не мог прийти. Уже не помню, почему, но — довольно уважительный мотив. Вот тут-то, над такими обыкновенными строчками, плачу я впервые над нашей дружбой. И ничего не сделать моей Врагине с ее запретами. Повалилась снопом на койку — и в три ручья...

48

Ноябрь.

Непредвиденное испытание: четыре выходных дня подряд. Вне занятий с детьми Дементьево просто непереносимо. А провести эти дни в городе — переносимо ли? Но в школе уже настроение маленьких каникул. В деревнях будут гулянки, пьяные могут затесаться в школу. Нет, уйду.

Как переменилась знакомая дорога! Хватающая, ноющая тоска поздней осени. Пустота — ни зелени, ни птиц, ни единого человека. Стога, уже побуревшие от дождей, подмерзающая грязь, унылые закраины первого, ненадежного льда на лужах, упавшие жерди изгородей: скот уже не выгоняют в поле. Появившийся впереди на горизонте серый, разбросанный город и оставленное позади ничем не скрашенное Дементьево — не теплее, не приветливее одно другого. Иду, а — ни надежд, ни самообмана. Все события этих месяцев — лишь механический ход машины, бережно — чтоб не насмерть! — переламывающей мне кости.

...Не помню теперь, кого я встретила у библиотеки, кто сообщил мне: на районной комсомольской конференции называлось мое имя. И как? Как пример — «каких учительниц нам не надо»: уходит в выходные дни в город и не руководит в это время радиослушанием в школе. Кто выступал? А тот самый зоотехник, который обещал мне включать радио в школе без меня и делал это! Радиослушание не срывалось, просто парень таким приемом вступился за свой выходной день. Я уходила не всегда, значит, и он жертвовал этими двумя часами не всегда, но...

Тот праздничный подарок был не последним. Потом напишет мне свои укоризны Тамара: она от меня «не ждала такого отношения к делу», ей за меня стыдно. Что-то тут еще глупо сплетничает мачеха. В ноябрьском, непролазно грязном городе такая же бессмысленная тоска... Даже не к кому пойти скуки ради. Все разъехались, с кем я училась, а после этой «конференции» и видеть никого не хочется.

Заходит вечером Шура и весело говорит:

— А я еду!

У меня уже написано стихотворение с этими словами от его лица. Но я тоже, в тон, смеюсь. Он внимательно смотрит на меня — выдерживаю! Спокойная, весело-ироничная добрая знакомая, которая простодушно-поощрительно намекает: понимаем, мол, там зазноба, надо-надо, желаем и прочее.

Идем гулять, почему-то к вокзалу (может быть, это тянет его?). Моросит дождь. Холодный ветер бьет в лицо. Я озябла, вдруг очень устала, но боюсь это показать: как алмазной крупинкой, дорожу каждой минутой вместе — она уже считанная. Беру его под руку. Сквозь его и мой рукав проливается в меня тепло. Иду, как освещенная солнцем с одной стороны. И в какой-то момент, почему-то, Шура вдруг осторожно прижимает мой локоть к себе, коротко взглянув на меня. Я близка к обмороку от мучительного счастья. Господи, как немного нужно мне теперь для того и другого!

Это, видимо, седьмое ноября.

49

На другой день сижу над стихами. Я так и не написала ничего о былой радости, а потом не смогу — так недолго ей жить осталось. Но в глазах стоит вчерашний вокзал под дождем, словно плаха, на которой в неизвестный, но близкий день мне обязательно отрубят голову. И на лист ложатся стихи о ночи вдвоем, наполовину придуманной, больше чем наполовину. Придумываю проводы — на самом деле меня не известят и не позовут.

«Вечером его нет,— запишу я потом в дневник.— Я жду до смертной тоски. Нет и нет».

А приходит ко мне «дядя» — так мы полушутя называем теперь Ушана.

Откуда у меня билеты в театр? Не помню. Идем за Шурой. По дороге, к слову, Ушан серьезно и просто говорит мне:

— Вы разбираетесь в экономических вопросах лучше, чем некоторые здешние окркомцы...

Очень удивляюсь: никак, по-моему, не заслужила — не помню ни одного и разговора на такую тему. Смотрю на Ушана: это не «ход конем»? Нет, он спокоен и сдержан. Не понимаю и молчу.

Вызвали Шуру из дома, не заходя к нему.

— Я даже испугался. Говорят: за мной пришли. Думал — арест. Оказывается — вы. Я сказал: только-то?

Последнее — тоном подчеркнутого разочарования. Разумеется — шутки ради, но мне все равно больно.

И вот мы в театре.

Это здание на углу улицы Ленина и Советского проспекта теперь изменилось, перестроено — новый вход с Советского, а тогда входили с улицы Ленина.

Сидим мы с ним рядом. Я нисколько не поумнела, не повзрослела за такой год. Когда на сцене целуются — мне нестерпимо, по-детски стыдно, хотя в зале темно, мой сосед не шелохнется.

И еще много лет потом будет мне казаться, что никто третий не должен знать тайну общения двоих, даже подозревать, что в его собственной судьбе многое — жест, слово, ощущение, начало и итог — сложится и пойдет так же, как у кого-то еще. Так драгоценна неповторимость и свежесть узнавания, так она неприкасаема, такой подарок человеку — ее сберечь...

В антракте в толпе мелькает плоское, белое, монголоидное лицо Мишки Орлова. Здороваюсь, проходя мимо. Что мне теперь всё на свете, когда я, может быть, в последний раз сижу и иду рядом с Единственным среди всех? Мишка внимательно и серьезно посмотрел на меня — ни обычного вида превосходства, ни смешочка — и исчез из моего поля зрения.

Последнее действие (последнее действие!). В темноте меня неудержимо тянет прислониться к плечу Шуры. От него идет то притяжение, которое я уже называла музыкой осязания. Оно почти материально ощутимо и пронизано одинокой острой нотой расставания. На испытание этого часа уходят все мои силы. Когда идем домой, подо мною явственно качаются плиты тротуара.

— Вы ждали меня сегодня?

Очень трогательно! Ведь ему теперь совсем не нужно мое ожидание...

50

Девятое.

Днем встречаю Сашу Крылова. Он подтверждает выступление на конференции моего зоотехника. Даже объяснять обидно... Но у Саши тоже неприятности. Он еще учится в техникуме, выпускной курс (обучение в педтехникуме теперь трехгодичное). Саше инкриминируют «связь», «контакт», уклон и так далее. Было собрание. А он не стал оправдываться и открещиваться. Выступил и спросил:

— Разве и вы не сказали бы: долой партийного обывателя?

Его исключили из комсомола.

Валентин Георгиевич, парторг наш, подал кассацию, вступился. Саша восстановлен.

Вечером заходит Шура. Мачеха накрывает чай. Сидим втроем за столом. Шура со мною рядом. Стулья стоят тесно. Мое и его колени слегка соприкасаются, потом приникают одно к другому и замирают, не отрываясь.

Разговор неинтересный, вялый. Что-то очень нелепое болтает мачеха. Звонко тикают ходики над столом. Я не могу от них отвлечься — они отсчитывают мне минуты, как приговоренной. Вот так близко сидеть, что слышишь, видишь, осязаешь человека — и знать, что мыслями он далеко, где-то в Сибири. И острое чувство: я сейчас скучная, серая, пресная... И через все — просто паническое: наглядеться! Насытиться голосом, запахом, теплом прикосновения...

Идем на улицу, доходим до его калитки, останавливаемся. Он рассказывает мне свой сон. Никогда не рассказывал раньше. Чем-то сон интересен и значащ. Вспомнить его теперь не могу.

Хочу уйти одна, но он идет со мною. Во всех его сегодняшних рассказах, разговорах, предположениях на будущее — совсем нет меня. Ни слова. Понимаю, что это не небрежение, это — отвлечение, даже предосторожность: обойти опасность какого-либо личного объяснения (Бог знает, каких «громких» слов оно потребовало бы?). Но я не выдерживаю и после паузы глупо и беспомощно спрашиваю:

— Почему вы все-таки уезжаете?

Он смотрит в сторону, поверх моей головы. И — резко:

— Череповец мне осточертел...

Подо мной опять качнулась земля — я даже боюсь его толкнуть. Что он мог сказать еще беспощаднее? Я ведь оказываюсь за той же скобкой. Молчу. Жду. Но не следует никакой лицемерной добавки: а еще вы вот уехали в деревню или вроде того. Нет, он очень честен...

Хочу кивнуть, повернуться и уйти домой. Но он опять идет за мною. Поднимается на мое крыльцо. О, как чувствую, что, может быть — в последний раз на все будущие века! Уйду в деревню на неделю, две. А новости его возможны в любой день. Раз принято решение о переводе, исполнения не задержат. Переведут внезапно, без предупреждения. Ясно, что мне лучше не показываться на его проводах. И он, конечно, не позовет.

Вот так: посмотрю сейчас и — никогда больше...

А разговор идет ровно, монотонно, порой с полушуткой, полуулыбкой. Звучат какие-то, чьи-то стихи. Я спокойно говорю:

— У меня есть такая строчка:

Крошку силы! Вольтаж смертельный...

Уверена, что мой ледяной тон слишком далек от экспрессии стиха и уведет в сторону от догадки. Но не увел. Это я вижу по его лицу. Он задумчиво, невесело, длинно посмотрел перед собою и медленно повторяет мою строку. Ничего на этот раз не говорит. Наступает молчание — провал, которого не перейти.

Вот еще несколько слов, несколько минут — он спустится с крыльца — увижу только милую сутуловатую спину, чуть опущенную голову. Приблизится к углу дома и скроется за тополем. Потом будет уже не видно фигуры, но еще скользнет по земле тень. Уйдет за угол и она. И все.

И больно еще другое: заходит он, возможно, из жалости. Не лучше, если от скуки. Для него тоже пытка — вести утлую ладью нашей беседы, когда неотступно перед ее носом такой огромный подводный камень. Не надо бы и неволить его...

И я решаю отказаться от завтрашнего вечера — уйти в деревню днем. Говорю ему об этом и по-светски прощаюсь, но не ухожу первой: хочу еще посмотреть. И он уходит вот именно так: с крыльца, спиной ко мне, потом, опустив голову,— направо, к углу дома, потом за тополь, потом — только тень и — нет и тени...

Уже не закрываю — захлопываю дверь. Бегу стремглав в комнату, кидаюсь, не раздевшись, в постель и набиваю себе рот углом подушки.

51

Следующий день, десятое ноября, воскресенье. Механически собираюсь в дорогу. За окном тепло и пасмурно, серое небо, подсыхающая грязь. Дождя нет.

Около двух часов — стук в дверь. Шура! Пришел проводить!

От неожиданности, граничащей с мистикой, совсем забываю о своем лице.

— Почему такой убитый вид? — спрашивает Шура с полуулыбкой. Он, конечно, прекрасно знает, почему, но знает и то, что я не хочу этого показывать. Вот так пытается поддерживать, помочь мне взять себя в руки. Я пугаюсь, выпрямляюсь, улыбаюсь.

Идем по городу, за город, мимо кладбища, за кладбище — мой обычный путь на Заякошье.

— Почему заторопились? Останьтесь еще на вечер!

Конечно, опять поворачивается тот голубь. Но в голове что-то сопротивляется. Впервые думается: искренне ли это? И почему не сказал, пока не вышли? Ну, пусть хоть повторит!

Он не повторяет. Путь продолжается.

За кладбищем небольшой овражек — спрыгиваем, выскакиваем на бугор. Дальше тянется плоский удлиненный холм. Разговор спокойный, ни о чем.

Видимо, он тоже думает, что встреча наша — последняя. Вот и пришел.

Эта обязательность меня тяготит: ему, наверное, не очень-то хочется идти по сырой дороге... И я боюсь, что он оскорбит меня принужденным поцелуем прощания. Нет, он этого не сделал. Он чуток, ему свойствен природный такт.

Останавливаемся.

— Не скучайте, пишите. Пролетарская, шестьдесят девять.

Расходимся. Я дохожу до края холма. Почему бы мне не оглянуться? Это, конечно — показать слабость. Но не все ли равно теперь? Ну, пусть он с усмешкой подумает что-нибудь такое. Не все ли равно, раз — конец? И я оглядываюсь. Сразу же вдалеке останавливается и оглядывается Шура. Может быть — не в первый уже раз? Он смотрит, словно ждет чего-то.

Все мое существо вдруг бунтует: бежать назад, кинуться на грудь, сказать все прямыми запретными словами, поцеловать, как хочется, и дальше — все равно, хоть смерть, хоть Дементьево, другого не будет, невозможно, он уедет... Но хоть раз еще!

Нет, не надо, не посмею. Постою так полминуты, даже рукой махнуть не решусь. Отвернусь первая и пойду без оглядки по спуску, к серо-желтой мочажине внизу.

После двух часов дороги прихожу в школу. Встречает меня Настасья Михайловна.

— А милый меня версты три проводил! — говорю я ей бодро. Мне самой хочется услышать такие слова и словно бы поиграть в них, ну, понарошку, будто все, как у людей...

И вот наступает вечер. Гаснут бурые холмы с тропинкой. На нее смотреть страшно. Молчит пустая школа. С каждым часом ощутимее черный колодец *нового* существования, в которое я теперь окончательно опускаюсь.

По радио душевный женский голос поет белорусскую колыбельную: «Мой сыночек миленький, мой голубочек биленький...» Песня кончается. А во мне возникают с трудом лепящиеся, непривычные мне слова, которые потом станут стихами:

Иль силен застенчивый инстинкт?
Не мечтала ль я когда-нибудь
Твоему ребенку поднести
Молоком сочащуюся грудь?

Не будет у меня Шурина сыночка — памяти, утехи, радости! Не петь мне над ним! Не узнавать с каждым днем милые черты в маленьком личике...

Настасья Михайловна тихо приоткрывает мою дверь, подходит к постели, на которой я ничком, обнимает, гладит по голове, уговаривает. Я примолкаю, чтобы успокоить ее и отправить спать. Она недоверчиво удаляется.

52

Но время все равно идет. Рассветы, уроки, собрания, ликбез, распространение газеты — того «Коммуниста», который я раньше делала, а теперь продаю! Хожу по дворам, уговариваю, упрашиваю.

— На, отдай ей,— говорит в Курилове мужик, передавая мимо меня жене деньги на подписку,— у меня рука не поднимается, до чего жаль на такую ерунду. Пристала...

Это обо мне. А я беру, моя рука должна подыматься, мне поручено...

Прихожу по делам в совхоз. Кто-то спрашивает:

— Почему вы такая измученная?

С обеда опять молчит школа, похоронно пуста тропа за окном. Стучатся стихи, такие запоздалые:

Ни луча, ни звука
В мертвой пустоте.
Только воет глухо
Ранняя метель.
Лес, поля одеты
Свежей белизной.
Чей теперь и где ты,
Ненаглядный мой?

Опять, больше прежнего, хочется сделать кому-то больно, все равно кому — в отместку за себя: все виноваты передо мною — и хорошие, которые меня не любят, и плохие, которые не хотят сделаться хорошими. Это бессильно злится Врагиня, не зная, что ей теперь делать.

«Все-таки нужно сняться на карточку,— наставительно говорит она мне.— Если не уехал — попросит на память...» — «Где же он будет ее хранить? Как привезти туда и объяснить?» — отвечаю ей я и — иду к фотографу. Дело в том, что я никак не верю в старую-новую влюбленность Шуры. Скорее всего он переводится к новым, интересующим его людям от череповецкой тоски. Переезд к жене — только удобная мотивация в его сложном положении. Конечно, он должен будет поселиться с нею вместе, чтобы отвести подозрения начальства. Конечно, она против «перегородок», все возможно. Но это еще будущее. А очевидно лишь одно: я не заполняю его мира. Но я это давно знала. А Врагиня не знала, она мечется. Ей нравится видеть бедного Леонида все более смятенным и связанным, менять его настроение, читать нехитрую повесть его души по явным и безыскусным знакам...

...Опять доходят отголоски комсомольской конференции. Надо что-то делать, нельзя молчать, как виноватой. Иду в город. Без других уже надежд. Прямо в райисполком. Говорю там, что с начала учебного года не прерываются радиослушания в школе, что мы успеваем убрать класс — всю принесенную на сапогах осеннюю грязь — поздно вечером, чтобы вымытый пол просох к утренним занятиям. О моем и сторожихи праве на выходной день я не говорю — не принято было тогда об этом говорить. Но никому все это не интересно. Захожу в редакцию (не думайте, что — как бывший сотрудник. Так еще не умею.). То же. Потом пойду в райком профсоюза. То же. Где-то успокоительно скажут: да ведь ее не преследуют! Я запишу в дневник не без мелодраматизма молодости: «Плевок засох у меня на щеке»...

С этими делами я прихожу в город не раз, после уроков в будни. Однажды из окна райисполкома вижу, как мимо, по Советскому, проходят Афанасьев и Кафтария. Значит, еще здесь. Не делаю ни единого жеста, чтобы скорее выйти на улицу, даже мысли такой нет: для меня все кончено, для меня он уже уехал.

Однажды ко мне в Дементьево вдруг приходит Ушан. Один. Странный человек — зачем, спрашивается? Я, несмотря на все мои «решения», была бы рада ему, если бы он явно не считал меня вещью, которая теперь уже окончательно «плохо лежит»... И какое же представление обо мне! Какое же неуважение к Шуре, за его спиною! Какая самоуверенность за этим убегающим в сторону глазом, при этом толстом животе! (Не думал ли он, что я захочу «отомстить» Шуре? Ведь он, конечно, в курсе...)

Я не хотела с ним ссориться и не без труда сдала экзамен на заданное расстояние. Шепнула Настасье Михайловне, чтобы она просидела с нами вечер.

Заходит разговор об Афанасьеве (сторожиха на несколько минут вышла).

— Он такой человек,— говорит Ушан.— Его надо подталкивать. Он мало думает о своей жизни. Всегда другие будут решать за него его же личные дела. А она очень энергичная, настойчивая. Она писала в Москву: где мой муж? Переведите ко мне мужа! Ему тут и решать мало чего осталось. Кто она ему была? Приятельница? А с приятельницами живут...

Устроила гостю постель в классе. Утром он ушел.

53

Теперь я много и трудно думаю о политике, жадно читаю газеты. Не умею их выбирать, не все понимаю и, не сознаваясь себе, очень страдаю от их однообразной, однобокой нарочитости, едва задевается больной вопрос. Голова моя полна путаницы, душа — смятения. Растет желание произнести еще один приговор над собой — осудить, отрезать, отказаться, как апостол Петр. Но глухо и упорно поет и поет евангельский петух, тревожа душу, допрашивая совесть, требуя правды или хотя бы честных поисков ее...

А жила во мне не только Врагиня, спутница моя. Жило еще несколько духовных существ при одном физическом. Они редко ладили. Они были очень разные, тянули в стороны и раздирали меня. На беду мою они главенствовали попеременно и не давали мне свыкнуться с единым взглядом на вещи, расшатывали его и убивали радость цельности.

Все-таки жил во мне, видно, и Поэт. Нередко именно он оказывался бесхитростным провидцем, да «сожители» ему мало верили. Бывал он и декламатором-путаником и сбивал бы других, если бы они ему верили...

И жила еще во мне не признанная ни одной «ячейкой» безбилетная комсомолка двадцатых годов. Была решительна до героизма, старательно училась рубить сплеча, прежде всего — себя и по живому. Верила в близкий коммунизм. И — что во имя нашего завтра, возможно, и понадобится «сжечь Рафаэля!» И что Пушкин, конечно же (что уж тут спорить?), представитель обнищавшего дворянства, продукт и последыш.

Поэтому я терзалась тем, что и Рафаэль (особенно), и Пушкин мне мучительно нравятся, но уж скрывала этот свой пережиток.

А она была очень трудолюбива, добросовестна — того гляди и лоб себе разобьет; неутомима в любом деле, даже самом для меня не подходящем — такое частенько подсовывала судьба. Это она, неорганизованная комсомолка, поехала в деревню, живя в городе. Это она терзалась виной за мои «контакты». Это она помогала мне не навещать могилу матери и не убирать могилу отца: того, мол, света нет, умерший — вещь, ничего не чувствующая, которой ничего не надо (Поэт здесь часто спорил с ней). Это она пошла к Клименкову с доносом. Это она обманом накормила религиозную Настасью Михайловну конской колбасой, чтобы через три дня доказывать ей: греха нет — женщина не заболела. А женщина кротко объяснила, что грех по неведению ничего не доказывает...

Но вообще-то именно она, комсомолка, и была, наверное, тогда моим костяком, опорой, она помогла мне потом дожить до времени, когда я напишу это, отдав ей должное. Поэтому я все-таки назвала бы ее моею Другиней.

А в те трудные дни она была очень активна. Не жалея себя, искала выхода. Я держалась за нее, как утопающая. Но она отнюдь не была соломинкой.

Она мне твердо заявила: прежде всего — жить и пережить. Так твердо, что Врагиня и пикнуть не посмела, хотя владела великолепным набором иных примеров для подражания. То были красивейшие смерти от разлуки — самоубийства, чахотка, случайности разные. И Поэт поглядывал на эту тему с некоторым аппетитом, но остался честен: не стал выдумывать, хотя и видел, что я порою близка к такому выходу из положения. Другиня же тут им и слова молвить не давала.

Помимо многого прочего, она и Врагиня различались (или сходились?) в одном: у Врагини иногда проявлялся здравый смысл, а у Другини иногда — пропадал. И таких минут немало случилось у обеих, особенно в наступавшие тогда тридцатые годы...

Другиня не хотела останавливаться на полдороге, настаивала: расставаться и рвать все нити, так вернее, честнее... «Даже потом и — легче!» — ввернула Врагиня. «Путь этих людей...» — продолжала Другиня. («Хотя бы их методы — не для тебя»,— вставлял Поэт. Он был немного мыслитель). «Путь этих людей неверен, он — не для советской учительницы. Читай газеты!» — овладела словом Другиня и строго посмотрела на Поэта. «Да и не хватало нарваться на преследования ни за что, ведь еще в вуз поступать!» — добавила Врагиня, воспользовавшись паузой. Врагиня вообще считала, что только она утащила меня в деревню — от всевидящего ока подальше.

Помимо этих троих, еще каких-то редко звучавших голосов и слабых подголосков, была все-таки и я сама, часто совпадавшая с каждым из них по отдельности, но все же умевшая и оттолкнуться, решавшая выбор на очередной случай (и нередко притом — наименее разумно).

И вот я жадно читаю газеты. Многое вызывает уважение, еще больше — желание работать, помогать большому делу. Но эти истошные требования «заклеймить», проклятия и заушения «врагов» и «двурушников»... Не могу их проглотить. Знаю совсем не врагов, а двурушник, видно, и есть я сама. Куда

же мне деться, такой отпетой? Я хочу работать. Но осмысленно... Способна на самое жесткое решение, но должна верить в него. Оно зреет во мне, но родиться не может.

Вот и иду я к Валентину Георгиевичу Иванову, бывшему моему учителю, умнице и человеку с душой. Иду за советом, несу мучительнейшее недоумение свое, хотя не знаю, как его расскажу.

На улице сырой осенний вечер. По дороге рисую себе тихую душевную беседу у письменного стола с настольной лампой. Он, конечно, поймет, что это серьезно, и сумеет поговорить один на один.

Валентина Георгиевича нет дома... Комнаты залиты ярким светом и после ноябрьской улицы режут глаза. Никакого письменного стола и полумрака. Озабоченная женщина, любопытные ребятишки... Потом приходит Валентин Георгиевич. Он словно бы и не удивлен. Чай, общий поверхностный разговор. Он собирается на вечернюю лекцию. Я иду с ним.

Минуем несколько кварталов. Уже близок мой городской дом, где я сегодня ночую, а разговора все нет. Это про себя я засыпала его вопросами. А вблизи, рядом со мной — малознакомый, в сущности, человек. Не знаю, как начать... Терзает меня и необъясненная моя навязчивость, и то, что уходит время и никогда больше не будет разговора, если не сейчас. Наконец, неуклюже, сдавленно, не подготовив собеседника к теме, говорю что-то путано и мучительно... Робость теснит горло, больше ничего не прибавлю, если он промолчит. Он молчит. Не вижу его лица, не смею посмотреть. У поворота к дому замедляю шаги. И он говорит:

— Партия учит нас порывать личное в таких случаях... Требует от нас, коммунистов...

Это ужасно, что он сказал! (А так сказал бы и Шура, и его товарищи...) Нет, он знает, что я беспартийная, и не хочет осудить меня от своего лица. Может быть, это совет поступить вдумчиво, решив для себя, что именно для меня обязательно в этике коммунистов. Он не «приказал», хотя он — Учитель в такую минуту. Он отдает меня на суд самой себе и ничего не мог бы сделать строже...

...Из благодарности за щадящую интонацию той фразы, за то, что не услышала я тогда ходячего политического попрека, за человечность взгляда, проявленную потом, неведомо для меня, за себя, за Сашу Крылова, за тех, о ком не узнаю, за горький трагический конец моего учителя — скажу я потом свое запоздалое надгробное слово о нем. Голосом в пустыне, но скажу...

Больше я никогда не видела Валентина Георгиевича.

...А в деревнях форсированно развертывается коллективизация — долгие собрания, озабоченные лица мужиков, заплаканные — баб; усталые, недосыпающие уполномоченные; путаница представлений о ближайшем будущем; непроходимые дебри очередных хозяйственных ситуаций и задач. Помню одно такое собрание: я веду протокол, потом подаю его на подпись членам президиума. Кроме меня, секретаря партячейки и уполномоченного, остальные отказываются расписаться — боятся. Многие уже согласились вступить в колхоз, но ставят условие: как другие? Наутро уже передумали. К вечеру их уговорили опять. Помаленьку колхозы сколачиваются. Но настроение тяжелое, недоверчивое, ненадежное. И ликуют только газеты.

Я опять думаю, как нужны здесь люди, светлые, грамотные головы, честные, убежденные. Знаю таких людей, оставшихся не у дел, стоящих в стороне в горячую пору... И не могу им простить: неладно это...

В эти же дни приходит и обличительное письмо Тамары: она сама была на конференции, слышала, не ждала и т. д. Давно уже кажется, что нет на тебе больше живого места, а желающие ранить тебя еще находят.

Думается, жить смогу теперь только работой. Иду в сельсовет, в партячейку, получаю разные задания. Но местное начальство явно не любит моих обращений к нему с текущими нуждами школы, без чего мне никак не обойтись. И мне уже передали обидное прозвище... Хотя ведь именно их детей ради добилась я, чтобы починили крышу в школе, привезли дров, отпустили продуктов на завтраки...

Неплохой человек секретарь партячейки, но не умен. Передает мне

сплетни, говорит глупости... Теперь дуется на меня за то, что временно отстранила от занятий двух его ребятишек, заболевших чесоткой. Назвал это «преследованием» его детей. А ребятишек вылечил и справку от врача мне доставил. На вечере в клубе, в игре в «молву», он пускает в мой адрес полуприличную реплику, по которой я сразу отгадываю сказавшего, но обрезать его порезче не смею.

Зайдя как-то в мою комнату, увидел на стене мой рисунок — портрет, удивился:

— А почему это у вас здесь Михаил Зосимович?

— Это мой отец.

Оказался его давним сослуживцем по фабрике обуви...

И вдруг на каком-то собрании говорит о моих «слезах» (!). Я не знаю, где он их видел, от кого узнал что-нибудь, но обидно и больно...

Прихожу домой с собрания. Откуда-то принесла Настасья Михайловна рыжего котенка. (Мы с ребятами с осени завели «живой уголок», натаскали полевых мышей и устроили их в проволочной клетке с деревянным дном. «Живой уголок» быстро его прогрыз, разбежался и зазимовал в школе в полном составе...) Котенок хорошенький, приветливый. Он прыгает ко мне на колени, и я рассказываю ему, как нескладно и плохо живут люди.

54

Декабрь.

По какому-то делу прихожу на неделе в город. Пасмурный зимний день гаснет рано. Сижу дома. Мачехи нет, она дежурит. Вот когда можно явственно почувствовать, что́ утрачено. Те же обои с шиповником и часы-ходики... И не будет в этой комнате больше стука в стекло или в дверь — до глубокой ночи сегодня и никогда потом. Не могу ничем заняться. По каким-то данным я знаю, что и теперь Афанасьев еще не уехал. В виски бьет: не знает, не знает, что я пришла. Одеваюсь и иду к Саше Крылову.

Он жизнерадостен, общителен, весел. И через каждую фразу:

— А он, знаешь, говорит...

Это все об Афанасьеве. Он просто стоит здесь.

Через полчаса прощаюсь. Куда деться? В густой декабрьской темноте иду в Рождество (нет, нет, он теперь не живет на бульваре! Переехал на нижние улицы...) — проведать родителей Тамары (сама-то она в деревне, в Чагоде; Вячеслав — в Ленинграде, учится).

Милые старики мне рады. Сидим за чаем. Корнил Иванович спрашивает меня о будущем, не собираюсь ли я учиться дальше. Прасковья Ивановна говорит с понимающей улыбкой:

— Ты, наверно, уедешь в Москву со своим другом...

Просто какой-то спектакль с драматическими эффектами! А в ушах возникает голос:

— ...я — кончать университет, а вы — начинать его!

Вот они, «десять пальцев му́ки»! И даже схватиться ими за лоб нельзя, только — сжать на коленях под скатертью. Опять хочется кричать. А сижу молча. Даже слегка улыбнулась! Пусть думают... Нет, нет, я не расскажу им.

Опять Дементьево.

Там то же: часто спрашивают, не вышла ли я замуж. Почему? Раз совсем незнакомый мужичок-попутчик сказал, что все говорят: мой муж в городе...

А стихи текут и текут.

По вечерам, когда я занимаюсь — подготовка к урокам, тетради, книги, стихи, письма, дневник — Рыжик неизменно сидит на моем плече теплым ласковым воротником. Очень любит сесть и на тетрадь или книгу, на самое ее рабочее место, мурлычет и ластится. Отодвинутый с листа, обиженно забирается опять мне на спину. Не понимаю, за что он меня любит: ведь кормит его Настасья Михайловна.

Так и начинаем втроем долгую зимовку в молчаливой с полудня школе. Жилья поблизости нет, прохожих мимо окон — тоже. Иногда по ночам к школе подходят волки — кто-то из крестьян видел их уже в этот сезон...

55

Двадцать первого декабря иду в город.

Миную кладбище. Там у самой ограды, правее ворот, видна могилка отца. Теперь только ему могу я посетовать на мои незадачи:

Может быть, тебе тяжелей:
Столько глины, такой сугроб...
Только хочется крикнуть в гроб:
— Ты меня, меня пожалей!..

Дома наскоро, на клочке записываю, бумажку — в карман кофточки. Бегу по делам, в райком профсоюза, освобождаюсь рано. Куда теперь деться? Иду к Дине К. (она в городе, вышла, говорят, замуж). Супруг ее, молодой военный, ох — не хватает с неба звезд... Почему она? Потому что — Череповец, а одной тошно.

С той «простотой нравов», которая неотделима от безвкусицы и бестактности, Дина не стесняется меня, а муж сажает ее к себе на колени и не контролирует своих рук. Не знаю, что нестерпимее — поругание тайны, или ее обеднение до пошлости, или еще что-то, полоснувшее меня, как ножом, чего мне стыдно перед собой. Я встаю и ухожу, куда глаза глядят.

А на улице навстречу — Ушан. Уже темно, и мне кажется, он не заметил, как слезы сыплются мне на воротник. Он мягок и сдержан со мною. Идем мимо его квартиры, заходим к нему. Я задыхаюсь, и во всем моем мире сегодня только около этих людей есть для меня скупой глоток кислорода.

— ...Она их просто бомбардировала письмами. Она очень упорная. Требовала и требовала: переведите ко мне мужа! И ей пообещали.

Это он опять о Сарре. А я? А зачем-то читаю ему свои стихи. Не помню уже которые.

На стене портрет.

— Кто это? — спрашиваю я.

— Бебель,— отвечает хозяин.

Он собирается в баню и предлагает мне посидеть у него одной. Мне все равно, остаюсь. Мне не все равно: под этим потолком все-таки теплее, чем дома. Сижу и смотрю на портрет. Но не на Бебеля. На стене еще фотография череповецкой группы ссыльных оппозиционеров. На снимке их больше десяти, я знаю не всех. В заднем ряду — Шура, серьезный, с трагическим лицом. Нет, не Шура — студент Александр Афанасьев, 1908 г. р., статья 58-я. Он здесь — немой и не мой; в нем — ничего от того... Это снимок декабря двадцать восьмого года или января двадцать девятого, до меня. Но главное для него — его борьба; на самом деле он — такой, как здесь. И только с этой карточки переснимок и будет у меня потом храниться дольше полувека, невесело и строго смотреть на меня со стены.

Не забежал ли Ушан по дороге и не шепнул ли, что я здесь?

Вскоре приходит Афанасьев. Мне почти неприятно его видеть. Разговор ползет по земле. Как бы мимоходом он сообщает, что ему уже выдан железнодорожный билет.

— Поеду с провожатым, его подбирают. А я не возражаю: пусть на станциях за кипятком бегает.

Возвращается хозяин. Сидим втроем на диване. Ушан берет мою руку и откровенно ласкает ее. Афанасьев будто не видит. Но он замечает высунувшийся из моего кармана листок со стихами, о котором я совершенно забыла. Несмотря на мои протесты, вытягивает его, разворачивает и читает вслух.

Он встал, расхаживает мимо нас по крохотной комнатке и начинает пародировать критический разнос:

— Что за отсталый автор! Говорит с мертвыми, обращается к гробу... Пессимизм. Оторванность от действительности...

Обычное его остроумие изменяет ему, в тоне мало уверенности. Конечно, он шутит, но шутка тяжелая, неловкая, неделикатная даже. Я гляжу на него, не скрывая своей муки и упрека.

А он все ходит, снова вслух читает стихи и заучивает; повторяет, по листку проверяет себя. И опять шутит... Вдруг догадываюсь: да он смущен! Несколько потерялся, натолкнувшись на проявление моего горя. Да еще под всевидящим оком Ушана! Потому и шутит так неловко...

Выучив стихи, возвращает их мне и садится рядом со мною, слева. Рука его вдруг ложится на мою, и голос смягчается. Это он благодарит за стихи и печаль. Это он просит прощения...

С бессильной неуклюжестью взрослого, не умеющего обращаться с детьми, он ласково говорит:

— Ну, ничего, ничего... Мы еще новый год встречать вместе будем. Хотя меня зовут туда...

Зачем он это прибавил? Не удержался...

Идем вдвоем до моего крыльца.

Потом запишу в дневник: «Сказала Александру предсмертно прямо: приходите тридцатого, я буду в городе два дня. Мне очень скучно...».

56

Но до тридцатого, как-то в будни, прихожу еще по делам и, чтобы не сидеть вечер с мачехой, иду в театр. Какие-то гастроли. «Альбина Мигурская». Много музыки. И столько щемящих совпадений. Даже — больше, чем я знаю тогда... Ссыльные революционеры. Сломанная молодая любовь. Насильственная разлука. Нечеловеческие усилия Альбины. Гибель ее героя...

Я довольна, что со мною нет знакомых. Все акты пьесы я плачу напролет.

Врезалась в память последняя сцена: осужденная за свой подвиг Альбина медленно, гордо, обреченно идет в кандалах с партией ссыльных. Все она потеряла в жизни, впереди — чужая ледяная Сибирь. Печальным строем стоят вдоль ее пути заиндевелые деревья...

По дороге из театра думаю: Альбине Мигурской было проще решать. Ее дело — польское восстание — не вызывало у нее сомнений в правоте. Ее герой был героем этого дела. Ее любили, звали и ждали... Если бы у меня было место около человека и правой борьбы — разве б я медлила?

Но нет у меня места, кроме Дементьева. Как привыкнуть?

«Может быть, это в конце концов к лучшему,— осторожно заговаривает Другиня.— Порвать необходимо, и сама судьба помогает. Он уедет — и все основания не встречать никого, разойтись, раззнакомиться. Раз и навсегда...»

Врагиня хочет что-то добавить, но не смеет.

Я согласилась бы с этим, хоть и звучит где-то глухо укоризненный голос легендарного петуха. Согласилась бы, если бы что-нибудь еще осталось мне, чем дышать и за что хоть немного себя уважать. Ведь коснувшиеся меня события бесконечно ярче, полны мучительной, но живой жизнью, заставляют думать, спорить, искать... Словом — жить. А Дементьево? Представить себе его сейчас страшно: от юности и до конца... Задохнусь, умру, глаза выплачу!.. Может быть, и выживу. Но знаю ли я сейчас, что такое — *никогда* и *ничего* не услышать, не узнать о Шуре, даже ни с кем не поговорить о нем, кто бы его знал и что-то помнил?

«И не надо! — решительно говорит Другиня.— Зачем? Что это даст хорошего? И зачем ты им? Держись. Ты умеешь».

Ни за чем. Ничего не даст. Умею...

И мы решаем: положить конец всем моим предосудительным знакомствам. Дальше будет видно, как жить.

А по Советскому навстречу мне идет Сермукс. Очень обрадовался, очень приветлив и мягко внимателен. Обмениваемся несколькими фразами. Он говорит, что катается на лыжах.

— Приезжайте ко мне, в Дементьево! — от всей души приглашаю я и вся оживаю при мысли, что у меня, в моем волчьем краю, будет милый гость, интересная беседа и повеет летом, которое столкнуло нас.

«Что же ты делаешь?» — в ужасе, в одно слово вскрикивают голоса во мне. Делаю вид, что их не слышу. Мне нечего сказать им: я о них забыла.

Николай Мартынович благодарит, спрашивает дорогу — уговариваемся на четвертое или пятое января.

Возвращаюсь в Дементьево.

Опять замечаю в зеркале у себя надо лбом отдельные седые волосы. А ведь недавно выбрала их все.

...За серебряный блеск в волосах
Разве много взамен молю я?
Вот таких полтора часа
И замедленных три поцелуя...

Поэт проговаривается... Ведь в последнюю встречу, когда Шура заучивал мои стихи, Ушан великодушно потом ушел куда-то, на эти «полтора часа», а к нам, двоим, вдруг вернулось лето... Теперь оно приходило сразу, решительным порывом теплого ветра. И никаких, даже внутренних помех. Ибо их так много, что они тяжко оседают вниз, а мы, двое, через темный их провал неудержимо тянем руки друг другу...

57

Тридцатое декабря.

После занятий в школе, еще засветло, иду в город. Зимние перелески безлюдны. Серые сумерки подкрадываются и сгущаются. На горизонте прорисовывается неясный Череповец.

— А там ли еще?..— вдруг думаю я. Прошло десять дней. И еще двадцатого был выдан билет. Чего им теперь ждать? Невидимая ледяная вода поднимается во мне до горла. Впервые ощущение отъезда так реально, что от мгновенно опостылевшего города на меня катится волна сырого холода, как из раскрывшегося подвала.

Вхожу в свой дом. Проходит час, другой. Ничего не знаю. Могу и совсем не узнать, если послушаюсь Другини. Но ведь это же представить себе немыслимо!

Стук в дверь — Шура...

Тут же даю себе клятву быть веселой и добросовестно стараюсь. В комнате больше никого нет. Он подходит ко мне близко и рукой трогает гребенку в моих волосах. Все мое существо ухает в такую смертную тоску, что я завыла бы в голос от внезапной боли. Но нельзя, нельзя. Искус мой не кончился, и меня на него должно хватить...

Приходит Ушан. Садимся к столу. Ушан тоже читает какие-то стихи. Не помню их. Не слышу их. Мы сидим с Шурой рядом, и колени наши опять соприкоснулись. Он — вот он, здесь еще, так близко... Еще бы только не тикали часы...

Потом гуляем вдвоем по декабрьской улице. Может быть, уже завтра это станет невозможно. Стараюсь не думать так — и не могу. Приходит большая усталость — сказываются и десять верст бездорожья.

Идем к Ушану.

У меня легкий озноб, я простудилась еще накануне. Хозяин предлагает мне прилечь на его койку — с полу дует — и бросает мне на ноги байковое одеяло. Мы беседуем. Я лежу — мужчины сидят. Вскоре Ушан уходит в театр. Мы остаемся.

Шура болтает, шутит, брызжет мне на волосы одеколоном, оказавшимся на столе, садится ко мне поближе.

— Что вам подарить на память? Хотите карандаш?

Вынимает из кармашка пиджака наполовину исписанный тонкий голубой карандашик с металлической «пяточкой» и протягивает мне. Я беру, я очень тронута. Тихо трогает мои волосы.

— А что мне взять? Гребенку, что ли? — вынимает мою гребенку.— Нет, мне нельзя. Что мне там скажут? (Это — со смешной ужимкой.)

Возвращает гребешок в волосы.

В сумочке у меня лежит приготовленная карточка, но я никогда о ней не

скажу. Он достает из кармана книжку и читает мне вслух «Овальный портрет» Эдгара По.

В комнату заходит хозяйка квартиры — у нее здесь, на лежанке, посудина с опарой. Я остаюсь лежать — что мне сейчас все хозяйки Череповца, рядом с тем Огромным, перед чем я предстаю? Она уходит.

Рассказ Эдгара По кончается. На глазах художника, незаметно для него, медленно гибнет его любимая жена, после которой остается только этот овальный портрет. Мне не приходит в голову никаких сравнений. Параллелей здесь нет. Я не умру, не жена, и меня не любят. И портрета моего не сохранят. Но прекрасное слово поэта ложится цветком на этот вечер. Я благодарна: для меня выбирали новеллу. Не хотят ли дать мне точку опоры, напомнив о мужском эгоизме? Не знаю.

Шура откладывает книгу и набрасывает крючок на дверь. Прежде бы я оскорбилась. А теперь — нет. Всё, всё — мелочи перед Огромным.

Оказывается, мне еще раз суждено обнять мою Любовь. Держать ее, боясь оторваться, стоя с ней над обрывом перед моим одиноким прыжком во тьму.

Ни единого слова не говорит он, целуя меня. Не говорю и я. Только раз, в упор, одним длинным взглядом, торопясь, поведаю обо всем, что ни разу не названо — глядя снизу в склоненные надо мною карие глаза. Они не хотят говорить, только внимательно и нежно читают меня. Они любят меня сейчас немножко, но напоминают, что ничего уже нельзя изменить. Забрасываю обе руки ему на шею и закрываю глаза — наше прощальное объяснение закончено...

Потом я запишу в дневник: «Вечер, случившийся только для того, чтобы мне знать, что́ я теряю».

А тот вечер еще не кончается.

Тихо идем эти два квартала вверх, к Советскому от Пролетарской. Мягко светят фонари, зажигая искры в редко падающем снежке.

Шура тесно держит меня за руку, ласково прижимая мое плечо к себе. И вдруг раз или два, наклонившись, заглядывает мне в лицо, под край моей шапочки, так заглядывает, словно еще не кончилось лето. И тут впервые мне кажется, что можно еще сойти с ума...

58

Тридцать первое декабря.

Наступивший день изумляет меня: мне почти не тяжело. Я живу эти часы между двумя светильниками — Вчера и Сегодня вечером. Давно не была так спокойно уверена: сегодня увижу.

Утром у меня еще есть какие-то дела в учреждениях (тогда не было укороченного дня и даже новогоднего праздника). Хожу по отделам и кабинетам и замечаю вдруг, что путаю их, путаю двери, имена, вопросы-ответы...

Дома открываю тетрадь, Врагиня донимает меня плохими стихами. А Шура стучит в дверь и входит.

Вечереет. Идем к Ушану. Хозяин оживлен, приветлив. Возникает разговор о политике. Зельман Израилевич говорит Шуре:

— После ноябрьского пленума ЦК я могу сказать, что между нами и ЦК нет серьезных расхождений. Я мог бы подписаться под этими решениями...

Интонация его бодра и полемична. Он стоит, закинув голову с характерным, несколько хищным профилем, и смотрит на Афанасьева своим «прямым» глазом, готовый к отпору и к выражению солидарности. Но Шура молчит с довольно безразличным видом, словно устал от этих разговоров, хоть и не поколеблен ими. Даже я понимаю, как не вовремя сейчас говорить ему о «капитуляции». Он завязывает еще более прочные узы с оппозицией, переезжая к Сарре.

Ушан садится к радиоприемнику и ловит Москву. Мы все замолкаем.

У меня опять усиливается озноб, и меня укладывают под одеяло. Потом мужчины договариваются, что Шура сходит за Кафтарией (или кем-то другим? В заметках — неясно...).

И едва он уходит, Ушан совершенно утрачивает власть над собой и кидается ко мне. Он просто звереет. Он решителен, откровенен и груб до безобразия. Он отвратителен мне до такой степени, что от презрения к нему я даже не боюсь, хотя сначала мне и не вырваться. Я только прихожу в ужас от всей гадости, тоски и обид жизни, остающейся мне без Шуры. Переполняюсь выше краев горем и протестом и внезапно прорываюсь такими рыданиями, которые потрясают меня всю. Слезы мгновенно заливают лицо мое, шею, подушку... Ушан вскакивает, пораженный.

— Что вы, что вы! Что с вами? Я же не думал... Я не хотел обидеть. Я просто не знаю, что со мной... Здесь жарко. Успокойтесь! Простите меня.

Отворачивается, вытирает лоб платком.

Я боюсь лежать, встаю и сажусь на стул, стараясь унять дрожь. Возвращается Шура. Он что-то замечает. Мы еще не успели овладеть собой, и я не разговариваю с хозяином. Шура внимательно вглядывается в меня и ни о чем не спрашивает.

Кафтария, должно быть, не пришел — я не помню никакого четвертого с нами в этот вечер. Хозяин усаживает нас на топчане и разливает вино по рюмкам.

Я сижу тесно рядом с Шурой, напротив меня на стене часы с гирьками. Стрелки поднимаются вверх, словно заламывают руки.

Минует полночь. Тысяча девятьсот тридцатый успел увидеть нас вместе. Мы выпили. Ушан запевает, я присоединяюсь.

> Стонет сизый голубочек,
> Стонет он и день, и ночь:
> Его миленький дружочек
> Улетел надолго прочь...

Шура молча слушает. Кто знает, о ком он думает сейчас? Я пою ему о себе. Еще мои это минуты. Но все кончается, кончаются и они.

И снова тихой морозной улицей идем мы к Советскому. Лежит свежий снег. Шура держит мой локоть, идет медленно. Мой «вынос»... Я тихо оглядываю дома и столбы вдоль нашего пути: посмотрите на нас, дома и столбы, мы в последний раз вместе!

Мое крыльцо, припорошенное снегом, привычно встречает нас тишиной и тенью навеса. Посмотри на нас, крыльцо, ты больше не увидишь нас вместе!

Сколько ни стой, сколько ни разговаривай,— прощанье придет, своего часа дождется. Я почти слышу его шаги. За ним тяжко ступает последняя минута. За нею еще тяжелее глухо топочут, толпятся какие-то пустые и черные часы, недели, месяцы... Что и годы, я еще не верю, не в силах представить, и это меня, быть может, спасает — я бы не вынесла.

Шура целует меня долго и нежно. А я все гляжу, расширив глаза: ведь он еще здесь! Напряжение мое растет. Начинаю крупно дрожать. Он берет меня за плечи, пытаясь успокоить:

— Ну, не надо, Нина, не надо... Будете мне писать? — спрашивает он.

— Не знаю. Не буду... если смогу,— вырывается у меня неожиданно. И так же неожиданно для себя я сама высвобождаюсь из теплых рук, отступаю в черный провал коридора и берусь за дверь, чтобы ее запереть. Шура, не отводя глаз от меня, отступает к ступеням крыльца, в новый снежный январь...

Наверное, около трех ночи...

И в пять утра — совсем еще ночь. Потеплело. Крыльцо скользкое. Валит густой снег. Сквозь него едва желтеют мутные огни железной дороги. Привычно поднимаюсь на насыпь, спрямляя путь. Неподвижны в густом тумане черные вагоны, сцепленные в тяжкие плети,— концов не видно. Привычно смотрю вдоль линии, прицеплен ли паровоз — не разглядеть. И с облегчением соображаю, что теперь это все равно, неважно. Ничего не жаль, если вагоны тронутся. Не спеша ныряю со своей корзинкой в руке под темные остовы — один ряд, другой, третий. Они не шелохнулись, как большие животные, спящие стоя. Спускаюсь с насыпи. Ни единого фонаря. Дорогу разбираю только в слабом свечении снега. Миную кладбище. Спускаюсь в овражек, совсем неясный, занесенный до половины. Оступаюсь, падаю навзничь. Не-

сколько секунд лежу, бессильно плача. Борюсь с желанием остаться, уснуть и не встать больше...

«А дети? — тихо говорит Другиня.— Они же придут к девяти. У тебя рабочий день сегодня».

Встаю и иду дальше. Падаю еще где-то раза два. Но прихожу к сроку. Настасья Михайловна ждет меня с чаем. Ластится Рыжик. Собираются дети. Провожу все уроки, как обычно. На переменах ухожу в комнату и стою у окна, прижимая к щеке голубенький карандашик. С моего холма, далеко по краю горизонта, верст за пятнадцать, видно, как идут поезда на восток — торопливые черные гусенички и пышный белый дым.

Вечером назначена спевка. Хористы собираются — провожу занятие, как обычно.

Настасья Михайловна заставляет ужинать.

Спасительно каменный сон, как под наркозом, переносит в следующий день, а день медленно и методично подминает меня под свое неуклонное деловое колесо. Я все как-то не могу опомниться, даже не плачу.

Пятого января в сумерки приезжает ко мне на лыжах Николай Мартынович. Он очень легко одет, продрог. Очень рад мне. Я оживаю, хлопочу о сухой обуви, ужине. Мы сидим с ним за чаем в моей комнате. Горит керосиновая лампа. Смотрит в окно непроглядная зимняя ночь. На коленях у меня мурлыкает Рыжик, поглядывает на гостя, словно со мною вместе ждет от него чего-то.

Николай Мартынович поднимает на меня глаза, внимательно смотрит сквозь очки, чуть склонив голову набок, и говорит:

— А Шура уехал...

Я просто молодец. Я улыбнулась:

— Да?

— Второго числа...

«Ну, да,— зачем-то соображаю я,— провожатый встречал Новый год и первого должен был выспаться...» Пытаюсь и не могу вспомнить поезд, пробежавший за окном второго января. А беседу продолжаю непринужденно. Обманула: вопросительная напряженность взгляда гостя ослабела. Он занялся чаем. Я поглаживаю котенка и добросовестно отвечаю на реплики. Проходит, может быть, и час. Так мне кажется. Но я не совсем молодец. Я уже давно повернулась плечом к лампе, чтобы Сермукс не видел моего лица: по нему неудержимыми ручьями текут слезы. Прилагаю все усилия — не повторять себе слово «уехал». И этого не могу. Еще не в силах вдуматься в него и навести его, как темное стекло, на все остальное. Но одно звучание прошедшего времени доводит меня до безумия. Я еще не свыклась с тем, что — уедет, я опоздала приготовиться...

Силы мои иссякают. Без объяснений — или, кажется, бросила: минутку! — вскакиваю, роняя котенка с колен, убегаю в комнату сторожихи — валюсь на ее постель. Она потом тихонько входит, уговаривает, отпаивает водой, а я твержу ей одно: *уехал*! Она заставляет меня встать, умыться, вернуться к гостю.

Сермукс смущен и озадачен. Я усыпила его подозрения, просидев этот час, и он теперь гадает — что со мною? Прошу у него извинения, говорю, что у меня много неприятностей и иногда мало сил.

Мы беседуем до позднего часа. Гость бесконечно тактичен и участлив ко мне. Утром целует мою руку и уезжает.

Часть III
1930 ГОД

59

Зима...

На этом кончаются мои «заметки».

Помочь уложить дальнейшее во времени с наименьшими ошибками может только тетрадь со стихами — там есть даты. Они достоверны.

Зима тридцатого года.

Вот в январе я прихожу в город. Он не только пустой и скучный. Постылое с неостывающим перемешалось в нем в такую адскую смесь, что ни прозе, ни даже стихам рассказать о том не под силу — так кажется. Высовывает голову, мучит и сбивает это неуемное: не может быть, чтобы — все! Где-то, как-то, что-то должно ждать меня, но город хохлится, хмурится, посыпает солью по свежесодранной коже...

Выдумываю себе задачи. Должна же я узнать что-нибудь о подробностях отъезда, короче — должна кого-то увидеть. Адрес знаю только Ушана. Превозмогаю антипатию, иду к нему.

Нет, ничего мне нет, никакой записки. Нет и подробностей.

Ушан, оказывается, «капитулировал», подписал отказ от оппозиционной платформы и ни с кем не встречается. Уже получил разрешение на выезд домой, в Москву.

Ушан уезжает завтра. Я прощаюсь.

Возвращаюсь в Дементьево. Оно кажется еще непереносимей, чем город. Особенно окно. Особенно вечера. Разболелись глаза, трудно работать. Считаю дни. Зачем? Не знаю...

Проглочен кусок. Пуста,
Забыта моя сума.
Четырнадцать дней поста!
Возьму и сойду с ума...

Все чаще возникает ощущение непонятной, космической катастрофы. И как при катастрофе приходит смелость стучаться ночью в чужой дом, так наваливается несуразное и властное: написать ему! Что мне больше так нельзя! Он что-то придумает, мы же не в ссоре, он же добр ко мне, вообще добр...

Возьму и скажу: вались,
Голодная вялость рук,
На четырехугольный лист,
Скажи ему, что умру!

Встречаю в городе Сермукса. Рада, как родному, как единой живой душе окрест. Плохая погода загоняет нас под крышу. Он предлагает мне зайти.

— Вообще, Ниночка, вам лучше не показываться со мною в городе. И если встречаемся случайно — вы напрасно подаете мне руку.

Я ценю его заботу, но все это как-то маловажно. Не дает дышать другое: я так ничего больше и не знаю и не слышу о Шуре. В конце концов, я, может быть, знаю о нем много меньше, чем случайные его товарищи, и не знаю чего-нибудь важного? Но нужно показать, что мне — все равно... И я деланно спокойно, просто небрежно спрашиваю:

— Николай Мартынович, а Шура был женат?

И вдруг — длинная пауза.

Вот когда я попалась. Собеседник умен и дружески привязан ко мне, поэтому — чуток.

— Сперва скажите: вы это равнодушно спрашиваете?

Опять длинная пауза. Жаль, что его ответ поставлен в зависимость от этого вопроса: я могу не все узнать. Бесполезно пытаться обмануть его.

— Нет,— говорю я коротко и обреченно.

Сермукс с минуту подбирает слова.

— У Шуры была в Москве неоформленная связь. Он не считал это браком. Она разыскала его, добилась перевода... Теперь, возможно, это будет брак.

В течение нескольких дней не узнаю себя: мне, кажется, больше не больно... Так глубока онемелость от удара новостью.

Недели две нет даже стихов.

Другиня моя оживает. Мы с нею выписываем журнал «Готовься в вуз», «Литературную газету». Мы приходим к выводу, что все мои умственные коллизии идут от политической малограмотности. Раздобываем в профсоюзе путевку в заочный московский комвуз имени Свердлова и посылаем заявление. Покупаем книги. Теперь и Другиня пишет в мою тетрадь лихие стихи, поигрывая аллитерациями:

Музыка метра!
Мимо мозаик мук!
Прошлое шапкой машет...
Мимо! К мембране мысли —
Шагом марш!

Почерк записи скверный — значит, мне уже сразу не нравится.

Это февраль.

И тут выскакивает на мою дорогу Черная кошка.

Вызывают в райком союза. Товарищ Корелова, молодая, красивая, преуспевающая (в будущем переберется в Ленинград, в обком союза), строго смотрит на меня и ставит в известность:

— Мы послали в Москву отношение, что лишаем вас путевки в комвуз. Нам известно ваше неподходящее знакомство...

Дослушав, ухожу, не сказав ни слова. «Знакомства» давно уже нет. Все кореловы на свете не придумали бы мне казни горше, чем я несу, а им все мало.

Комвуз или не получил «отношения» или не посчитался с ним — задания мне прислали, я начинаю заниматься. Политэкономия...

Но Кошка не одна.

Приходит письмо от брата: порывает со мною отношения, писать не будет, до него дошли сведения... Понятно, что сведения довели, ему предложили, он военный. Но от этого не легче, а может быть, и тяжелей: как я разберусь в жизни, если все больше кореловых?

Минует второе февраля, годовщина встречи в редакции.

Год тяжко поднимается на неуклонный рельс напоминаний, год-копия, плохая, первая из стольких потом. Февральские запахи, предвесеннее дыхание природы будят смертный голод по счастью, кричат о его вещности и его гибели.

И я проваливаюсь в такой омут отчаяния, что и теперь вспомнить страшно. Даже снова смотрю в окно. Даже снова пишу стихи. И пою-пою вечерами свои и чужие песни:

Не брани меня, родная,
Что я к городу гляжу.
Я и так изнемогаю,
Я и так с ума схожу...

60

Весна.

В воздухе теплеет. Подтаивает.

В Чере́повце весна. Желтуха тротуаров.
Чуть пахнущий оттаявший навоз.
На ржавых вывесках огни весенних слез.
Глубокие зрачки у каждой встречной пары...

Раскачиваются все мои опоры. Сгораю от гражданского стыда за себя. Пишу самообличительные стихи, но...

Что в мозгу ворочается?
Голос в голове чей?
Нестерпимо хочется
Ласки человечьей...

Это уже март. А он, с его милым запахом сырого снега, так говорящ... С ним шутки плохи.

И на мою беду, вдруг как-то в городе навстречу — Кафтария. Вот уже идет, прихрамывая, со мною рядом, мило беседует, спрашивает:

— Пишете Шуре в Бийск?

— Нет.

— Ну, что вы. Напишите.

Прощается.

— Запомните адрес: Барнаульская, двадцать шесть.

Забыть скорее, не записывать!

Иду в Дементьево, веду уроки. Перемена. Барнаульская, 26. Вечером собрание в совхозе, веду протокол. Барнаульская, 26. Поздний вечер дома. Потемневшее окно. Толща тишины. Барнаульская, 26.

Не знаю, кто подсовывает мне чистый лист бумаги. Делю его пополам вдоль, разрезаю. Пишу, как свиток...

Пишу! Врагиня высовывается: «Дай понять, что читаешь, занимаешься, назови книги — пусть не думает, что ты такая тут пошехонка!» — «Сделаю, отстань...»

О, стоило заговорить с ним! Теперь, когда столько накипело. Когда не смотрят на меня эти сдерживающие насмешливые глаза... Нельзя многословно. Отобрать немногое из бездны того, что хотелось бы сказать.

Сохранился крохотный листок бумаги с планом письма. Не того ли, первого? Очевидно, хотелось написать «о карандаше, о жалкости, о „фразах“, о пустой школе, неделе и воскресенье, об университете (каком это?), совхозе и коллективизации, о стакане воды (о, Врагиня, Врагиня!), об ошибке»... Плохо помню, что, а главное, как написала.

И уходит письмо.

Расстояние огромно. Ответа ждать долго...

И вдруг всего через неделю — открытка. Знакомый почерк! Письма разминулись... Он написал сам! Подождать бы еще немного Но главное было — *как* написал...

Принесли перед большой переменой. Взяла я открытку и прошла в комнату. Первые же строки обдали таким холодом и кипятком стыда за себя, что я едва смогла захлопнуть дверь в кухню. Пробежала глазами до конца весь этот ироничный, насмешливый пустячок, нарочито поверхностный, шутливый, словно сделанный под будничность, повседневность, заурядность случая... И в том же духе, между прочим, фраза: Кафтария пишет — видел Нину, она очень «переживает»... Как?! Разве я не была с ним ровна, спокойна? Но самое главное: такой исчерпывающий, точный, хоть и нечаянный ответ на мое ненужное, напрасное письмо и на все...

Грохнулась я головой на стол, забросила вперед руки и забилась, сдавив дыхание, чтобы кто не вошел на звук...

А в комнате оказался Рыжик. И удивил, и тронул он меня тогда — никак не забыть. Он вспрыгнул на стол. Я этого не заметила. Стал ходить вокруг моей головы, осторожно переступая через руки и ласково подмурлыкивая грудным голоском. Я тоже не поняла, хоть и слышала. И тогда кот вытянутой мордочкой стал подталкивать меня под щеку, под лоб, под висок, не переставая в чем-то уговаривать вслух. Вот эти мягкие толчки я и заметила: явно, настойчиво пытались поднять мою голову со стола... Ну, я и подняла ее, а Рыжик спрыгнул мне на колени, положил передние лапки мне на ключицы и терся шелковистой головкой о мою шею справа и слева, справа и слева... Уговорил. Я смогла встать, вытереть лицо, походить по комнате, выйти после звонка в класс...

Пришло и письмо-ответ. Оно было серьезнее, но шло мимо главного. Шура объяснял свое долгое молчание: перенес тяжелое нервное заболевание, лежал месяца полтора. Это как-то стра́нно совпало с «медовым месяцем». Вряд ли сразу по приезде были у него серьезные неприятности. И был он в Череповце такой живой и крепкий.

Впоследствии об этой его болезни рассказала мне его сестра, со слов Сарры. У него случились мучительные приступы невралгии, с подергиванием лица. Он даже кричал. Вызывали медицинскую помощь ночью. Врач недовольно буркнул Сарре:

— Вызываете врача, а больной улыбается...

А это были судороги мышц. По уходе врача боли возобновились...

Теперь я думаю, что в непривычном климате, приехав туда зимой, на режущих сибирских ветрах и морозе он застудил тройничный нерв. А это заболевание — не шутка.

Его вылечили. И я опять позавидовала Сарре: ухаживать за ним...

В письме-ответе сбоку приписка: «Почему в письме так много литературы?». Опять подвела меня Врагиня. Но хотелось спросить: а чего там еще много — он заметил?

Кажется, все уже ясно, ясней, чем прежде, ясней нельзя. Но опять есть пища для ожидания: можно смотреть в другое окно — ловить приход почты. Можно жить от письма до письма. Меня не забыли. Жизнь впереди длинна. Кто знает, какие еще ждут его разочарования? Правда, у Сарры крепкая хватка. Ведь даже удивительно, улыбнуться можно: мне, свободной, оказалось невозможным добиться того, что отвоевала себе заключенная, да еще политическая! И ведь ее не искали... А как искали в Череповце меня!

Приходят обычно открытки. На открытки перехожу и я. Не могу сдержать желчного тона. Со стороны это кажется бесцельным растравливанием. Но я гляжу изнутри — живу этими открытками, как недавно жила человеком.

Очень уж беспощадна весна с ее солнцем и молодой порослью. Помню одну свою дорогу в город зазеленевшим болотцем-леском, полным птиц. Иду и думаю: ведь вот же хорошо-хорошо кругом! А мне плохо-плохо, и именно от этого сияния все хуже.

По дороге нагоняет меня крестьянка на повозке, предлагает подвезти. Сажусь на край телеги. Разговор плетется не быстрее ее коняги. Но что-то чувствует она, видно, своей многострадальной мудростью русской бабы и тихо говорит:

— Вслух-то слышно только радость, ее и видим. Горе молчит да прячется. А стало бы оно на виду — весь мир бы и залило. Столько его за молчаньем-то нашим живет...

Она права, мне это запомнится.

А Сермукс был у меня зимой на лыжах еще раз. Иногда захожу к нему в городе и я. Многое теперь узнаю о его жизненной трагедии. Мы с ним несколько откровенны — взаимное доверие двоих безмерно одиноких людей.

Делюсь с ним своим намерением больше знать, особенно в общественных науках. Он указывает на книги Плеханова. С большим интересом читаю «К развитию монистического взгляда на историю», еще что-то.

— Ниночка,— говорит он мне как-то позднее.— А вы замечаете, что я вас никак не «агитирую», не переубеждаю в чем-либо? Вы сами потом разберетесь... А я просто знаю, что история придет к правде. Она придет к нашей истине, я в этом не сомневаюсь...

Я помню его лицо в эту минуту — худое, бледное, серьезное, спокойно уверенное, без тени полемического озлобления.

Позднее он мне подарит книгу — лекции Павлова о работе больших полушарий головного мозга. Надпишет: «Моему дорогому другу — к материалам для фундамента мировоззрения».

Много рассказывает о себе.

Он не успел жениться, был целомудрен, теперь очень тоскует... В Латвии у него осталась невеста. Показывает фотографию. Красивая девушка с длинными косами и правильными чертами лица спокойно сидит в кресле, в фас к зрителю. Ни имени, ни адреса ее в Риге я так и не услышала и никогда не смогла рассказать ей о дорогом человеке. А тогда Латвия была за границей. Девушка, однако, писала ему вот уже более десяти лет.

И где-то там же, на деревенской ферме, все еще работала его полуслепая восьмидесятилетняя мать. Он обожал ее и очень страдал оттого, что не может ей помогать. А она писала ему умные, мужественные письма, без жалоб и уныния...

Но одна тема наших разговоров пресекалась им с первого моего слова. О Шуре. Только спросил вначале, не ждут ли меня вероятные в такой истории осложнения жизни. Рассказала всю правду. И он стал бережно отклонять мои мысли в сторону будущего и сознания бесповоротности того, что ушло. Не давал мне ни вспоминать вслух, ни спрашивать, ни жаловаться.

— Вы станете разматываться, как клубочек, я знаю... Не надо...

Но по моей просьбе он заказал переснимок Шуры со своего экземпляра групповой фотографии. И только благодаря великодушию Николая Мартыновича у меня есть Лицо Шуры.

Сермукс много занимался вопросами текущей международной политики, особенно Востоком — Китай, Индия; критиковал печать за дезориентацию читателей. Показывал мне заголовок центральной газеты: «Индия в огне».

— Читающий подумает, что восстание против Англии вот-вот вспыхнет и победит. На самом деле это будет еще не скоро...

(Вспомнила я это уже после Отечественной войны, когда мы приветствовали независимую Индию.)

...Я решила заниматься немецким языком, попросила его помочь. И мы с ним переводили письма Розы Люксембург, мужеством которой он восхищался.

Он спас меня от удушья бездуховности, в которое я обрушилась с начала года. Я тоже, видимо, чем-то согревала его существование. Он был со мною нежен, именно как сорок тысяч братьев. И иногда еще нежней... Но уважение ко мне не оставляло его никогда, и я испытывала полное доверие. Однажды, когда он особенно этого заслуживал, я сказала ему:

— Какой же вы хороший человек!

Он очень взволновался:

— Ниночка, повторите мне эти слова, ну, повторите!

Не повторила почему-то. В другой раз сказал:

— Я не хочу вам новых огорчений, Ниночка. Вы можете привыкнуть ко мне... Я знаю, впрочем, что ваше доброе ко мне отношение связано с тем, что я знакомый Шуры, так сказать, однокашник, собутыльник...— он улыбнулся своей шутке (они в том году обедали вместе, в складчину).— Но все-таки хочу, чтобы вы помнили, что у меня есть невеста...

Я оценила и великодушие его слов и полную их ненадобность для меня.

А Другиня моя была очень огорчена; пилила меня вполголоса, но твердо вмешалась только один раз: нельзя приносить письмо — это пособничество в установлении связи между... и т. д. А дело было вот в чем. Шура в одном письме написал: «Если увидите Сэра, передайте ему: я понял, что был во многом неправ, немало там наглупил — и теперь жалею».

Ну, как было не порадовать человека?

Я рассказала о письме.

— Повторите, пожалуйста!

Повторила.

— Вы не захватили письма?

— Нет.

Он не попросил об этом. Был обрадован и взволнован.

— Я знал, что он придет к этому. Там ему помогли понять. Там люди думающие...

Что-то мне подсказывало, что разногласия группы в Череповце были связаны с напористой и приземленной позицией Ушана. Заметила раз, что напоминание о нем неприятно Сермуксу — он отмахнулся легким движением кисти с гримасой презрения.

...А мои письма к Шуре писала теперь почти одна Врагиня. Удивляюсь, как ему не наскучило ей отвечать. Вот пишет она о том, как мне «живется» с оставшимися его товарищами: «Иногда встречаю. Дядя: только ни слова жене — она много выстрадала. Сэр: помните, что у меня есть невеста...».

Шура отвечает возмущенно: «Что за позиция Сонечки Мармеладовой?».

Отвечаю: «Ничего не случилось (ваше выражение)»...

Приходит апрель.

Шура пишет: «А Маяковского жаль очень».

Мы с Врагиней и тут не пропускаем случая: «Да. В этой жизни помереть нетрудно. Делать жизнь значительно трудней».

...А по тридцатому году, не задерживаясь, идет весна.

И пишет Врагиня скверные злые стихи. Пишет Другиня прокурорско-гражданские стихи, тоже плохие. А я не выношу вида щедрой русской весны, не выношу ликования праздников и солнца.

И кто догадается
Под знаменами мая,
Что во мне увядает сад,

Что за гробом шагаю;
Что по пыли волочится
Кровянистый обрубок
И все с кем-нибудь хочется
Быть жестокой и грубой?

61

Лето. В мае закончились занятия в школе. Я снова в Череповце, с мачехой.

Что и сделаю с собою?
Снова плакала сегодня:
Утро новое, другое
Остро пахнет прошлогодним...

И опять высунула голову Черная кошка.

Вызвали в роно. Там ждал меня невысокий блондин в синем костюме, вежливо спросивший, свободна ли я, чтобы пройти с ним.

— Куда?

— Тут недалеко...

— Свободна.

Идем вдвоем по улице Ленина. Он не хочет разговаривать, идет на шаг впереди.

— Уж не в гэ-пэ-у ли вы меня ведете? — шучу я.

Спутник мой не отвечает и сворачивает к... ГПУ. Мне выписывают пропуск к... Ягодкину. Думаю же я в эту минуту о том, сколько раз в эти двери входил Шура и как хорошо помнит его человек, с которым предстоит мне говорить. В подсознании я давно готова к такому приглашению.

Когда меня вводят в кабинет, где посетитель рассчитанно поставлен лицом против света, то за столом я вижу того, кто меня сюда и привел. Он, оказывается, сделал это лично.

И — разговор:

— Ну что, скучаете о вашем муже?

Я отвечаю спокойно, что вообще летом скучновато сейчас — все разъехались. Не приходит в голову схитрить: о каком это муже? Понимаю, о ком... Удивляюсь неуклюжему слову, но отношу его к бедности речи: не знал, как назвать.

Еще несколько фраз, и опять:

— Пишет вам ваш муж?

Тут в его тоне что-то такое откровенно фальшивое: ведь он-то хорошо знает, что сегодня это уж никак не мой муж! И вдруг как резанет по сознанию боль и стыд догадки: это же он умышленно, ему нужно выяснить... Я багрово краснею, вскрикиваю:

— Да не было, не было же этого! — и прячу лицо в ладони, чуть не плача.

Мне дают успокоиться, предлагают сесть.

Дальнейшее помню в отрывках.

— Вы знаете остальных?

— Некоторых.

— Бывали на собраниях?

— Нет, ни разу.

— Вы собирались поехать куда-то зимой?

— Нет.

— Вспомните.

— Ах, я уже забыла: Ушан приглашал в Москву, да я не поехала — была занята на конференции.

— Пишет он вам?

— Нет.

— Получаете письма от Афанасьева?

— Да.

— Есть там что-нибудь о их группе, их намерениях?

— Нет.

— Может быть, забыли? Может быть, будете показывать нам его письма?

Я про себя думаю, что все эти письма — в их руках. К чему же это лицемерие? Начинаю злиться.

— Если я узнаю, что они затеяли взорвать мост через Ягорбу, то приду к вам среди ночи.

— Ну, не мост, а что-нибудь иначе. А вы не будете против показать нам письмо Афанасьева, когда оно появится?

— Нет (чуть не прибавила: все равно вы прочтете его сами!).

— Вот придет письмо, и принесите! Придете?

— Нет, не приду.

— Почему?

— Потому что не будет в письме ничего для вас интересного. Со мной не делились планами, я не в курсе дел группы. Тем более это останется так и теперь.

— А если мы вызовем вас?

— Ваше право...

Дальше в добром тоне — вопросы о моей работе, школе. Я отвечаю, что работать можно. Чего я хотела бы еще? Отвечаю, что — хорошо бы поближе к городу, мне далеко ходить.

— Хотите работать в Носовском?

Это село на моей дороге, ровно на половине расстояния между городом и Дементьевым. Я не успеваю подумать «со стороны» и говорю, что, конечно, хотела бы работать в Носовском: там большая школа, есть другие учителя.

— Мы поможем, вас переведут...

Мне подписывают пропуск на выход.

Иду домой. Что-то скребет по сердцу — не могу понять, что. Что-то было не так, как надо бы, хотя отвечала заведомо известное им... Потом начинаю понимать: да ведь меня покупают! Это не просто участие к молодой учительнице. Я же буду теперь в долгу. Так получается, что за перевод в Носовское я даже продала Шурины письма! Продала все же, хотя их берут и даром...

Такое не улучшает настроения.

К тому же вскоре приходит от Шуры, как нарочно, большое письмо. Досадно, что там есть имена: вспоминает Павлика, еще кого-то. Читаю со страхом, с Ягодкиным за спиной... Всегда высчитывала сроки прихода писем, знала их точно, а тут даже череповецкий почтовый штемпель — трехдневной давности! Не дали себе труда сделать тоньше... Теперь зато знаю точно, что письмо «вызывали» туда же.

Через два дня меня опять вызывают.

Почему-то оставляют одну в комнате. Мне все противно и все равно, я опускаю лоб на край стола. Потом соображаю: на меня, возможно, смотрят в какую-то дырку. Ну, и пусть. Они знают, и я не прячу, что мне тошно...

Опять Ягодкин. В военной форме.

— Было теперь письмо?

— Да.

— Принесли?

— Нет.

— Почему?

— Я его хорошо помню.

— Расскажите, что там...

Рассказываю все «в общем и целом». Он начинает крутиться на стуле — ему нужны имена, а нельзя же показать, что он брал письмо с почты. А мне нужно доказательство именно этого — и я ужасно злорадствую про себя, просто веселюсь!

— Ну, что там есть еще?

Я наскребаю «еще», по-прежнему умалчивая об именах.

— Ну, а нет ли там каких-нибудь имен?

Больше мне ничего не надо, говорить можно.

— Есть...

— А это не тот, который учится в техникуме?

Я понимаю, что имеют в виду Сашу Крылова, очень рада, что это не о нем.

Так и говорю — не о нем. Павлика жаль, но ведь мы ездили к нему летом вдвоем «с разрешения», значит, и здесь я ничего для них не открою...

Меня отпускают.

И здесь, видно, ждут, что я хочу отомстить...

Вскоре приходит из роно сообщение: меня вызывают в село Носовское на педсовет...

Яркий июльский день. В голубом платье и соломенной шляпе с фиалками — почему-то помню это — иду я по знакомой дороге к насыпи. Бесконечно противно мне теперь это Носовское, «незаконное», нечистое... И все уже решено, это — работа, это — люди, куда-то уже передвинутые, может быть, из-за меня. Нельзя же играть ими в мячик...

Позднее встретила Ягодкина на улице, он поднимался к Советскому, к зданию банка. Меня явно узнал. Приготовилась поздороваться, но он отвернулся. Поняла: знакомство наше — отнюдь не светское.

А Врагиня уже подталкивает под локоть: напиши в Бийск, пусть знает, как из-за него... В письмах я ей всегда уступала. Написала и опустила открытку прямо в почтовый поезд на восток. В открытке было сначала что-то другое, тоже невеселое. А дальше: «но это еще все цветочки, а ягодкин впереди: скучаете о вашем муже?..» Шура, конечно, должен был оценить мою находку, но сказать об этом мне не мог. Если получил, впрочем. Было какое-то у меня в том сомнение, а с другой стороны, он, помнится, отвечал на часть содержания этой открытки.

Вышло так — почему, об этом ниже — что я больше ни разу не увидела Ягодкина, ни в его кабинете, ни на улице. Но помнила о нем всю жизнь. И не только потому, что всегда была готова к Черной кошке и не раз видела ее издали перебегавшей чужие дороги, но и потому, что он мог и не сделал мне незаслуженного зла. А мог бы думать в духе своего времени, что и обязан его сделать. Как ни трудно мне было тогда, как ни неприятно это воспоминание, но не могу упрекнуть череповецкого «начальника» ни в грубости, ни в заведомой бестактности, тем менее — в мучительстве или преследованиях. Может быть, для такой «методы» еще рано было — 30-й год. И хочу думать, что это уже не при нем, не при Ягодкине, оборудовали в Череповце звукоизолированную камеру для допросов. А это было. Много лет спустя спросила я о нем, но никто его уже не помнил и не знал, где он и как окончил дни...

62

А лето текло, колючее, неуютное.

> Не бульвар отпахнул свежим вевиком,
> Не поблекла летняя жара —
> Я сижу безвольным неврастеником
> На пустой скамейке вечера...

Попала я на прием к невропатологу.

Он был молод, но очень неглуп. Смотрел на меня больше, чем спрашивал. Ни одного вопроса о личном. И посоветовал: поехать куда-нибудь в другие места, рассеяться, сменить обстановку...

Захожу во Дворец труда, где когда-то пела в хоре. Продают путевки: пароходом до Рыбинска и назад. Покупаю две и бегу к Тамаре (она уже дома). Предлагаю план: от Рыбинска пароходом до Астрахани, назад можно и поездом. Тамара ехать согласна, но отпускные деньги ее уже истрачены. Предлагаю мои, 150 тогдашних рублей. 20 рублей добавляет нам Прасковья Ивановна. Справляемся о стоимости билетов: она меньше этой суммы. Остальное — неважно — едем!

Тамара от кого-то слышала, что болен Мишка Орлов, лежит в больнице. Иду навестить. Ведь у него в городе тоже никого нет.

Он выздоравливает, рад мне. Сидим в садике. Смотрит на меня испытующе. Болтаем. Через неделю встречаю его уже на улице. Мишка опять сосредоточенно, пронизывающе смотрит. Потом говорит:

— Я ведь знаю, что тебе учиться дальше хочется, хоть ты еще и не отработала двух лет за стипендию. Так вот скажу тебе: в Ленинграде открывается новый педагогический институт. Теперь не успеют полностью набрать студентов, и учителей будут принимать без экзаменов. Если сумеешь отвертеться в роно от школы — подавай заявление. Адрес я тебе скажу. Я уже подал...

Гляжу на него, не помня себя, заранее не веря в удачу, но возрожденная к жизни одной лишь искрой надежды. А Мишка не дает мне ни отдыху, ни сроку:

— А пойдем, Иванова, за меня замуж! А? Не пойдешь? Ты подумай... Ну, ладно, записывай адрес института и что надо приложить...

Почему тогда было все так угловато-нескладно? Даже доброе отношение не проявлялось в людях теплом и вниманием, не скрашивало жизнь, не поднимало душу? Только колючих противников чувствовала я, пока училась. И ведь в голову б не пришло...

Спешно собрала документы и отправила.

В конце июля мы с Тамарой уехали путешествовать — по плану, который в целом вполне осуществили. О бытовой стороне поездки стоит упоминания только то, что в целях экономии мы взяли с собою мешочек черных сухарей; на пароходах брали обед один на двоих и — через день, спали на голых полках (и без подушек!) в «последнем» классе, но были бодры и довольны. Доехали до Астрахани и тем же пароходом вернулись до Сталинграда, где решили сесть на поезд. Узнали: только что объявлена надбавка на билеты... Нас все же хватило и на это испытание, и, просидев день в Москве и день в Вологде, мы привезли в Череповец оставшиеся, «лишние» двадцать рублей!

Поездка была очень интересна. На захватывающую красоту русского августа, песенной Волги, златоглавых древних городов я смотрела с неослабевающим вниманием, но словно бы в четыре глаза одна: со мной еще смотрел Шура. Не став половиной моей жизни и семьи, он уже стал половиной моего духовного существа, разделявшей со мною все лучшие впечатления и упавания: я уже не умела одна думать о том, что хоть сколько-то поднималось над мелочной прозой быта. Ловила себя на том, что и запомнить стараюсь не вообще, а — чтобы рассказать ему.

Сенгилей был в пять часов утра. Встаю в полпятого, одеваюсь, не разбудив никого в каюте, и выхожу к сходням. Но городка не видно. Только дощатая маленькая открытая пристань, просто причал, и деревянные ступени вверх по крутому зеленому склону. Он закрывает небо и подпирает потолок над сходнями — верхнюю палубу. Ничего там больше не видно. Пасмурно и пусто — никто не сел и не сошел на берег.

Я написала — открыточку: «Пароход показывает мне вашу родину». На следующей остановке сумела отправить. Спустя много лет сестра Шуры долго дивилась: почему я не увидела города? И еле вспомнила, что до подъема волжской воды плотинами берег был очень высок и пристань находилась в стороне от Сенгилея, напротив незастроенных мест...

В Москве я «отпрашиваюсь» у Тамары и еду на улицу Горького взглянуть на Ушана. Не только взглянуть, конечно,— услышать новое относительно их положения. Меня встречает его жена. Я видела ее в Череповце и узнала.

Спрашиваю.

— А кто вы?

— Я из Череповца.

— Почему вас интересует? Вы знакомая Зельмана Израилевича?

— Да, немножко. Просто хотела навестить его проездом.

— Зельмана Израилевича нет в Москве. Он арестован и выслан на Дальний Восток... А вы не из Череповца, вы из Архангельска, я вас видела там!

— Я никогда не бывала в Архангельске.

— Я вас узнала!

Простилась и ушла. Очевидно, до Череповца Ушан был в Архангельске, и... все тот же.

Сидим в Вологде в ожидании поезда, на берегу реки. Болтаем, немало шутим над своими приключениями. И все-таки в этот час и совсем вне темы дня лепятся в моей голове строчки песни:

Вечер сивекрылый.
Все-то мне не легче.
Милый ты мой, милый,
Всех ли время лечит?

63

Дома на меня обрушиваются вести.

Телеграмма: в Ленинграде, в военном госпитале, от скоротечной чахотки умер брат. Сережка, Сережка...

Телеграмма: педагогический институт извещает меня, что я зачислена студенткой первого курса литературного отделения. Мне предлагается явиться на занятия к первому сентября в Ленинград.

Открыткой сообщаю обо всем этом Шуре.

Уже август. Пятнадцатого я должна приступить к работе в Носовской школе. С переменой места работы тогда было очень сложно, увольнение граничило просто с дезертирством. Все зависело от того, отпустят ли меня из школы — ведь учителей на селе не хватало...

Заведующий роно оказался в отпуске. Флегматичный замзав принял заявление и тут же передал машинистке: в приказ. Потом поднял сонные глаза на меня:

— Вы не указали причины увольнения...

Я молчу, не зная, как ответить: ехать учиться — проступок чуть ли не с политическим подбоем — уход с поста. В кабинете сидят еще три-четыре человека из учителей района. Один — молодой мужчина, встречавшийся мне раньше на кустовых совещаниях. Он вдруг лукаво смеется и говорит:

— Знаем, знаем, она замуж вышла, уезжает в другую область к мужу...

Я смущенно промолчала: обманываю! А мое смущение оказалось веским, как приложение печати. Замзав повторил: «В приказ».

Через десять минут мне выдали мою «вольную», поручив самой поймать завокроно и его подпись. Это были еще сутки волнений и страха, но и он подписал.

...Никто, кажется, не ликовал так, как моя Другиня! Она рисовала мне красочный мир вуза: увлекательные науки, блестящие лекторы, веселые, дружные, умные студенты, встречи и дружбы, литературные кружки, библиотеки и ответы на все вопросы... И никаких больше Ягодкиных, Ушанов.

Вот и сбила она меня. Заразила оптимизмом сжигания кораблей. Сложила я в школе свои вещи. Настасья Михайловна налила чайник и хотела подтопить плиту, а я ей сказала, что буду жечь бумаги. И свой дневник за десять лет — страницы, где была подробнейше записана каждая встреча с Шурой, каждое его слово и взгляд, записанные по свежему впечатлению, в тот же день, под точной датой — я стала рвать бестрепетной рукой... Врагине нравился драматический эффект такого действа. Другиня торжествовала и подбадривала: хранить это тебе негде; не хочешь же ты, чтобы кто-то прочел в институте? И вообще теперь начинается новая полоса жизни, все новое, и ты будешь новая.

И чайник вскипел.

А Настасья Михайловна, не зная, что́ я сжигаю, сказала мне частушку:

Письмам печку истопе́ла,
Не подкладывала дров.
Все глядела, как горела
Моя первая любовь...

...Чего бы я не дала теперь, чтобы вернуть эти тетради!

Все оставшиеся до отъезда две недели Другиня не отходила от меня ни на шаг. Не умолкала, хлопотала, продумывала и придумывала будущее. Доказывала, что и мне Череповец осточертел. Я собиралась, ходила-бегала, была вся какая-то другая, сейчасшняя, без вчера, без корней. Словно с захлопнутым ларцом где-то в груди, зажав его, заперев и приучаясь к мысли, что его нет совсем...

Окончание следует

Николай РАЧКОВ

◆◆◆

Узнай, приветь родного сына,
Обрадуй, сердце веселя,
Моя — в березах и осинах —
Нижегородская земля!
Ударь под сердце песней новой,
На соловьях в ночи сыграй,
Мой ландышевый,
васильковый,
Мой колокольчиковый край!
Я помню всё,
леса и долы,
Перепелиные поля!
Путь от Суры и до Узолы
Сверкает, звездами пыля.

Какие добрые улыбки,
Какой округлый говорок...
Моя судьба качалась в зыбке
Окрестных тропок и дорог.
Здесь на закате столько меди
Вбирает сильная река.
Здесь что ни дом —
кругом соседи
И земляки — наверняка.
Я здесь любил.
К очам ладони
Прижму — иль было то во сне?
...Вся — в колокольчиковом звоне.
Вся — в ландышевой белизне.

◆◆◆

Вы видали такую луну —
Как большая тарелка с малиной?
Я окошко скорей распахну
В сумрак теплый и комариный.
В небе грозном, черном, большом
Вон плывет она, полыхая.
Черпай эту малину Ковшом!
Красота-то стоит какая.

И такая тишь до утра.
Спит земля. Лишь на всю округу —
Звон колодезного ведра,
Плеск серебряных звезд по лугу.
Пусть же, пусть только этот звон,
Да еще пенье птахи малой,
Да малиновый этот сон
Над моею землей усталой...

Пелагея

Ой ты, ягода морошка,
Хороша ли — не скажу.
У осеннего окошка
Рядом с грустью посижу.

У окошка, у заката,
Где веселых песен нет.
Вон с авоськой небогатой
Бабки вещий силуэт.

Низко сгорбленные плечи,
Просветленное чело.
«Пелагея, добрый вечер!»
Отвечает: «Рупь кило»...

Смех и грех. Кричу — не слышит.
Улыбается без слов.

Говорю: «Ванюшка пишет?»
Отвечает: «Нет силов»...

Семерых она взрастила
В неизбывной доброте.
Тихо лоб перекрестила,
Прошептала: «Слава те»...

И опять: «Ну, дай те боже»...
Вот ее пропал и след.
...Эти старые калоши,
Этот плюшевый жакет.

Эти окна сельсовета,
Да в бурьяне колея.
Эта жизнь — комочек света
В грозной бездне бытия!..

Возвращение

Надоели диван и экран,
Клочья неба в густых занавесках.
Вон клубится над речкой туман,
Вон крыжовник в зеленых подвесках.

...Он с работы за город спешит
На земле наработаться вволю.

Комья глины лопатой крушит,
Словно ищет забытую долю.

Он лелеет зеленый побег,
Воскресает душой, как и прежде.—
Потянулся к земле человек
Как к последней, но верной надежде.

Аркадий
СТРУГАЦКИЙ,
Борис
СТРУГАЦКИЙ

Фантастический роман

Рис. Г. Ковенчука

ГЛАВА ВТОРАЯ

Светя себе под ноги фонариком, Андрей торопливо поднялся на следующий этаж — кажется, уже на пятый. Ч-черт, не добегу ведь... Он приостановился и весь напрягся, пережидая острый позыв. В животе что-то с глухим ворчанием провернулось, стало чуть полегче. Дьяволы, все этажи зас..., ступить некуда. Он добрался до площадки и толкнулся в первую же дверь. Дверь со скрипом приоткрылась. Андрей протиснулся внутрь и принюхался. Вроде бы ничего... Он посветил фонариком. На рассохшемся паркете, тут же у дверей, белели кости среди заскорузлых лохмотьев, скалил зубы череп, облепленный пучками волос. Ну ясно: заглянули, но испугались... Неестественно передвигая ногами, Андрей почти побежал по коридору. Гостиная... Ч-черт, что-то вроде спальни... Где здесь у них сортир? А, вот он...

Потом, уже спокойный, хотя резь в животе так и не утихла до конца, весь покрытый холодным липким потом, он снова вышел в коридор, застегнулся во тьме и снова вытащил из кармана фонарик. Немой был тут как тут — стоял, прислонившись плечом к какому-то полированному, бесконечной высоты шкафу, засунув большие белые ладони под широкий ремень.

Окончание второй книги. Начало см.: «Нева», 1989, № 2.

— Сторожишь? — рассеянно-добродушно сказал ему Андрей.— Сторожи, сторожи, а то вот саданут меня чем-нибудь тяжелым из-за угла — что тогда будешь делать?..

Он поймал себя на том, что взял привычку разговаривать с этим странным человеком, как с огромной собакой, и ему стало неловко. Он дружески похлопал Немого по голому прохладному плечу и теперь уже не торопясь пошел по квартире, светя фонариком направо и налево. Позади, не приближаясь и не отставая, слышались мягкие шаги Немого.

Эта квартира была еще роскошнее. Множество комнат, набитых тяжелой старинной мебелью, мощные люстры, огромные почерневшие картины — в музейных рамах. Но мебель почти вся была поломана — ручки у кресел оторваны, стулья валялись без ножек и без спинок, у шкафов были оторваны дверцы. Топили они здесь мебелью, что ли, подумал Андрей. При такой-то жаре? Странно...

Дом был вообще, прямо скажем, странноватый,— солдат вполне можно было понять. Некоторые квартиры стояли нараспашку, там было просто пусто, совсем пичего, голые стены. Другие квартиры были заперты изнутри, иногда даже забаррикадированы мебелью, и если удавалось вломиться внутрь, оказывалось, что там валяются на полу человеческие кости. То же самое было и в домах по соседству, и можно было предполагать, что то же обнаружится и в остальных домах этого квартала.

Все это было ни с чем не сообразно, и даже Изя Кацман пока не сумел придумать никакого вразумительного объяснения, почему одни жильцы этих домов бежали, захватив с собою все, что могли унести, даже книги, а другие — забаррикадировались в своих жилищах, чтобы там умереть, по-видимому, от голода и жажды. А может быть, и от холода — в некоторых квартирах обнаружились жалкие подобия железных печурок, а в других огонь разводили, видимо, прямо на полу или на листах ржавого железа, сорванных, скорее всего, с крыши.

— Ты понимаешь, что здесь произошло? — спросил Андрей Немого.

Тот медленно покачал головой.

— Ты был здесь когда-нибудь раньше?

Немой кивнул.

— Тогда здесь жили?

«Нет»,— показал Немой.

— Понятно...— пробормотал Андрей, пытаясь разобрать, что изображено на почерневшей картине. Кажется, что-то вроде портрета. Кажется, женщина какая-то...

— Это опасное место? — спросил он.

Немой глядел на него остановившимися глазами.

— Понимаешь вопрос?

Да.

— Можешь ответить?

Нет.

— И на том спасибо,— сказал Андрей задумчиво.— Значит, может, и ничего. Ладно, пошли домой.

Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его — беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу.

— Садитесь, господин Пак,— сказал Андрей и сел сам.

Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между припухшими веками. Андрею он всегда нравился — чем-то неуловимо напоминал Канэко, а может быть, просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и приветлив — всегда немного сам по себе, всегда на некотором расстоянии... А может быть, потому что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на триста сороковом километре — в самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам...

— Вас не разбудили, господин Пак? — спросил Андрей.

— Нет, господин советник. Я еще не ложился.

— Желудок мучает?

— Не больше, чем других.

— Но, вероятно, и не меньше...— заметил Андрей.— А как у вас с ногами?

— Лучше, чем у других.

— Это хорошо,— сказал Андрей.— А как вообще самочувствие? Очень сильно устали?

— У меня все в порядке, благодарю вас, господин советник.

— Это хорошо,— повторил Андрей.— Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра объявлен большой привал. Но уже послезавтра я намерен с особой группой

совершить небольшую рекогносцировку. Километров на пятьдесят — семьдесят вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, валегке, но быстро.

— Понимаю вас, господин советник,— сказал Пак.— Прошу разрешения присоединиться.

— Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра, прямо в шесть утра. Сухой паек и воду получите у сержанта. Договорились? Теперь вот что... Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду?

— Думаю, да,— сказал Пак.— Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник. Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел. Но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть.

— А может быть, он вообще пересох?

Пак покачал головой.

— Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слыхал об источниках, которые пересыхают совсем Выход воды может умеьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают.

— В документах я пока ве нашел ничего полезного,— сказал Изя.— Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух, как... как я не знаю что.

Пак промолчал.

— А что вы еще слыхали об этих кварталах? — спросил его Андрей.

— Разные более или менее страшные вещи,— сказал Пак.— Часть — явная выдумка. Что касается остального...— он пожал плечами.

— Ну, например? — сказал Андрей благодушно.

— Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку отсюда находится так называемый Город Железноголовых. Однако, кто такие эти железноголовые, я понять так и не сумел... Кровавый водопад — но это еще, по-видимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много... Существуют легенды о говорящих животных — это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла... Впрочем, Эксперимент есть Эксперимент.

— Вам, наверное, очень надоели эти расспросы,— сказал Андрей, улыбаясь.— Воображаю, как вам надоело повторять всем одно и то же в двадцатый раз. Но вы уж нас извините, господин Пак. Ведь среди нас вы — самый осведомленный.

Пак снова пожал плечами.

— К сожалению, цена моей осведомленности невелика,— сказал он сухо.— Большинство слухов ве подтверждается. И наоборот — встречается много такого, о чем я никогда ничего не слыхал... А что касается расспросов, то не кажется ли вам, господин советник, что рядовые члены группы слишком осведомлены, когда речь идет о слухах? Лично я отвечаю на расспросы только тогда, когда разговариваю с кем-нибудь из командного состава. Я считаю неправильным, господин советник, что солдаты и прочие рядовые работники экспедиции в курсе всех этих слухов. Вредно для морали.

— Вполне согласен с вами,— сказал Андрей, стараясь не отводить глаз.— И во всяком случае, я бы предпочел, чтобы было побольше слухов насчет молочных рек с кисельными берегами.

— Да,— сказал Пак.— Поэтому, когда меня расспрашивают солдаты, я стараюсь уклониться от неприятных тем и муссирую, главным образом, легевду о Хрустальном Дворце... Правда, в последнее время они больше ве желают слушать об этом. Все очевь боятся и хотят домой.

— И вы тоже? — спросил Авдрей сочувственно.

— У мевя нет дома,— сказал Пак спокойно. Лицо у него было непроницаемое, глаза сделались совсем сонные.

— Н-да...— Андрей побарабанил пальцами по столу.— Ну что же, господин Пак. Еще раз — спасибо. Прошу вас отдыхать. Спокойной ночи.

Он проводил глазами спину, обтянутую выцветшей голубой саржей, подождал, пока закроется дверь, и сказал:

— Хотел бы я все-таки понять, зачем он увязался с нами?

— То есть, как это — зачем? — встрепенулся Изя.— Сами они разведку организовать не могли, вот и попросились к тебе...

— А зачем им, собственно, разведка?

— Ну, дорогой мой, не всем царство Гейгера по вкусу, как тебе! Раньше они не хотели жить под господином мэром — это тебя не удивляет? А теперь они не хотят жить под господином президентом. Ови хотят жить сами по себе, повимаешь?

— Понимаю,— сказал Андрей.— Только, по-моему, никто не собирается мешать им жить самим по себе.

— Это — по-твоему,— сказал Изя.— Ты ведь не президент.

Андрей залез в железный ящик, достал плоскую флягу со спиртом и принялся свинчивать колпачок.

— Неужели ты воображаешь,— сказал Изя,— что Гейгер потерпит у себя под боком хорошо вооруженную, крепкую колонию? Две сотни закаленных, битых-перебитых мужиков всего в трехстах километрах от Стеклянного Дома... Конечно, он им жить не даст. Значит, им надо уходить дальше на север. Куда?

Андрей побрызгал спиртом на руки и изо всех сил потер ладонь о ладонь.

— До чего же осточертела эта грязь...— пробормотал он с отвращением.— Ты представить себе не можешь...

— Да-а, грязь...— сказал Изя рассеянно.— Грязь это тебе ве сахар... Ты мне скажи, что ты все время пристаешь к Паку? Чем он тебе не потрафил? Я его знаю давно, чуть ли не с первого дня. Это честнейший, культурнейший человек. Что ты к нему пристал? Только твоей зоологической ненавистью к интеллигенции можно объяснить эти бесконечные иезуитские допросы. Если тебе так уж позарез надо узнать, кто распространяет слухи, осведомителей своих допрашивай, а Пак здесь ни при чем...

— У меня нет осведомителей,— холодно сказал Андрей.

Они помолчали. Потом Андрей неожиданно для себя сказал:

— Хочешь — честно?

— Ну? — жадно сказал Изя.

— Так вот, мой милый. У меня в последнее время появилось ощущение, что кто-то очень хочет нашу экспедицию прекратить. Совсем прекратить, понимаешь? Не просто, чтобы мы повернули оглобли и пошли домой, а прикончить нас. Уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь?

— Н-ну, брат!..— сказал Изя. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку.

— Да-да! И я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно. И получается, что это выгодно твоему Паку. Молчи! Дай мне договорить! Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего — ни о колонии, ни о чем... И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать. И тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место... Вот так вот у меня получается, понимаешь?

— По-моему, ты с ума сошел,— сказал Изя.— Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли — тут никаких ощущений ве надо. Все хотят повернуть... Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить?

— Не зваю! — сказал Андрей.— Я тебе говорю: ощущение...— Он помолчал.— Во всяком случае, я правильно решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему без меня в лагере делать...

— Да он-то здесь при чем?! — гаркнул Изя.— Ну подумай ты головой своей дурацкой! Ну, уничтожит ов нас, а потом что? Восемьсот километров пешком? По безводью?!

— Откуда я знаю? — огрызнулся Андрей.— Может, он трактор умеет водить.

— Ты еще Мымру заподозри,— сказал Изя.— Как это... Как в сказке о царе Додоне... Шемаханская царица.

— Н-да... Мымра...— задумчиво сказал Андрей.— Тоже штучка та еще... И этот Немой... Кто он? Откуда? Почему ходит везде за мной, как собака? Даже в сортир... Между прочим, ты знаешь, ов уже, оказывается, в этих местах побывал.

— Открытие сделал! — сказал Изя пренебрежительно.— Это я давным-давно понял. Эти безъязыкие пришли с севера...

— Может быть, им здесь и вырезали языки? — сказал Андрей негромко.

Изя посмотрел на него.

— Слушай, давай выпьем,— сказал он.

— Разбавлять нечем.

— Ну, тогда хочешь, я тебе Мымру приведу?

— Иди ты к дьяволу...— Андрей поднялся, морщась, подвигал стертой ногой в ботинке.— Ладно, я пойду погляжу, как и что.— Он похлопал себя по пустой кобуре.— У тебя пистолет есть?

— Есть где-то. А что?

— Ладно, так пойду,— сказал Андрей.

Вытаскивая на ходу фонарик, он вышел в коридор. Немой поднялся ему навстречу. Справа, в глубине квартиры, из-за приоткрытой двери слышались негромкие голоса. Андрей приостановился.

— ...В Каире, Даган, в Каире! — внушительно вещал полковник.— Теперь я вижу, что вы все забыли, Даган. Двадцать первый полк Йоркширских стрелков, и командовал им тогда старина Билл, пятый баронет Стратфорд.

— Я прошу извинения, господин полковник,— почтительно возражал Даган.— Мы можем прибегнуть к дневникам господина полковника...

— Не надо, не надо никаких дневников, Даган! Занимайтесь своим пистолетом. Вы мне еще обещали почитать на ночь...

Андрей вышел на лестничную площадку и, как на телеграфный столб, налетел на Эллизауэра. Эллизауэр курил, ссутулившись, прислонясь задом к железным перилам.

— Последняя перед сном? — спросил Андрей.

— Так точно, господин советник. Сейчас ложусь.

— Ложитесь, ложитесь,— сказал Андрей, проходя.— Знаете: больше спишь — меньше грешишь.

Эллизауэр почтительно хихикнул ему вслед. Верста коломенская, подумал Андрей. Попробуй мне только в три дня не управиться — самого в волокушу запрягу...

Нижние чины располагались на нижнем этаже (хотя гадить они наладились на верхних). Разговоров здесь слышно не было — все или почти все, видимо, уже спали. Сквозь распахнутые — для сквозняка — двери квартир, выходящих в вестибюль, доносился разноголосый храп, сонное чмоканье, бормотание, хриплый прокуренный кашель.

Андрей заглянул сначала в квартиру налево. Здесь устроились армейцы. Из маленькой комнатушки без окон виднелся свет. Сержант Фогель в одних трусах и в фуражке, сдвинутой на затылок, сидел за столиком и прилежно заполнял какую-то ведомость. В армии был порядок: дверь комнатушки была настежь, так что никто не мог бы войти или выйти незамеченным. На звук шагов сержант быстро поднял голову и всмотрелся, прикрывая лицо от света лампы.

— Это я, Фогель,— сказал Андрей негромко и вошел.

Сержант мигом поставил ему стул. Андрей сел и огляделся. Так, в армии порядок. Все три бидона с расходной водой здесь. Ящики с консервами и галетами для завтрашнего завтрака тоже уже здесь. И ящик с сигаретами. Прекрасно вычищенный пистолет сержанта лежал на столе. Дух в комнатушке стоял тяжелый, мужской, походно-полевой. Андрей положил руку на спинку стула.

— Что на завтрак, сержант? — спросил он.

— Как обычно, господин советник,— сказал Фогель, удивившись.

— Давайте-ка придумайте что-нибудь не как обычно,— сказал Андрей.— Кашу, что ли, рисовую с сахаром... Консервированные фрукты остались?

— Можно рисовую кашу с черносливом,— предложил сержант.

— Давайте с черносливом... Воды выдайте утром двойную порцию. И по полплитки шоколаду... Шоколад остался?

— Есть еще немного,— сказал сержант неохотно.

— Вот и выдайте... Сигареты что — последний ящик?

— Точно так.

— Ну, ничего не поделаешь. Завтра — как обычно, а с послезавтрашнего дня сокращайте норму... Да, и вот еще что. Полковнику с сегодняшнего дня и впредь — двойную порцию воды.

— Осмелюсь доложить...— начал было сержант.

— Знаю,— прервал его Андрей.— Скажете, что это мой приказ.

— Слушаюсь... Угодно господину советнику... Анастасис! Куда?

Андрей обернулся. В коридоре, покачиваясь на нетвердых ногах и придерживаясь рукой за стену, стоял совершенно раскисший со сна солдат — тоже в одних трусах и в ботинках.

— Виноват, господин сержант...— промямлил он. Видно было, что он ничего не соображает. Потом руки его опустились по швам.— Разрешите отлучиться в уборную, господин сержант!

— Бумага нужна?

Солдат почмокал губами, пошевелил лицом.

— Никак нет... Имеется...— он показал зажатый в кулаке клочок бумаги, видимо, из Изиных архивов.— Разрешите идти?

— Ступай... Прошу прощения, господин советник. Всю ночь бегают. А случается, что и просто так... под себя... Раньше хоть марганцовка помогала, а теперь вот ничего уже не помогает... Угодно будет, господин советник, проверить караулы?

— Нет,— сказал Андрей, поднимаясь.

— Прикажете сопровождать?

— Нет. Останьтесь.

Андрей снова вышел в вестибюль. Здесь было так же жарко, но воняло все-таки поменьше. Рядом бесшумно вырос Немой. Слышно было, как на лестнице, этажом выше, оступается и шипит сквозь зубы рядовой Анастасис. Не дойдет ведь до сортира, на пол навалит, подумал Андрей с гадливым сочувствием.

— Ну что,— сказал он вполголоса Немому.— Посмотрим, как гражданские устроились?

Он пересек вестибюль и вошел в дверь квартиры напротив. Походно-полевой дух стоял и здесь, но армейского порядка уже не было. Пригашенная лампа в коридоре тускло освещала сваленные кое-как приборы в брезентовых чехлах вперемежку с оружием, грязный рюкзак с развороченными внутренностями, брошенные у стены манерки и кружки. Взявши лампу, Андрей шагнул в ближайшую комнату, и сейчас же ему под ноги попался чей-то ботинок.

Здесь спали водители — голые, потные, распростертые на мятом брезенте. Даже простыни не постелили... Впрочем, простыни были, надо думать, грязнее всякого брезента. Один из водителей вдруг поднялся, сел, не раскрывая глаз, зверски поскреб плечи и проговорил невнятно: «На охоту идем, а не в баню... На охоту, понял? Вода желтая... под снегом желтая, понял?» Еще не договорив, он снова обмяк и повалился на бок.

Андрей убедился, что все четверо на месте, и прошел к следующей комнате. Здесь уже обитала интеллигенция. Спали на раскладушках, застелив их серыми простынями, спали тоже неспокойно, с нездоровым храпом,— постанывали, скрипели зубами. Двое картографов в одной комнате, двое геологов — в соседней. В комнате геологов Андрей уловил незнакомый сладковатый запах, и ему сразу же вспомнилось, что ходит слух, будто геологи покуривают гашиш. Позавчера сержант Фогель отобрал сигарету с анашой у рядового Тевосяна, начистил ему зубы и пригрозил сгноить в авангарде. И хотя полковник отнесся к этому случаю скорее юмористически, Андрею все это очень не понравилось.

Остальные комнаты в огромной квартире были пусты, только на кухне, закутавшись с головой в какое-то тряпье, спала Мымра — измотали ее, видно, за этот вечер. Из-под гнусного тряпья торчали тощие голые ноги, все в ссадинах и каких-то пятнах. Вот еще беда на нашу голову, подумал Андрей. Шемаханская царица. Черт бы ее побрал, проклятую сучку. Шлюха грязная... Откуда? Кто такая? Бормочет невразумительное на непонятном языке... Почему в Городе — непонятный язык? Как это может быть? Изя услышал — обалдел... Мымра. Это ведь Изя ее так назвал. Правильно назвал. Очень похоже. Мымра.

Андрей вернулся к комнате водителей, поднял лампу над головой и показал Немому на Пермяка. Немой, бесшумно скользнув между спящими, нагнулся над Пермяком и взял его обеими ладонями за уши. Потом он выпрямился. Пермяк уже сидел, упираясь одной рукой в пол, а другой — отирая с губ набежавшую во сне слюнку.

Поймав его взгляд, Андрей мотнул головой в сторону коридора, и Пермяк сразу же поднялся на ноги — легко и беззвучно. Они прошли в пустую комнату в глубине квартиры, Немой плотно закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Андрей посмотрел, где сесть. Комната была пуста, и он сел прямо на пол. Пермяк опустился перед ним на корточки. В свете лампы конопатое лицо его казалось нечистым, спутанные волосы падали на лоб, и сквозь них чернела корявая татуировка «раб Хрущова».

— Пить хочешь? — спросил Андрей вполголоса.

Пермяк кивнул. На лице его появилась знакомая блудливая улыбочка. Андрей извлек из заднего кармана плоскую флягу, где на донышке плескалась вода, и протянул ему. Он смотрел, как Пермяк пьет — маленькими скупыми глотками, шумно дыша через нос, двигая щетинистым кадыком. Вода сразу же испариной выступила у него на теле.

— Тепленькая...— сипло сказал Пермяк, возвращая пустую фляжку.— Холодной бы... из-под крана... Эх!

— Что там у вас с двигателем? — спросил Андрей, засовывая фляжку обратно в карман.

Пермяк растопыренной ладонью собрал пот с лица.

— Говно — двигатель,— сказал он.— Его у нас вторым делали, не поспевали к сроку... Чудо еще, что до сего дня продержался.

— Починить можно?

— Починить можно. Денька два-три потыркаемся — починим. Только это ненадолго. Еще километров двести прочапаем, снова будем загорать. Говно — двигатель.

— Понятно,— сказал Андрей.— А ты не заметил, кореец Пак около солдат не вертится?

Пермяк досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он придвинулся к Андрею и проговорил ему в самое ухо:

— Нынче на обеденном привале солдаты договорились дальше не идти.

— Это я уже знаю,— сказал Андрей, стискивая зубы.— Ты мне скажи, кто у них верховодит?

— Не могу никак разобрать, начальник,— свистящим шепотом ответил Пермяк.— Болтает больше всех Тевосян, но ведь он трепло, а потом он последнее время что ни утро — торчит...

— Что?

— Торчит... Ну — под балдой, накурившись... Его никто не слушает. А вот кто настоящий заводила — не пойму.

— Хнойпек?

— А хрен его знает. Может, и он. Человек в авторитете... Водители, вроде бы, тоже за, то есть, чтобы дальше не идти. От господина Эллизауэра толку никакого нет — он только хихикает, как падло, да всем старается угодить... боится, значит. А я что могу? Я только их подзуживаю, что на солдат полагаться нельзя, что они нашего брата-води-

теля ненавидят. Мы, мол, едем — они идут. Им паек солдатский, а нам — как господам ученым... За что, мол, им нас любить? Раньше действовало, а теперь чего-то плохо действует. Главное что? Тринадцатый день послезавтра...

— А ученые как? — прервал его Андрей.

— А хрен их знает. Ругаются страшными словами, а вот за кого они — не могу понять. Каждый божий день у них с солдатами из-за Мымры грызня... А господин Кехада знаете, что говорил? Что полковник, мол, долго не протянет.

— Кому говорил?

— Я так думаю, что это он всем говорит. А сам я слышал, как он это своим геологам объяснял, чтобы они с оружием не расставались. На этот случай. Сигаретки нет, Андрей Михайлович?

— Нет,— сказал Андрей.— А как сержант?

— К сержанту не подступишься. С ним — где залезешь, там и слезешь. Камешек. Убьют они его первого. Очень ненавидят.

— Ладно,— сказал Андрей.— А как все-таки насчет корейца? Агитирует он солдат или нет?

— Не видел. Он всегда особняком держится. Ежели хотите, и, конечно, за ним специально присмотрю, но, по-моему, это пустой номер...

— Ну, вот что,— сказал Андрей.— С завтрашнего дня — большой привал. Работы, в общем, никакой. Только на тракторе. А солдаты будут вообще только валяться да болтать. Ты вот что, Пермяк. Ты мне выясни, кто у них главный. Это у тебя будет дело номер один. Придумай что-нибудь, тебе там виднее, как это сделать...— Он поднялся, и Пермяк тоже вскочил.— Тебя сегодня, правда, рвало?

— Да, скрутило чего-то... Сейчас вроде полегче.

— Надо что-нибудь?

— Да нет, лучше не стоит. Курева бы...

— Ладно. Трактор почините — премию выдам. Иди.

Пермяк выскользнул за дверь мимо посторонившегося Немого, а Андрей подошел к окну и оперся на подоконник, выжидая положенные пять минут. В отсветах подвижной фары грузно чернели остовы волокуш и второго трактора, блестели остатки стекол в черных окнах дома напротив. Справа невидимый в темноте часовой, позвякивая подковами, бродил взад-вперед поперек улицы и тихонько насвистывал что-то унылое.

Ничего, подумал Андрей. Выкарабкаемся. Заводилу бы найти... Он представил себе снова, как по его приказу сержант выстраивает солдат без оружия в одну шеренгу и как он, Андрей, начальник экспедиции, с пистолетом в опущенной руке медленно идет вдоль этой шеренги, вглядываясь в окаменевшие заросшие лица, как он останавливается перед отвратной рыжей харей Хнойпека и стреляет ему в живот — раз и второй раз... Без суда и следствия. Так будет с каждым мерзавцем и трусом, который осмелится...

А господин Пак, по-видимому, и на самом деле ни при чем, подумал он. И на том спасибо. Ладно. Завтра еще ничего не случится. Еще дня три ничего не случится, а за три дня можно много чего придумать... Можно, например, хороший источник найти, километрах в ста впереди. К воде, небось, поскачут, как лошади... Ну и духотища же все-таки здесь. Всего-то один вечер здесь стоим, а уже дерьмом везде воняет... И вообще время всегда работает на начальство против бунтовщиков. Везде так было, и всегда так было... Вот они сегодня сговорились, что завтра дальше не пойдут. Утром поднимутся оскаленные, а мы им — большой привал. Идти-то, ребята, оказывается, никуда и не надо, зря оскалились... А тут еще тебе и каша с черносливом, чаю вторая кружка, шоколад... Вот так-то, господин Хнойпек! А до тебя я, все-таки, доберусь, дай только срок... Ч-черт, спать охота. Пить охота... Ну, про питье ты, положим, забудь, господин советник, а вот спать надо. Завтра — чуть свет... Провалился бы ты, Фриц, со своей экспансией. Тоже мне — император всея говна...

— Пойдем,— сказал он Немому.

За столом Изя все еще листал свои бумажки. Теперь он взял себе новую дурную привычку — бороду кусать. Завернет волосню свою на горсть, сунет в зубы и грызет. Экое чучело, право... Андрей подошел к раскладушке и принялся застилать простыню. Простыня липла к рукам, как клеенка.

Изя вдруг сказал, повернувшись к нему всем телом:

— Так вот. Жили они здесь под управлением Самого Любимого и Простого. Все с большой буквы, заметь. Жили хорошо, всего было вдоволь. Потом стал меняться климат, наступило резкое похолодание. А потом еще что-то произошло, и они все погибли. Я тут нашел дневник. Хозяин забаррикадировался в квартире и помер от голода. Вернее, он не помер, а повесился, но повесился от голода — сошел с ума... Началось с того, что на улице появилась какая-то рябь...

— Что появилось? — спросил Андрей, переставая стаскивать ботинки.

— Какая-то рябь появилась. Рябь! Тот, кто попадал в эту рябь, исчезал. Иногда

успевал еще заорать, а иногда и того не успевал — просто растворялся в воздухе, и все.

— Бред какой-то...— проворчал Андрей.— Ну?

— Те, кто вышел из дому, все погибли в этой ряби. А те, кто испугался или сообразил, что дело дрянь, те поначалу выжили. Первое время по телефону переговаривались, потом стали понемножку вымирать. Жрать ведь нечего, на улице — мороз, дров не запасли, отопление не работает...

— А рябь куда делась?

— Ничего по этому поводу не пишет. Я тебе говорю, он к концу с ума сошел. Последняя запись у него такая...— Изя пошелестел бумагами.— Вот, слушай: «Не могу больше. Да и зачем? Пора. Сегодня утром Любимый и Простой прошел по улице и заглянул ко мне в окно. Это — улыбка. Пора». И все. Квартира у него, заметь, на пятом этаже. Он, бедняга, петельку к люстре приладил... Петелька, между прочим, так до сих пор и висит.

— Да, похоже, на самом деле, с ума сошел,— сказал Андрей, забираясь в постель.— Это от голода, точно. Слушай, а насчет воды, как, ничего?

— Пока ничего. Я полагаю, нам завтра надо идти до конца акведука... Ты что, уже спать?

— Да. И тебе советую,— сказал Андрей.— Прикрути лампу и выметайся.

— Слушай,— сказал Изя жалобно.— Я хотел еще немножко почитать. У тебя лампа хорошая.

— А твоя где? У тебя такая же.

— Понимаешь, она у меня разбилась. В волокуше... Я на нее ящик поставил. Нечаянно...

— Кр-ретин,— сказал Андрей.— Ладно. Забирай лампу и уходи.

Изя торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал:

— Да! Тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл...

— Ладно, дай сюда пистолет,— сказал Андрей.

Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок, спиной к Изе.

— А хочешь, я тебе одно письмо почитаю? — вкрадчиво сказал Изя.— У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии...

— Пошел вон,— спокойно сказал Андрей.

Изя хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он возится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом. Потом скрипнула дверь, и когда Андрей открыл глаза, было уже темно.

Рябь какая-то... Н-да. Ну, тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от вас зависит... Вот в Ленинграде никакой ряби не было, был холод, жуткий, свирепый, и замерзающие кричали в обледенелых подъездах — все тише и тише, долго, по многу часов... Он засыпал, слушая, как кто-то кричит, просыпался все под этот же безнадежный крик, и нельзя сказать, что это было страшно, скорее тошно, и когда утром, закутанный до глаз, он спускался за водой по лестнице, залитой замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая волочила санки с привязанным ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта, наверное, там же, где упал вчера, наверняка там же — сам он встать не мог, ползти тоже, а выйти к нему так никто и не вышел... И никакой ряби не понадобилось. Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли. И кошки. Двенадцать взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы... Вас бы туда, сволочей, подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. Это вам не Эксперимент... И тот город был пострашнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали...

А город, между прочим, так и не сдали, подумал он. Те, кто остался, понемножку вымирали. Складывали их штабелями в дровяных сараях, живых пытались вывезти — власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом — странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал; кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал; кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал... Кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скупал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал — сводили его вниз к Неве и стреляли, а потом поднимались, ни на кого не глядя, закидывая винтовочки за плоские спины... Кто-то охотился с топором в переулках, ел человечину, пытался даже торговать человечиной, но тоже все равно умирал... Не было в этом городе ничего более обыкновенного, чем смерть. А власть оставалась, и пока оставалась власть, город стоял.

Интересно все-таки, было им нас жалко? Или они о нас просто не думали? Просто выполняли приказ, и в приказе было про город и ничего не было про нас. То есть, про нас, конечно, тоже было, но только в пункте «ж»... На Финляндском вокзале под ясным, белым от холода небом стояли эшелоны дачных вагонов. В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет двенадцати — какой-то детский дом. Ничего почти

не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания, и детский голос, который все повторял и повторял одну и ту же фразу, с одной и той же бессильно-злобной визгливой интонацией: «Иди на х... отседова!» и снова: «Иди на х... отседова!» и снова...

Подожди, я не об этом. Приказ и жалость — вот я о чем. Вот мне, например, солдат жалко. Я их прекрасно понимаю и даже им сочувствую. Отбирали ведь добровольцев, и вызвались, конечно, в первую голову авантюристы, сарынь-на-кичку, которым в благоустроенном нашем городе скушно и томно, которые не прочь посмотреть совсем новые места, автоматиком поиграть при случае, пошарить по развалинам, а вернувшись — набить карманы наградными, нацепить свеженькие лычки, гоголем походить среди девок... И вот вместо всего этого — понос, кровавые мозоли, чертовщина жуткая какая-то... Тут забунтуешь!

А мне? Мне что — легче? Я что — тоже за поносом сюда шел? Мне тоже неохота дальше идти, я тоже впереди ничего хорошего уже не вижу, у меня, черт вас побери, тоже были кое-какие надежды — свой, понимаете ли, хрустальный дворец за горизонтом! Я, может быть, сейчас рад-радехонек скомандовать: все, ребята, поворачивай оглобли!.. Мне ведь тоже осточертела эта грязь, я тоже разочарован, я тоже, черт побери, боюсь — какой-нибудь там ряби паршивой или людей с железными головами. У меня, может быть, все внутри оборвалось, когда я этих безъязыких увидел: вот оно, предупреждение тебе — не ходи, дурак, возвращайся... А волки? Когда я один в арьергарде шел, потому что вы все со страху обгадились, думаете мне сладко было? Выскочит из пыли, отхватит ползадницы, и нет его... Вот так-то, голубчики, сволочи мои дорогие, не вам одним тяжело, у меня тоже от жажды внутри все потрескалось...

Ну, хорошо, сказал он себе. А на кой ляд ты тогда идешь? Вот прямо завтра и дай команду — птичкой полетим, через месяц будем дома, бросишь Гейгеру под ноги все свои высокие полномочия и скажешь: ну тебя, брат, на хер, сам иди, если тебе так приспичило экспансию разводить, если у тебя, понимаешь, в одном месте свербежь... Да нет, собственно, почему обязательно со скандалом? Как-никак, а прошли восемьсот километров, карту сделали, архивов раздобыли десять ящиков — мало, что ли? Ну нет там ничего дальше! Сколько же можно еще ноги мозолить? Это ведь не Земля, не шар! Антигорода никакого, конечно, нет, это совершенно теперь ясно — никто здесь о нем и слыхом не слыхивал... В общем, оправдания найдутся. Оправдания... То-то и оно, что оправдания!

Тут ведь вопрос как стоит? Договорились идти до конца, и приказано было тебе идти до конца. Так? Так. Теперь: дальше идти можешь? Могу. Жратва есть, горючее есть, оружие в порядке... Люди, конечно, измотались, но все целы-невредимы... Да и не так уж измотались, в конце концов, коли Мымру по вечерам валяют... Нет, брат, не сходятся у тебя концы с концами. Дерьмовый ты начальник, скажет тебе Гейгер, ошибся я в тебе! А тут еще ему Кехада — в одно ухо, Пермяк — в другое, а там уже и Эллизаур на подхвате...

Эту последнюю мысль Андрей постарался поскорее отогнать, но было уже поздно. С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь немаловажную роль играет его положение господина советника, и что ему крайне не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться.

Ну и пусть изменится, думал он, защищаясь. Что я — с голоду подохну без этого положения? Пожалуйста! Пусть господин Кехада садится на мое место, а я сяду — на его. Дело от этого пострадает, что ли?.. Господи, подумал он вдруг. Да какое, собственно, дело-то? Что ты несешь, милый? Ты ведь уже теперь не маленький — о судьбах мира заботиться... Судьбы мира, знаешь ли, и без тебя обойдутся, и без Гейгера... Каждый должен делать свое дело на своем посту? Пожалуйста, не возражаю. Готов делать свое дело на своем посту. На своем. На этом самом. На посту власть имущего. Вот так-то, господин советник!.. А какого черта? Почему бывший унтер-офицер битой армии имеет право властвовать над миллионным городом, а я — без пяти минут кандидат наук, человек с высшим образованием, комсомолец — не имею права властвовать над отделом науки? Что же это — у меня хуже выходит, чем у него? В чем дело?..

Ерунда все это — «имею право, не имею права»... Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно,— право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять — имеешь право на власть. Не умеешь — извини!..

И вы у меня пойдете, мерзавцы! — сказал он спящей экспедиции. Не потому вы у меня пойдете, что я сам рвусь, как этот павиан бородатый, в неизведанные дали, а потому вы у меня пойдете, что я вам прикажу идти. А прикажу я вам идти, сукины вы дети, разгильдяи, ландскнехты дрисливые, не из чувства долга перед Городом или, упаси бог, перед Гейгером, а потому, что у меня есть власть, и эту власть я должен постоянно подтверждать — и перед вами, паскудниками, подтверждать, и перед собой. И перед Гейгером... Перед вами — потому что иначе вы меня сожрете. Перед Гейгером — потому что иначе он меня выгонит вон и будет прав. А перед собой... Это, знаете ли, королям и всяким там монархам была в свое время лафа. Власть у них была от бога, лично, без власти ни они сами себя не представляли, ни ихние подданные. Да и то,

между прочим, зевать им не приходилось. А мы, маленькие люди, в бога не верим. Нас на трон мирром не мазали. Мы должны сами о себе позаботиться... У нас, знаете ли, так: кто смел, тот и съел. Самозванцев нам не надо — командовать буду я. Не ты, не он, не они и не оне. Я. Армия меня поддержит...

Во, наколбасил, подумал он с некоторой даже неловкостью. Он перевернулся на другой бок, а руку для удобства засунул под подушку, где было попрохладнее. Пальцы его наткнулись на пистолет.

...Это как же вы намереваетесь всю эту свою программу осуществлять, господин советник? Это же — стрелять придется! Не в воображении своем стрелять («Рядовой Хнойпек, выйти из строя!..»), ве онанизмом умственным заниматься, а вот так — взять и выпалить живому человеку, может быть, безоружному, может быть, даже ничего не подозревающему, может быть, и не виноватому, в конце концов... да плевать на все это! — *живому* человеку — в живот, в мягкое, в кишки... Нет, этого я не умею. Этого я никогда не делал и, ей-богу, не представляю... На триста сороковом километре и, конечно, тоже палил, как и все, со страху просто, ничего же не понимал... Но там я никого не видел, и там в меня, черт побери, тоже стреляли!..

Ладно, подумал он. Ну, хорошо — гуманизм там, отсутствие привычки опять же... А если они все-таки не пойдут? Я им прикажу, а они мне ответят: шел бы ты на хер, братец, сам иди, если у тебя в одном месте свербежь...

А ведь это идея! — подумал он. Выдать разгильдяям немного воды, часть жратвы выделить на обратную дорогу, поломанный трактор пусть чинят... Идите, мол, без вас обойдемся. Как бы это было роскошно — разом освободиться от дерьма!.. Впрочем, он сразу же представил себе лицо полковника при таком предложении. М-да, полковник этого не поймет. Не та порода. Он как раз из этих... из монархов. Ему мысль о возможном неподчинении просто в голову не приходит. И уж во всяком случае, мучиться над всеми этими проблемами он не станет... Военно-аристократическая косточка. Ему хорошо — у него и отец был полковник, и дед был полковник, и прадед был полковник — вон какую империю отгрохали, то-то, небось, народу перебили... Вот он пусть и расстреливает, в случае чего. В конце концов, это его люди. Я в его дела вмешиваться не намерен... Ч-черт, надоело мне это все! Интеллигентщина распротухлая, развел гнидник под черепушкой!.. Должны идти, и все! Я выполняю приказ, и вы извольте выполнять. Меня не приласкают, если нарушу, и вам тоже, черт вас дери, не поздоровится! И все. И к черту. Лучше о бабах думать, чем об этой ерунде. Тоже мне — философия власти...

Он снова перевернулся, скручивая под собою простыню, и с натугой представил себе Сельму. В этом ее сиреневом пеньюаре — как она наклоняется перед постелью и ставит на столик поднос с кофе... Он подробно представил себе, как все это было бы с Сельмой, а потом вдруг — уже без всякой натуги — очутился на службе в своем кабинете, где обнаружил в большом кресле Амалию с юбчонкой, закатанной до подмышек... Тогда он понял, что дело зашло слишком далеко.

Он отбросил простыню, сел нарочито неудобно, чтобы край раскладушки врезался в задницу, и некоторое время сидел, таращась в слабо освещенный рассеянным светом прямоугольник окна. Потом он посмотрел на часы. Было уже больше двенадцати. А вот встану сейчас, подумал он. Спущусь на первый этаж... Где она там дрыхнет — на кухне, что ли? Раньше эта мысль всегда вызывала у него здоровое отвращение. Сейчас этого не получалось. Он представил себе голые грязные ноги Мымры, но не задержался на них, а пошел выше... Ему вдруг стало интересно, а какая она голая. В конце концов, баба есть баба...

— Господи! — сказал он громко.

Дверь сейчас же скрипнула, и на пороге появился Немой. Черная тень во тьме. Только белки поблескивают.

— Ну чего пришел? — сказал ему Андрей с тоскою.— Иди спи.

Немой исчез. Андрей нервно зевнул и повалился боком на койку.

Проснулся он от ужаса, весь мокрый.

— ...Стой, кто идет? — снова завопил под окном часовой. Голос у него был пронзительный, отчаянный, словно он звал на помощь.

И сейчас же Андрей услышал тяжелые хрусткие удары, как будто кто-то огромный мерно ударял огромной кувалдой по крошащемуся камню.

— Стрелять буду! — пронзительно завизжал часовой совсем уже нечеловеческим голосом и принялся стрелять.

Андрей не запомнил, как оказался у окна. В темноте справа судорожно билось оранжевое пламя выстрелов. В огненных отсветах выше по улице чернело что-то громоздкое, неподвижное, непонятных очертаний, и из него вылетали и рассыпались снопы зеленоватых искр. Андрей ничего не успел понять. Обойма у часового кончилась, на мгновение наступила тишина, потом он там в темноте снова дико завизжал — совсем как лошадь — забухал ботинками и вдруг оказался в круге света под самым окном — влетел, завертелся на одном месте, размахивая пустым автоматом, затем, не

переставая визжать, бросился к трактору, забился в черную тень под гусеницу и все дергал, дергал из-за пояса запасную обойму, и никак не мог выдернуть... И тогда снова послышались хрусткие удары кувалды о камень: бумм-бумм-бумм...

Когда Андрей в одной куртке, без штанов, в башмаках с болтающимися шнурками выскочил с пистолетом в руке на улицу, там уже было полно народу. Сержант Фогель ревел быком:

— Тевосян, Хнойпек! Направо! Приготовиться вести огонь! Анастасис! На трактор, за кабину! Наблюдать, приготовиться вести огонь!.. Живее! Дохлые свиньи!.. Василенко! Налево! Залечь, вести... Налево, раздолбай славянский! Залечь, вести наблюдение!.. Палотти! Куда, макаронник!..

Он схватил бегущего без памяти итальянца за шиворот, со страшной силой ударил его башмаком в зад и швырнул к трактору.

— За кабину, животное!.. Анастасис, дайте свет вдоль улицы!..

Андрея толкали в спину, в бока. Стиснув зубы, он пытался удержаться на ногах, абсолютно ничего не соображая, борясь с нестерпимым желанием заорать что-то бессмысленное. Он прижался к стене и, выставив перед собой пистолет, затравленно озирался. Почему они все бегут туда? А вдруг те нападут сзади? Или с крыши? Или из дома напротив?..

— Водители! — ревел Фогель.— Водители, на трактора!... Кто там стреляет, ублюдки?! Прекратить огонь!..

Понемногу в голове у Андрея прояснилось. Дело, оказывается, было совсем не так уж и плохо. Солдаты залегли, где было приказано, суета прекратилась, и наконец кто-то на тракторе повернул прожектор и осветил улицу.

— Вон он! — крикнул придушенный голос.

Коротко ударили и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол в двух кварталах выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, потом еще тише, а вскоре затихли совсем.

— Что там произошло, сержант? — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея.

Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна.

— Часовой поднял тревогу, господин полковник,— отозвался сержант Фогель.— Рядовой Терман.

— Рядовой Терман, ко мне,— сказал полковник.

Солдаты завертели головами.

— Рядовой Терман! — рявкнул сержант.— К полковнику!

В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой Терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него, у бедняги, что-то там зацепилось. Он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом:

— Рядовой Терман по приказанию господина полковника явился!

— Ну и чучело! — сказал полковник брезгливо.— Застегнитесь.

И в этот момент включилось солнце. Это было так неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосое сдавленное мычание. Многие закрыли глаза ладонями. Андрей зажмурился.

— Почему подняли тревогу, рядовой Терман? — осведомился полковник.

— Посторонний, господин полковник! — с отчаянием в голосе выпалил Терман.— Не отзывался. Шел прямо на меня. Земля дрожала!.. Согласно уставу окликнул два раза, потом открыл огонь...

— Ну что ж,— сказал полковник.— Хвалю.

В ярком свете все казалось совсем не таким, как пять минут назад. Лагерь теперь был как лагерь — осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора... На этом обычном, уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные, с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам без штанов и что ботиночные шнурки у него болтаются, ему стало неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы и геологи.

— Осмелюсь доложить,— говорил тем временем приободрившийся Терман.— Это был не человек, господин полковник.

— А что же это было?

Терман затруднился.

— Похоже скорее на слона, господин полковник,— авторитетно сказал Фогель.— Или же на допотопное чудовище.

— На стегозавра больше всего похоже,— подал голос Тевосян.

Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал.

— Сержант,— сказал он наконец.— Почему ваши люди раскрывают рот без разрешения?

Кто-то злорадно хихикнул.

— Р-р-разговорчики! — страшным шепотом произнес сержант.— Разрешите наказать, господин полковник?

— Полагаю...— начал было полковник, и тут его прервали.

— В-ва-ва-ва-в-в...— тихонько, а потом все громче завыл кто-то, и Андрей заметался взглядом по лагерю, ища, кто это воет и почему.

Все испуганно зашевелились, все завертели головами, а потом Андрей увидел: Анастасис, стоя позади тракторной кабины, тычет рукой куда-то вперед, весь белый, даже зеленый, и не может выговорить ни одного связного слова. Андрей, заранее напрягаясь, готовый ко всему, поглядел куда он тычет, но ничего там не увидел. Улица была пуста, в дальнем конце ее уже дрожало жаркое марево. Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб, кто-то тихо, с отчаянием, выругался, а Андрей все еще не понимал, и только когда незнакомый голос у него над ухом прохрипел: «Господи, твоя воля!..», Андрей, наконец, понял. У него волосы зашевелились на затылке, и ослабели ноги.

Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Остался на перекрестке только засохший кал, который вчера навалили вокруг статуи солдаты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Так я пошел, полковник,— сказал Андрей, поднимаясь.

Полковник тоже поднялся и тотчас же тяжело оперся на трость. Сегодня он был еще бледнее, лицо обтянуто, и он казался совершенным стариком. Даже от выправки его, можно сказать, ничего не осталось.

— Счастливого пути, господин советник,— проговорил он. Выцветшие глазки его глядели почти виновато.— Черт возьми, в сущности, командирская рекогносцировка — это ведь мое дело...

Андрей взял со стола автомат и закинул ремень на плечо.

— Не знаю, не знаю...— сказал он.— У меня, например, такое ощущение, будто я удираю, бросивши все на вас... А вы больны, полковник.

— Да, представьте себе, сегодня я...— полковник оборвал себя.— Я полагаю, вы вернетесь до темноты?

— Я вернусь значительно раньше,— сказал Андрей.— Эту вылазку я не рассматриваю даже как рекогносцировку. Я просто хочу показать этим трусливым ублюдкам, что ничего страшного впереди нет. Ходячие статуи, видите ли!..— Он спохватился.— Я не имел в виду упрекнуть ваших солдат, полковник...

— Пустяки...— полковник слабо отмахнулся тощей рукой.— Вы совершенно правы. Солдаты всегда трусливы. Я ни разу в жизни не видел храбрых солдат. Да и с какой стати им быть храбрыми?

— Ну,— улыбнулся Андрей,— если бы впереди нас ожидали всего-навсего танки противника...

— Танки! — сказал полковник.— Танки — другое дело. Но вот я прекрасно помню случай, когда рота парашютистов отказалась вступить в деревню, где жил известный на всю округу колдун.

Андрей засмеялся и протянул полковнику руку.

— До встречи,— сказал он.

— Минуточку,— остановил его полковник.— Даган!

В комнате возник Даган с флягой, оплетенной серебряной сеткой, в руке. На столе появился серебряный подносик, а на подносике — серебряные же стопочки.

— Прошу вас,— сказал полковник.

Они выпили и обменялись рукопожатием.

— До встречи,— повторил Андрей.

Он спустился по вонючей лестнице в вестибюль, холодно кивнул Кехаде, который прямо на полу возился с каким-то прибором вроде теодолита, и вышел на пышущую жаром улицу. Короткая тень его легла на пыльные потрескавшиеся плиты тротуара, и сейчас же рядом появилась вторая тень, и тогда Андрей вспомнил про Немого. Он оглянулся. Немой стоял в своей обычной позе, засунув ладони за широкий пояс, с которого свисал устрашающего вида тесак. Густые черные волосы его стояли дыбом, босые ноги были расставлены, а коричневая кожа лоснилась, словно смазанная жиром.

— Может, автомат возьмешь все-таки? — спросил Андрей.

«Нет».

— Ну, как хочешь...

Андрей огляделся. Изя и Пак сидели в тени волокуши и, развернув карту, рассматривали схему города. Двое солдат, вытянув шеи, заглядывали им через головы. Один из них поймал взгляд Андрея, поспешно отвел глаза и толкнул другого в бок. Оба сейчас же отошли и скрылись за волокушей.

У второго трактора копошились водители во главе с Эллизауэром. Водители были кто в чем, а на маленьком черепе Эллизауэра красовалась гигантская широкополая шляпа. Тут же торчали еще два солдата — подавали советы, часто сплевывая в сторону.

Андрей посмотрел вверх — вдоль улицы. Пусто. Раскаленный воздух дрожит над булыжником. Марево. За сто метров уже ничего не разобрать — как в воде.

— Изя! — позвал он.

Изя и Пак оглянулись и встали. Кореец подобрал с мостовой и взял под мышку свой маленький самодельный автомат.

— Что, уже? — бодро спросил Изя.

Андрей кивнул и пошел вперед.

Все смотрели на него: прищурившийся от солнца Пермяк, придурковатый Унгерн, испуганно округливший свой вечно полураскрытый рот, угрюмый Горилла-Джексон, медленно вытиравший руки куском пакли... Эллизауэр, очень похожий на грязный, ободранный грибок с детской площадки, приложил два пальца к полям шляпы с самым торжественным и сочувствующим видом, а поплевывавшие солдаты перестали поплевывать, обменялись неслышными замечаниями сквозь зубы и дружно запылили прочь. Трусите, гниды, мстительно подумал Андрей. Окликнуть вас сейчас для смеха — в штаны ведь навалите...

Они прошли мимо часового, который поспешно сделал «на караул», и зашагали по булыжнику — впереди Андрей с автоматом за плечом, следом по пятам — Немой с рюкзаком, в котором лежали четыре банки консервов, пачка галет и две фляги воды, сзади, отстав шагов на десять, шлепал разбитыми башмаками Изя — за спиной у него был пустой рюкзак, в одной руке он держал схему, а другой судорожно обхлопывал карманы, как бы ища, не забыл ли чего-нибудь. Последним, чуть вразвалочку, походкой человека, привыкшего к дальним переходам, легко шагал кореец Пак с коротко-ствольным автоматом под мышкой.

Улица была раскалена. Солнце свирепо жарило лопатки и плечи. От стен домов медленными волнами накатывал жар. Ветра сегодня не было совсем.

Позади, в лагере, завели многострадальный двигатель — Андрей не обернулся. Чувство освобождения вдруг овладело им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты с их простой до непонятности психологией; исчезал интриган Кехада, который был виден весь насквозь и от этого особенно осточертел; исчезали все эти омерзительные заботы о чужих стертых ногах, о чужих скандалах и драках, о том, что кого-то рвет — не отравление ли? — а кого-то особенно интенсивно и с кровью несет — не дезинтерия ли?.. Провалиться бы вам всем, твердил Андрей с каким-то даже упоением. Век бы я вас не видел. До чего же без вас хорошо!..

Правда, он тут же вспомнил о сомнительном корейце Паке, и на секунду ему показалось, что светлая радость освобождения замутится сейчас новыми заботами и подозрениями, но он тут же легкомысленно махнул на это рукой. Кореец как кореец. Спокойный человек, никогда ни на что не жалуется. Дальневосточный вариант Иосифа Кацмана, вот и все... Он вдруг вспомнил, как брат рассказывал ему когда-то, что на Дальнем Востоке все народы, а особенно японцы, относятся к корейцам в точности так же, как в Европе все народы, а особенно русские и немцы, относятся к евреям. Это показалось ему сейчас забавным, и почему-то вдруг вспомнился Канэко... Да, Канэко бы сюда, дядю Юру, Дональда... Э-хе-хе... Если бы удалось дядю Юру уговорить в эту экспедицию, сейчас бы все было по-другому...

Он вспомнил, как за день до выхода, он специально выкроил несколько часов, взял у Гейгера лимузин с пуленепробиваемыми стеклами и смотался к дяде Юре. Как они пили в большой двухэтажной хате, где было чисто, светло, вкусно пахло мятой, домашним дымком, свежепеченым хлебом. Пили самогон, закусывали заливным поросенком, хрустящими малосольными огурчиками, каких Андрей не едал бог знает сколько лет, обгладывали бараньи ребрышки, макали куски мяса в соус, пропитанный чесночными запахами, а потом дебелая голландка Марта, супруга дяди Юры, беременная уже по третьему разу, внесла свистящий самовар, за который дядя Юра в свое время отдал воз хлеба да воз картошки, и они долго, основательно, фундаментально пили чай, заедая каким-то невиданным вареньем — потели, отдувались, обтирали мокрые лица свежими полотенцами с вышивкой, а дядя Юра все бубнил: «Ничего, ребята, жить теперь вполне можно... Пригоняют мне каждый день пяток тунеядцев из лагеря, воспитываю их трудом, сил, понимаешь, не жалею... ежели что — сразу по зубам, но зато жрут они у меня от пуза, что сам ем, то и им даю, я тебе не эксплуататор какой-нибудь...» А при прощании, когда Андрей уже садился в машину, дядя Юра, сжимая его ладонь своими лапищами, превратившимися, казалось, в сплошную мозоль, проговорил, ища глазами его взгляд: «Ты меня простишь, Андрюха, я знаю... Все бы бросил, и бабу бы свою бросил... Вот этих бросить не могу, не позволяю себе...» — и указал большим пальцем через плечо в сторону двух белоголовых мальчуганов-погодков, которые тихо, чтобы не услышали, тузили друг друга за крыльцом.

Андрей обернулся. Лагеря видно уже не было, марево закрыло его. Тарахтенье двигателя едва доносилось — как из ваты. Изя шел теперь рядом с Паком, махал у него перед носом схемой и кричал что-то про масштаб. Пак, собственно, не спорил. Он только улыбался и, когда Изя порывался остановиться, чтобы развернуть схему и показать все наглядно, деликатно брал его за локоть и увлекал вперед. Серьезный человек, несомненно. На такого при прочих равных условиях вполне можно было бы положиться. Интересно, чего они не поделили с Гейгером?.. Люди они совершенно разные, это ясно...

Пак учился в Кэмбридже и имел звание доктора философии. Вернувшись в Южную Корею, он принял участие в каких-то студенческих беспорядках против режима, и Ли Сын Ман засадил его в кутузку. Из кутузки его в пятидесятом году освободила северокорейская армия, о нем написали в газетах, как о настоящем сыне корейского народа, который ненавидит клику Ли Сын Мана и американских империалистов, он сделался заместителем ректора, а через месяц его снова посадили в кутузку, где без предъявления обвинения продержали до самого десанта в Чемульпо, когда кутузка попала под огонь частей Первой кавалерийской дивизии, стремительно рвавшейся на северо-восток. В Сеуле стоял ад кромешный, Пак уже не рассчитывал остаться в живых, и тут ему предложили участие в Эксперименте.

В Город он попал задолго до Андрея, переменил двадцать специальностей, сцепился, конечно, с господином мэром и вошел в подпольную организацию интеллигентов, поддерживавшую тогда движение Гейгера. Что-то у них там с Гейгером произошло. Так или иначе большая группа подпольщиков еще за два года до Поворота тайно покинула Город и ушла на север. Им повезло: на трехсот пятидесятом километре они нашли в развалинах «снаряд времени» — здоровенную металлическую цистерну, битком набитую самыми разнообразными предметами культуры и образцами технологии. Место было хорошее — вода, плодородная почва у самой Стены, много уцелевших зданий,— там они и осели.

Они ничего не знали о том, что произошло в Городе, и когда появились обшитые броней трактора экспедиции, решили, что это — за ними. К счастью, в короткой яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка... А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог, с Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изей — тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изя так и не узнали, откуда у него столько сведений мифического и реального характера относительно предстоящего пути, для чего он, все-таки, увязался с экспедицией и что он вообще думал — о Гейгере, о Городе, об Эксперименте... Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы.

Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил:

— Ну, вы договорились, что именно вас интересует?

— Что именно? — Изя наконец развернул свою схему.— Смотри...— Он стал показывать траурным ногтем.— Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два... через шесть кварталов должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадется что-нибудь интересное... Да! Вот сюда бы еще интересно добраться. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту, так что неизвестно, может быть, это все рядом... Видишь написано: «Пантеон». Я люблю пантеоны.

— Ну что ж...— Андрей поправил автомат.— Можно и так, конечно... А воду, значит, мы сегодня искать не будем?

— До воды далеко,— негромко сказал Пак.

— Да, брат...— подхватил Изя.— До воды, брат... Видишь, у них здесь указано — водонапорная башня... Это здесь? — спросил он Пака.

Пак пожал плечами.

— Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь.

— Да-а-а...— протянул Изя.— Далековато. Километров тридцать, за день не обернуться... Правда, масштаб... Слушай, а зачем тебе воду именно сейчас? За водой пойдем завтра, как и договаривались... вернее, поедем.

— Хорошо,— сказал Андрей.— Пошли.

Теперь они пошли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. Трех- и четырехэтажные дома, иногда довольно красивые. Выбитые стекла.

Некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой. На балконах — полуразвалившиеся цветочные ящики, многие дома заплетены жестким пыльным плющом. Большой магазин — огромные, запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери — выломаны... Изя сорвался, трусцой сбегал, заглянул, снова вернулся.

— Пусто,— сообщил он.— Полный разгром.

Какое-то общественное здание — не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин — витрина расколота,— и еще магазин на другой стороне... Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял грязноватый палец.

— О! — сказал он.— Здесь где-то!

— Что? — спросил Андрей, озираясь.

— Бумага,— коротко отозвался Изя.

Ни на кого не глядя, он уверенно устремился к зданию на правой стороне улицы. Здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал:

— Давайте сюда, Пак! Библиотека!..

Андрей только головой покрутил от восхищения. Ай да Изя!

— Библиотека? — сказал Пак, ускоряя шаги.— Не может быть!..

В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходившие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой. Белого камня лестницы, уходящие вправо и влево... По левой уже взбегал Изя, Пак легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.

— А нам-то на кой черт туда тащиться? — сказал Андрей Немому.

Тот был согласен. Андрей поискал, где присесть, и присел на прохладные белые ступени. Автомат он снял и положил рядом. Немой уже сидел на корточках у стены, закрыв глаза и охватив колени длинными мощными руками. Было тихо, только бубнили наверху неразборчивые голоса.

Надоело, подумал Андрей с раздражением. Мертвые кварталы надоели. Раскаленное это безмолвие. Загадки эти... Людей бы найти, пожить бы с ними, порасспросить их... и чтобы угостили чем-нибудь... все равно чем, только бы не овсянкой этой обрыдлой... и холодного вина! Много, сколько хочешь... или пива. В животе у него заурчало, и он испуганно напрягся, прислушиваясь. Нет, ничего. Сегодня — тьфу-тьфу — ни разу не бегал, и на том спасибо. И пятка вроде бы зажила...

Наверху что-то повалилось с тяжелым рассыпчатым грохотом. Изя разборчиво проорал: «Ну куда вы лезете, ей-богу!..» Раздался смех, и голоса забубнили снова.

Копайтесь, копайтесь, подумал Андрей. Только на вас и надежда. Только от вас и можно ждать хоть какого-нибудь толку... И останется от всей этой бездарной затеи мой отчет да двадцать четыре Изиных ящика с бумагами!..

Он вытянул ноги и сам вытянулся на ступеньках, опираясь на локти. Немой вдруг чихнул, звонко откликнулось эхо. Андрей откинул голову и стал глядеть в далекий сводчатый потолок. Хорошо строили, красиво, лучше чем у нас. И вообще жили, как видно, не худо. И все равно сгинули... Очень это все Фрицу не понравится — он бы, конечно, потенциального противника предпочел. А то что такое получается: жили-жили, строили-строили, прославляли какого-то своего Гейгера... любимого и простого... А в результате — пожалуйста: пустота. Как и не было никого. Одни кости, да и тех что-то маловато для такого поселения... Вот так-то, господин президент! Человек предполагает, а господь рябь какую-нибудь напустит и — конец всему...

Он тоже чихнул и потянул носом. Прохладно здесь как-то... А Кехаду хорошо бы под суд отдать, когда вернемся... Мысли его легко свернули в привычное русло: как загнать Кехаду в угол, чтобы он и пикнуть не смел, чтобы вся документация была как на ладони и чтобы Гейгеру все сразу стало ясно... Он отмахнулся от этих мыслей — они были не к месту и не ко времени. Сейчас надо было думать только о завтрашнем дне. Да и о сегодняшнем не помешало бы. Например, куда все-таки девалась статуя? Пришел кто-то рогатый... стегозавр какой-то... взял ее под мышку и уволок. Зачем? И потом в ней, между прочим, тонн пятьдесят весу. Такая зверюга захочет — трактор под мышкой унесет... Уходить отсюда нам надо, вот что. Если б не полковник, сегодня же ноги бы нашей здесь не было... Он стал думать о полковнике и вдруг поймал себя на том, что прислушивается.

Какой-то отдаленный неясный звук появился — не голоса, голоса наверху бубнили по-прежнему,— нет, там, на улице, за высокими приотворенными дверями подъезда. Явственно зазвенели разноцветные стекла в витраже, и явственно завибрировали каменные ступеньки под локтями и задом, словно где-то неподалеку была железная дорога, и по ней шел сейчас поезд — тяжелый грузовой состав. Немой вдруг широко раскрыл глаза и повернул голову, настороженно прислушиваясь.

Андрей осторожно подтянул под себя ноги и встал, держа автомат за ремень. Немой сейчас же тоже встал, косясь на него одним глазом и все продолжая прислушиваться.

Взявши автомат наизготовку, Андрей бесшумно перебежал к дверям и осторожно выглянул. Жаркий пыльный воздух обжег ему лицо. Улица была желта, раскалена и пуста по-прежнему. Только ватной тишины больше не было. Огромный далекий молот с унылой равномерностью бил в мостовую, и удары эти заметно приближались — тяжелые, хрусткие удары, дробящие в щебень булыжник мостовой.

В доме напротив со звоном осыпалась расколотая витрина. От неожиданности Андрей отпрянул, но тут же взял себя в руки и, закусив губу, оттянул затвор автомата. Черт меня сюда понес, подумал он краем сознания.

Молот все приближался, и совершенно непонятно было — откуда, но удары были все тяжелее, все звонче, и была в них какая-то несокрушимая и неотвратимая победительность. Шаги судьбы, мелькнуло в голове у Андрея. Он растерянно оглянулся на Немого.

Он испытал шок. Немой стоял, прислонившись плечом к стене, и сосредоточенно орудовал своим тесаком, обрезая ноготь на мизинце левой руки. Вид у него при этом был совершенно равнодушный и даже скучающий.

— Что?! — хрипло спросил Андрей.— Ты что это?..

Немой посмотрел на него, кивнул и снова занялся своим ногтем. Бумм, бумм, бумм,— раздавалось совсем близко, земля под ногами содрогалась. И вдруг наступила тишина. Андрей сейчас же снова выглянул. Он увидел: на ближнем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура. Статуя. Старинная металлическая статуя. Тот самый давешний тип с жабьей мордой — только теперь он стоял, напряженно вытянувшись, задрав объемистый подбородок, одна рука заложена за спину, другая — то ли грозя, то ли указуя в небеса — поднята, и выставлен указательный палец...

Андрей, обмирая, как в дурном сне, смотрел на это бредовое чудовище. Но он знал, что это не бред. Статуй был как статуй — дурацкое бездарное сооружение из металла, покрытое не то окалиной, не то черной окисью, нелепо и не на месте установленное... В горячем воздухе, поднимавшемся от мостовой, очертания его дрожали и колебались точно так же, как очертания домов вдоль улицы.

Андрей почувствовал руку на своем плече и оглянулся — Немой улыбался и успокаивающе кивал ему. Бумм, бумм, бумм — снова раздалось на улице. Немой все держал его за плечо — трепал, гладил, мял мускулы ласковыми пальцами. Андрей резко отстранился и снова выглянул наружу. Статуи не было больше. И снова была тишина.

Тогда Андрей оттолкнул Немого и на ватных ногах побежал по лестнице наверх, где по-прежнему, как ни в чем не бывало, бубнили голоса.

— Хватит! — рявкнул он, врываясь в библиотечный зал.— Пошли отсюда!

Голос у него совсем сел, и они его не услышали, а может быть, и услышали, но не обратили внимания — они были заняты. Помещение было огромное, уходило в глубину черт-те знает куда, стеллажи, набитые книгами, глушили звуки. Один из стеллажей был повален, книги лежали горой, и в этой горе копались Изя и Пак — оба очень довольные, разгоряченные, потные, азартные... Андрей, шагая прямо по книгам, подошел к ним, взял за воротники, поднял.

— Пошли отсюда,— сказал он.— Хватит. Пошли.

Изя глянул на него затуманенными глазами, рванулся, вырвался и сразу же пришел в себя. Глаза его быстро обшарили Андрея с головы до ног.

— Что с тобой? — спросил он.— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось,— зло сказал Андрей.— Хватит здесь копаться. Куда вам надо? В пантеон? Вот и пошли в пантеон.

Пак, которого он все еще держал за шиворот, деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его.

— Ты знаешь, что мы здесь нашли?..— с азартом начал Изя и сразу же оборвал себя.— Слушай, да что стряслось?

Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь — в этом строгом душном зале, под испытующим взглядом Изи, рядом с невозмутимо корректным Паком.

— Мы не можем тратить столько времени на каждый объект,— сказал он хмурясь.— У нас всего одни сутки. Пойдемте.

— Библиотека — это не каждый объект! — немедленно возразил Изя.— Это первая библиотека за весь маршрут... Слушай, на тебе лица нет. Что случилось в конце концов?!

Андрей все никак не мог решиться рассказать. Не знал — как.

— Пошли,— буркнул он, повернулся и зашагал по книгам к выходу.

Изя догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился,

пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начала и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник.

— Ты мне вчера дневник читал...— проговорил он. Они уже спускались по лестнице.— Ну, этого... который повесился...

— Да?

— Вот тебе и да!

Изя остановился.

— Рябь?

— Неужели вы ничего не слышали? — сказал Андрей с отчаянием.

Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко:

— Вероятно, мы увлеклись. Мы спорили.

— Маньяки...— сказал Андрей. Он судорожно перевел дух, оглянулся на Немого и выговорил наконец: — Статуя. Пришла и ушла... Шляются, понимаешь, по городу, как живые...

Он замолчал.

— Ну? — нетерпеливо сказал Изя.

— Что — ну? Все!

Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование.

— Ну и что? — сказал он.— Ну, статуя... Ночью тоже шлялась одна, ну и что?

Андрей открыл и снова закрыл рот.

— Железноголовые,— подал голос Пак.— По-видимому, эта легенда возникла именно здесь...

Андрей, не в силах произнести ни слова, переводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно — дошло до него, наконец-то! — тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку.

— Т-так...— выдавил, наконец, Андрей.— Очень мило. Значит, вы сразу в это поверили?..

— Слушай, ты успокойся,— сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав.— Конечно, поверили, а почему не поверить? Эксперимент, он все-таки и есть Эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли, но на самом-то деле... Елки-палки, да что тут такого? Ну, статуи, ну, ходят... А здесь у нас библиотека! И знаешь, какая любопытная картина выясняется: люди, которые здесь жили,— наши современники, двадцатый век...

— Понятно,— сказал Андрей.— Пусти рукав.

Ему уже было совершенно ясно, что он свалял дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуй по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, Немой тоже как-то странно...

— Нечего меня уговаривать,— сказал он.— Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет. Будем проходить мимо тракторами — навалите хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою.

— Ну, хорошо,— успокаивающе сказал Изя.— Ну, пошли. Пошли.

Н-да, думал Андрей торопливо сбегая по лестнице. Как же это я, с неловкостью думал он, распахивая двери подъезда и выходя на улицу первым, чтобы никто не мог видеть его лица. И ведь не солдат, не шоферюга какой-нибудь, думал он, шагая по раскаленному булыжнику. Это все Фриц, думал он со злостью. Объявил, понимаешь, что нет больше никакого Эксперимента, а я и поверил... то есть, не поверил, конечно, а просто принял новую идеологию — из лояльности и по долгу службы... Нет, ребята, все эти новые идеологии — это для дураков, для массы... Но ведь и то сказать: четыре годика жили — ни о каком Эксперименте и не вспоминали, других дел было по горло... Карьерку делали, ядовито подумал он. Ковры доставали, экспонатики для личных коллекций...

На перекрестке он приостановился, искоса глянул в переулок. Статуя была там — грозила полуметровым черным пальцем, неприятно ухмылялась жабьей пастью. Я, мол, вас, сук-киных котов!..

— Эта, что ли? — спросил Изя небрежно.

Андрей кивнул и пошел дальше.

Они шли и шли, постепенно дурея от жары и слепящего света, наступая на собственные короткие уродливые тени, пот соляной коркой застывал на лбу и на висках, и даже Изя перестал уже трепаться о крушении каких-то там своих стройных гипотез, и даже неутомимый Пак уже приволакивал ногу — подошва оторвалась, а Немой время от времени широко разевал черный рот и, высунув страшный обрубок языка, принимался часто-часто, как собака, дышать... И ничего больше не происходило, только один раз Андрей, не успев совладать с собой, вздрогнул, когда подняв случайно глаза, увидел в распахнутом окне четвертого этажа огромное позеленевшее лицо, уставившееся на него слепыми выпученными глазами. Что ж, зрелище и в самом деле было жуткое — четвертый этаж и пятнистая зеленая харя во все окно.

Потом они вышли на площадь.

Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни были понатыканы на ней постаменты — круглые, кубические, шестигранные, звездообразные, в виде каких-то абстрактных ежей, артиллерийских башен, мифических зверей — каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора, из нержавеющей стали, даже, кажется, из золота... И все эти постаменты были пусты, только в полусотне метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена голая нога в человеческий рост, босая, с необычайно мускулистой икрой.

Площадь была огромная, противоположного конца ее видно не было за мутным маревом, а справа, под самой Желтой Стеной, виднелись искаженные потоками горячего воздуха очертания длинного приземистого строения с фасадом из тесно поставленных колонн.

— Ну и ну! — непроизвольно вырвалось у Андрея.

А Изя проговорил непонятно:

— То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки...— и спросил.— А куда они, собственно, все подевались?

Никто ему не ответил. Все смотрели и не могли насмотреться, даже, кажется, Немой. Потом Пак сказал:

— Нам, по-видимому, надо вон туда...

— Это и есть ваш Пантеон? — спросил Андрей, чтобы что-нибудь сказать, а Изя произнес с каким-то возмущением:

— Я не понимаю! Что же это они — все по городу шляются? Почему же мы их тогда почти не видели? Их же здесь должны быть тысячи, тысячи!..

— Город Тысячи Статуй,— сказал Пак.

Изя живо повернулся к нему.

— Что, и такая легенда существует?

— Нет. Но я так бы его назвал.

— Трам-тарарам! — сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль.— Как же мы здесь пойдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит — эти надолбы подрывать...

— Я думаю, должна быть дорога вокруг площади,— сказал Пак.— Над обрывом.

— Пошли? — сказал Изя. Ему уже не терпелось.

И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постаментами, по булыжнику, который был здесь разбит и искрошен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцавшую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то становились на цыпочки, чтобы прочесть надписи на постаментах, и надписи эти были странными до того, что от них брала оторопь.

На девятый день от улыбки, благословение мускулюс глютеус твоего спасло малых сих. Взвилося солнце, и погасла варя любви, но. И даже просто: *когда*! Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь, Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко, он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только нетерпеливо торопил: «Ну хватит, хватит,— повторял он.— Пошли. Ну, какого черта? Опаздываем же, неудобно...»

Зло брало глядеть на этих идиотов — нашли, понимаете, место и время развлекаться. А они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади и слов разобрать нельзя.

Так оно и лучше, подумал он с удовольствием. Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их? Что-то там было сказано про них, но что именно? То ли просили быть в парадной форме, то ли просили наоборот не быть вообще... Ах, какое это теперь имеет значение? Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда, а Изя вдруг начнет придираться к слогу, не дай бог, еще сам полезет говорить... Нет-нет, без них лучше, правда, Немой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа, да поглядывай хорошенько! Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай: мы здесь в стане настоящих оппонентов, это тебе не Кехада и не Хнойпек, на вот, возьми автомат, мне нужна свобода движений, и вообще лезть с автоматом на кафедру — я ведь, слава богу, не Гейгер... Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на! Как же я без тезисов?..

Пантеон высился перед ним и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой, из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже отворены, и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы — упаси бог! — не споткнуться, не растянуться здесь, на глазах у всех, он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике... нет, в новом костюме, я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее...

...Черт побери, как же я буду без тезисов? — подумал он, вступая в темный вестибюль. Что же там у меня было, в моих тезисах? — думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. Кажется, во-первых, про величие, весь напрягаясь вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. Здесь было очень холодно, в этом вестибюле, могли бы предупредить, все-таки лето на дворе, песком могли бы, между прочим, посыпать, руки бы не отвалились, а то того и гляди затылком здесь навернешься...

...Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах да, пардон... Значит, так. Во-первых, о величии, думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело — ковер. Догадались! А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так: либо поставят факельщиков или даже юпитера, либо — вот как сейчас... Таким образом: величие.

...Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо! Сиракузы, эврика, бани... в смысле, ванны. Голый. Дальше. Атилла! Дож венецианский. То есть я прошу прощения: это Отелло — дож венецианский. Атилла — гуннов царь. Едет. Нем и мрачен, как могила... Да чего там далеко ходить за примерами? Петр! Величие. Великий. Петр Великий. Первый. Петр Второй и Петр Третий не были великими. Очень может быть потому, что не были первыми. Великий и первый чрезвычайно часто выступают как синонимы. Хотя-а-а... Екатерина Вторая, Великая. Вторая, но, тем не менее, великая. Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правило...

Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей.

Стол был совершенно пустой, обитый серым сукном и тянулся перед ним как шоссе. Дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там — на том конце стола. Видеть его гораздо более важно, чем этих... Впрочем, это не моя забота...

Рассеянно и снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны стола, повернув к нему внимательные лица — каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые... и какие там еще бывают у них лица. Например, серебряные. Или, скажем,— нефритовые... Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы.

— Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность, имманентная только ему и никакому другому предикату?.. И здесь мне, боюсь, придется говорить вещи, не совсем привычные и далеко не приятные для вашего слуха... Величие! Ах, как много о нем сказано, нарисовано, сплясано и спето! Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой Хнойпек показался бы нам венцом высокой цивилизации. Не правда ли?.. Ведь каждый отдельный Хнойпек не имеет меры вещей. От природы он научен только пищеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого Хнойпека не может быть оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное,— и именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный Хнойпек при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью попадает под военно-полевой суд, каковой суд уже и решает, как с ним поступить... Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого... Однако господа, общество, состоящее из Хнойпеков и, без всякого сомнения, из Мымр, просто не способно было уделять такого огромного внимания суду внешнему — неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах... Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как Хнойпеков, так и Мымр, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия! А дело в том, господа, что в огромной и совершенно аморфной толпе Хнойпеков, в огромной и еще более аморфной толпе Мымр время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пищеварительным и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно — третья потребность! Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить и попользоваться чьими-нибудь прелестями. Ему понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое-этакое, чего раньше, до него, не было. Например инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене. С яйцами. Или сочинить миф про Афродиту... На кой хрен ему это все сдалось — он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем Хнойпеку Афродита Пеннорожденная или тот же самый козерог. С яйцами. Есть, конечно, гипотезы, есть, и не одна! Козерог ведь, как-никак,— это очень много мяса. Об Афродите я уже и не говорю... Впрочем, если говорить честно и откровенно, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется, пакость такая, овсяной кашей или грязной Мымрой, каковая имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализировать, абстрагироваться, зараза, начинает — мысленно обращает овсяную кашу в сочного козерога под чесночным соусом, а Мымру — в роскошную особу с бедрами и хорошо помытую — из океана она у него. Из воды... Да мать моя мамочка! Да ведь такому человеку цены нет! Такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему Хнойпеков и Мымр побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он? Вот ты, ты, рыжий, вшивый, умеешь котлету нарисовать, да такую, чтобы сразу же жрать захотелось? Или анекдотец хотя бы сочинить? Не умеешь? Так куда же ты, говно, лезешь с ним ровняться? Пахать иди, пахать! Рыбу удить, ракушки промышлять!..

Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получалось. Великолепно! И без никаких там тезисов. И все эти долдоны слушали, затаив дыхание. Хоть бы один пошевелился... Да уж, я — такой. Я, разумеется, не Кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том, невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то. Может быть, Кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим — кто кого.

— Итак, величие, как категория, возникла из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет: куда, тварюга, лезешь, куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом творца — я не боюсь этого слова? А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет — творец-организатор, творец-выстраиватель-в-колонны, творец, дары вымогающий и оные же и распределяющий!.. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все заврались... Ведь даже неверующему младенцу ясно, что бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что бог взял хаос в свои руки и организовал его, в то время как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но, с другой стороны, вся история учит нас, что человек, как отдельная личность, стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе. Он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. Что там далеко за примерами ходить — возьмите все того же пресловутого Хнойпека!.. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню? Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую аморфную хнойпекомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить — желательно, в одну колонну,— нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить. Или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось! Хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови... Так теперь я вас спрашиваю: кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос — он же свобода, равенство и братство — или тот, кто стремится эту хнойпекомымренность (читай: социальную энтропию!) понизить до минимума? Кто? Вот то-то и оно!

Прекрасный получился период. Сухой, точный и, в то же время, не лишенный страстности... Ну что это он там бубнит — на том конце? Надо же, хамло какое! И работать мешает, и вообще...

С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся. Сомнений не было — затылки. Раз, два... шесть затылков! Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. Ну, погодите, подумал он с угрозой. Я вас сейчас! Как это будет по-латыни?..

— Quos ego! — рявкнул он.— Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то там значите? Мы, мол, большие, а вы-де все копошитесь там внизу? Мы, мол, каменные,

а вы — плоть гниющая? Мы, дескать, во веки веков, а вы — прах, однодневки? Вот вам! — он показал им дулю.— Да кто вас помнит-то? Понавозводили вас каким-то давно забытым охломонам... Архимед — подумаешь! Ну, был такой, знаю, голый по улицам бегал безо всякого стыда... Ну и что? При надлежащем уровне цивилизации ему бы яйца за это дело оторвали. Чтобы не бегал. Эврика ему, понимаешь... Или тот же Петр Великий. Ну ладно, царь там, император всея Руси... Видали мы таких. А вот как была его фамилия? А? Не знаете? А памятников-то понаставили! Сочинений понаписали! А студента на экзамене спроси — дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий!.. И ведь со всеми с вами так! Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят, либо, скажем, имя помнят, а фамилию — нет. И наоборот: фамилию помнят — например, премия Каллинги,— а имя... да что там имя! Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ля вообще спекулянт шерстью... Да и кому это надо, сами вы посудите? Ведь если всех вас запоминать, так забудешь, сколько водка стоит.

Теперь он видел перед собой больше десяти затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво.

— Приманка! — заорал Андрей изо всех сил.— Вот что такое ваше хваленое величие! Приманка! Глядит на вас Хнойпек и думает: это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, Мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь и тоже всего этого достигну... То есть это предполагается, что он так должен думать! Но думает-то он, на вас глядючи, совсем не то. И ежели караула вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, так он понавалит вокруг, мелом напишет да и пойдет обратно к своей Мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция! Вот вам и память человечества!.. Да на кой хрен, в самом деле, Хнойпеку память? На кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость? То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться было некуда, запоминали. Александр, мол, Македонский, родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель. Буцефал. «Графиня, ваш Буцефал притомился, а кстати, не хотите ли вы со мной переспать?» Культурно, образно, по-светски... Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился тогда-то, помер тогда-то представитель олигархической верхушки. Эксплуататор. Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало, сдашь — и с плеч долой. «Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?» Фильм был такой, «Чапаев». Смотрели? «Брат умирает — Митька, ухи просит...» Вот и все применения вашему Александру Македонскому...

Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему. Никто его не слушал. Перед ним были только затылки — чугунные, каменные, железные, нефритовые... бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщерблинами, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками... Не нравится, горько подумал он. Правда глаза колет. К песнопениям привыкли, к одам. Егзиге монументум... А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подличал перед вами — что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн... Я идолопоклонства не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый делает, что в его силах. Один — революцию, другой — свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же я — говно теперь?..

А голос за желтым туманом знай бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова: «...невиданное и необычайное... из катастрофического положения... только вы... заслужило вечной благодарности и вечной славы...» Вот этого я особенно не терплю, подумал Андрей. Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются. Братья навек. Вечная дружба. Навеки вместе. Вечная слава... Откуда они все это берут? Что они видят вечного?

— Хватит врать! — крикнул он через стол.— Совесть надо иметь!

Никто не обратил на него внимания, он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди... А ведь это не Изя там болтал, вяло подумал он. Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него... Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за тридцать, пора разбираться, что к чему. Что за дикая идея — убеждать памятники, что они никому не нужны? Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?..

Что-то со мной сделалось за последние годы, подумал он. Что-то я утратил... Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь пять лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия. А теперь вот — не знаю. Знаю, что Хнойпека следует поставить к стенке. А зачем это — непонятно. То есть, понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно — чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя... Это, наверное, правильно: за меня для меня никто жить не станет, самому приходится позаботиться. Но ведь скучно

это, тоскливо, сил нет... И выбора нет, подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет — жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли.

Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурение... Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать.

Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты. Потом от него разило за версту. Немой был тут же — сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне, на коленях у него лежал автомат.

— Подъем,— сказал Андрей устало.

Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки.

— Где Пак? — спросил Андрей, озираясь.

Изя сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться.

— Ч-черт...— пробормотал он невнятно.— Слушай, жрать же хочется невыносимо... Сколько можно?

— Сейчас пойдем,— сказал ему Андрей. Он все озирался.— Где Пак?

— Поше-ауатекуу,— ответил Изя, неистово зевая.— Ф-фу, разморило совершенно к чертям...

— Куда пошел?

— В библиотеку пошел,— Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок.— Мы решили, что он пока отберет книги... Сколько это сейчас времени? У меня, вроде, остановились...

Андрей взглянул на часы.

— Три,— сказал он.— Пошли.

— Может, пожрем сначала? — предложил Изя нерешительно.

— На ходу,— сказал Андрей.

Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось. Что-то было не так. Он взял у Немого автомат и, заранее щурясь, шагнул на раскаленные ступеньки.

— Ну вот...— ворчал позади Изя.— Теперь — жрать на ходу... Я его как честный человек дожидался, а он толком пожрать не дает... Немой, дай-ка сюда мешок...

Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть, внутри так и сосало, но что-то толкало его идти и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плечо и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же три часа без одной минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли.

— Эй, господин советник! — позвал его Изя.— Держи.

Андрей приостановился и принял у него две галеты, проложенные жирной консервированной свининой. Изя уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сандвич — откуда половчее кусать,— Андрей спросил:

— Когда Пак ушел?

— Да почти сразу же и ушел,— сказал Изя с набитым ртом.— Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили, вот он и отправился.

— Зря,— сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило.

— Что — зря?

Андрей не ответил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Никакого Пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше.

— Странно...— сказал Изя, растерянно вертя головой.— Он же сказал, что отберет все по социологии...

— «Он сказал, он сказал...» — сквозь зубы проговорил Андрей. Он пнул носком башмака подвернувшийся под ноги пухлый том, повернулся и сбежал по лестнице. Обвел все-таки, в конце концов. Обвел косоглазый. Еврей дальневосточный... Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость дальневосточного еврея, но всеми фибрами души чувствовал: обвел!

Теперь они шли, прижимаясь к стенам,— Андрей по правой стороне улицы, Немой, который тоже понял, что дело дрянь,— по левой. Изя полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел след в след, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была — метров пятьдесят,

а дальше улица представлялась словно бы в аквариуме — все там мутно дрожало, отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой.

Когда они поравнялись с кинотеатром, Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке.

— Гарью несет...— тихонько проговорил сзади Изя.

И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. Вот оно, подумал он, стискивая зубы.

Немой поднял руку с тесаком, махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще метров двести со всей возможной осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. Что же там произошло? — думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. Что он там учинил? — твердил он в тоске. Что там горит? Это же там горит, несомненно... И тут он увидел Пака.

Он сразу подумал, что это Пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивши голову на самодельный короткоствольный автомат. Ствол автомата был направлен вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черно-синие и лоснились.

Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изя с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу, через перекресток и упал рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону Немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед, и Андрей увидел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там лежал еще посередине улицы, тоже толстый и черный, а сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженный рефракцией столб серого дыма.

Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изя уже поднялся с колен, и, подойдя, Андрей сразу понял — почему: от трупа в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным.

— Боже мой...— проговорил Изя, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо.— Они же его убили, подонки... Они же все вместе его одного не стоят...

Андрей мельком взглянул под ноги, на страшную раздутую куклу с черной язвой вместо затылка. Солнце тускло отсвечивало на россыпи медных гильз. Андрей обошел Изю и, больше уже не прячась, не пригибаясь, зашагал наискосок через улицу к следующей раздутой кукле, над которой уже сидел на корточках Немой.

Этот лежал на спине, и хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его: это был один из геологов, заместитель Кехады по съемке — Тэд Камински. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошила его насквозь — на груди телогрейка была вся в дырах, и из дыр торчали клочья серой ваты. Шагах в пяти валялся автомат без обоймы.

Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп. Оказалось, это был Пермяк. Его убило, видимо, на середине улицы, там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно, но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след, и там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот.

Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы. Как люди.

Поперек ближайшего к лагерю немощеного переулка на засохших нечистотах валялся Тевосян. Он гнался за трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тевосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему и здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей харей, в него попали, и он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть, и после смерти, он попал тоже: на полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель, и дальше трактор шел уже без него — до самого обрыва и вниз, в пропасть.

В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным простреленным бочкам, иссиня-черным от жара, еще бегали чадные язычки оранжевого пламени, и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся кучи на волокуше торчали чьи-то горелые ноги, и тянуло тем самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило.

Из окна комнаты картографов свисал голый труп Рулье — длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Палотти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга.

Второго геолога, второго картографа и зампотеха Эллизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью — Эллизауэр в кальсонах, остальные — голые.

А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы, на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом спокойно лежал, сложивши руки на груди, полковник Сент-Джеймс, в парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган — тоже в парадном мундире — и в руке у него была зажата сломанная трость полковника.

И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпек, инженер Кехада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей — исчезли. Остались трупы, осталось сваленное горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде. И смрад. И жирная копоть. И удушающая вонь жареного мяса от догорающей волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено. Навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти.

...Я привел их сюда. Я. Я их бросил здесь одних, трус, подонок. Отдохнуть захотелось. От рыл ихних отдохнуть захотелось вонючке, чистоплюю, слизняку. ...Полковник, ах, полковник! Нельзя было умирать, нельзя!.. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери, звери... Гиены! Стрелять надо было, стрелять!..

Он снова протяжно застонал и заерзал мокрой щекой по рукаву. В библиотеках прохлаждался... речи статуям произносил... раздолбай, трепло, все прогадил, все растерял... Ну и подыхай теперь, сволочь! Никто не заплачет. На кой хрен ты такой кому нужен?.. Но страшно ведь, страшно... Гонялись друг за другом, стреляли — в лежащих стреляли, в мертвых стреляли, к стенке ставили с руганью, с мордобоем... До чего же вы дошли, ребята, а? До чего я вас довел?.. И зачем? Зачем?!

Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя, и Немой успокаивающе курлыкает, словно голубь. Не хочу жить, подумал Андрей. Не хочу. К черту все это... Он поднялся из-за стола — туда, к Изе, к людям — и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции. Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать.

Кехада писал:

«День 31-й. Вчера, утром 30-го дня экспедиции, советник Воронин с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогносцировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14 часов 30 минут скоропостижно, от сердечного приступа, скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-Джеймс. Поскольку советник Воронин до сих пор из рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедицией на себя. Подпись: заместитель начальника экспедиции по науке Д. Кехада. 31-й день экспедиции, 15 часов 45 мин.».

Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части, выговор зампотеху Эллизауэру за медлительность и приказ ему же — максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кехада писал:

«Я намерен завтра провести торжественные похороны безвременно усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогносцировочной группы советника Воронина. Буде исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше».

«День 32-й. Рекогносцировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографа Рулье и рядовых Хнойпека и Тевосяна предупреждаю в последний раз и лишаю на день водного пайка...»

Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба, Кехада выскочил и больше уже не возвращался.

Андрей пересчитал записи дважды. Да, Кехада, ты этого хотел. Чего хотел, то и получил. А я все на Пака грешил, царство ему небесное... Он, прикусив губу, зажмурился, когда перед глазами его снова встала раздутая кукла в синей выцветшей куртке, и вдруг до него дошло: тридцать второй день. Как — тридцать второй? Тридцатый! Вчера я записывал за двадцать восьмой... Он торопливо перебросил страницу. Да. Двадцать восьмой... И трупы эти раздутые — они же лежат уже несколько суток... Господи, да что же это?.. Один, два... Какое же сегодня число? Ведь мы же сегодня утром ушли!

И он вспомнил жаркую, уставленную пустыми постаментами площадь, и ледяную тьму пантеона, и слепые статуи за бесконечно длинным столом... Это было давно. Это было очень давно. Да-а... Закрутила, значит, завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня... Я же мог в тот же день вернуться, полковника живого бы застал, не допустил бы...

Дверь распахнулась, и в комнату шагнул не похожий на себя Изя — весь словно высохший, с вытянутым костистым лицом, угрюмый, озлобленный, точно и не он только что как женщина вскрикивал под окнами. Он швырнул в угол полупустой мешок, сел в кресло напротив Андрея и сказал:

— Трупы лежат не меньше трех дней. Что происходит, ты понимаешь?

Андрей молча толкнул ему через стол журнал. Изя жадно схватил, разом проглотил записи, поднял на Андрея красные глаза.

Андрей сказал, криво усмехаясь:

— Эксперимент есть Эксперимент.

— Дрянь корявая, паршивая...— сказал Изя с ненавистью и отвращением. Он еще раз проглядел записи и бросил журнал на стол.— С-суки!

— По-моему, это нас на площади скрутило,— сказал Андрей.— Где постаменты...

Изя кивнул, откинулся в кресле и, задрав бороду, закрыл глаза.

— Ну, что будем делать, советник? — спросил он.

Андрей молчал.

— Ты мне только стреляться не вздумай! — сказал Изя.— Знаю я тебя... комсомольца... орленка.

Андрей снова криво усмехнулся и потянул себя за воротник.

— Слушай,— проговорил он.— Пойдем отсюда куда-нибудь...

Изя открыл глаза и уставился на него.

— Смрад из окна...— сказал Андрей с трудом.— Не могу...

— Пошли ко мне,— сказал Изя.

В коридоре Немой поднялся им навстречу. Андрей взял его за голую мускулистую руку и потянул за собой. Все вместе они вошли в Изину комнату. Окна здесь глядели на другую улицу. За окнами, над низкими крышами уходила ввысь Желтая Стена. Здесь совсем не было смрада, и было почему-то даже прохладно, только вот сесть было негде — весь пол и все спальное место было завалено бумагой и книгами.

— На пол, на пол садись,— сказал Изя, а сам повалился на свою развороченную грязную постель.— Давай думать,— сказал он.— Я подыхать не собираюсь. У меня здесь еще куча дел.

— А чего думать? — сказал Андрей угрюмо.— Все равно... Воды нет, увезли, а жратва вся сгорела. Дороги назад нет — через пустыню нам не пройти... Даже если мы этих гадов догоним... Да нет — где нам их догнать, несколько дней прошло...— он помолчал.— Если бы воду найти... Далеко до этой твоей водокачки?

— Километров двадцать,— сказал Изя.— Или тридцать.

— Если ночью идти, по холодку...

— Ночью идти нельзя,— сказал Изя.— Темно. И волки.

— Здесь нет волков,— возразил Андрей.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, тогда давай стреляться к чертовой матери,— сказал Андрей.

Он уже знал, что не будет стреляться. Он хотел жить. Никогда раньше он не знал, что можно так сильно хотеть жить.

— Ну ладно,— сказал Изя.— А если серьезно?

— А если серьезно, то я хочу жить. И я выживу. Мне теперь на все наплевать. Мы теперь с тобой вдвоем, понял? Мы теперь с тобой должны выжить, и все. И провались они все к чертовой матери. Просто найдем воду и будем около нее жить.

— Правильно,— сказал Изя. Он сел на кровати, запустил руку под рубаху и принялся скрестись.— Днем будем пить воду, а по ночам я буду тебя поя...ть.

Андрей посмотрел на него, не понимая.

— Ты можешь еще что-нибудь предложить? — спросил он.

— Пока нет. Все правильно — сначала надо найти воду. Без воды нам карачун. А что дальше — там посмотрим... Я вот что сейчас думаю. По всему видно, что они драпали отсюда опрометью, сразу после бойни. Страшно стало. Повалились на волокушу и — газу! Надо бы в доме пошарить — наверняка здесь и вода, и жратва найдутся...

Он хотел еще что-то сказать, но остановился с разинутым ртом. Глаза его выкатились.

— Гляди, гляди! — сказал он испуганным шепотом.

Андрей стремительно повернулся к окну.

Сначала он ничего особенного не заметил, он только услышал — какое-то отдаленное громыхание, словно обвал, словно где-то камни сыпались... Потом глаза его уловили некое движение на желтом вертикальном склоне над крышами.

Сверху, из голубоватой белесой мглы, куда уходил мир, быстро катилось острием

вниз странное треугольное облако. Оно двигалось с неимоверной высоты и было еще очень далеко от подножья стены, но уже можно было различить, что на острие бешено крутится, налетая на невидимые выступы и подскакивая, какое-то тяжелое тело мучительно знакомых очертаний. При каждом ударе от этого тела отлетали куски и продолжали падать рядом, веером летело каменное крошево, в вспухали клубы светлой пыли, втягиваясь в облако, образуя его, расходясь углом, как буруя за кормой быстроходного катера, а отдаленный громыхающий гул стал громче и распался на отдельные удары, дробный треск обломков о монолит, грозное шуршание гигантского оползня...

— Трактор! — перехваченным голосом произнес Изя.

Андрей понял его только в самую последнюю секунду, когда изувеченная, истерзанная машина стремительно нырнула за крыши, пол под ногами дрогнул от страшного удара, столбом взвилась кирпичная пыль, взлетели на воздух обломки, клочья жести — через мгновение все это скрылось под лавиной желтого обвала.

Они еще долго молчали, прислушиваясь, как там гремит, трещит, хрустит, перекатывается, и пол под ногами все вздрагивал, а над крышами уже ничего не было видно за неподвижным желтым облаком.

— Ничего себе! — сказал Изя.— Как их туда занесло?

— Кого? — тупо спросил Андрей.

— Это же наш трактор, балда!

— Какой наш трактор? Который удрал?

Изя помолчал, изо всех сил саднил нос грязными пальцами.

— Не знаю,— сказал он.— Не понимаю ничего... А ты понимаешь? — спросил он вдруг, повернувшись к Немому.

Тот равнодушно кивнул. Изя с досадой ударил себя по коленям, но тут Немой сделал странный жест: протянул перед собой указательный палец, круто опустил его к полу, а затем поднял выше головы, описавши в воздухе вытянутое кольцо.

— Ну? — жадно сказал Изя.— Ну?

Немой пожал плечами и повторил тот же жест. И Андрей вдруг вспомнил — вспомнил и сразу все понял.

— «Падающие Звезды»! — сказал он.— Это ж надо же!..— Он горько рассмеялся.— Надо же, когда я это понял!..

— Что ты понял? — заорал Изя.— Какие звезды?

Андрей, все еще смеясь, махнул рукой.

— Плевать,— сказал он.— Плевать, плевать и плевать! Какое нам теперь до этого дело? Хватит болтать, Кацман! Нам выжить надо, понимаешь ты? Выжить! В этом гнусном неправдоподобном мире! Нам вода нужна, Кацман!..

— Подожди, подожди...— пробормотал Изя.

— Я ничего больше не хочу! — заорал Андрей, тряся сжатыми кулаками.— Я не желаю больше ничего понимать! Не желаю ничего узнавать!.. Ведь там трупы валяются, Кацман! Трупы!.. Они ведь тоже жить хотели, Кацман! А теперь просто вздулись и гниют!

Изя, выпятив бороду, слез с кровати, схватил Андрея за куртку и с силой посадил на пол.

— Тихо! — сказал он страшно сопя.— По морде тебе дать? Сейчас дам. Баба!

Андрей скрипнул зубами и замолчал. Изя отдуваясь вернулся на койку и снова принялся скрестись.

— Трупов он не видал...— ворчал он.— Мира этого он не видал... Баба.

Андрей, уткнувшись лицом в ладони, давил и затаптывал в себе бессмысленный отвратительный вой. Но краем сознания он уже понимал, что с ним сейчас происходит, и это помогало. Очень страшно было: быть здесь, среди мертвецов, еще вроде бы живым, но на самом-то деле уже мертвым... Изя говорил что-то, но он не слушал. Потом его отпустило.

— Что ты говоришь? — спросил он, отнимая руки от лица.

— Я говорю, что пойду пошарю у солдатни, а ты пошарь у интеллигенции. И в комнате у Кехады пошарь — у него там где-то геологический зн-за должен храниться... Не дрейфь, перезимуем...

В этот момент погасло солнце.

— М-мать! Вот некстати! — сказал Изя.— Теперь фонарь надо искать... Подожди-ка, ведь твой фонарь у меня должен быть...

— Часы,— сказал Андрей с трудом.— Часы надо поставить...

Он поднес запястье к глазам, разглядел фосфоресцирующие стрелки и поставил их на двенадцать ноль-ноль. Изя, ругаясь сквозь зубы, возился в темноте, двигал зачем-то койку, шуршал бумагой. Потом чиркнула и разгорелась спичка. Изя стоял посредине комнаты на карачках и водил спичкой из стороны в сторону.

— Ну чего вы расселись, мать вашу!..— заорал он.— Фонарь ищите! Живее, а то у меня спичек всего три штуки!..

Андрей нехотя поднялся, но Немой уже нашел фонарь, поднял стекло и передал

Изе. Стало светлее. Изя, сосредоточенно шевеля бородой, регулировал горелку. Руки у него были крюки, горелка не желала регулироваться. Немой, весь лоснящийся от пота, вернулся в угол, сел на корточки и оттуда жалобно и преданно глядел на Андрея распахнутыми глазами ребенка. Воинство. Огрызки битой армии...

— Дай сюда фонарь,— сказал Андрей.

Он отобрал у Изи фонарь, наладил горелку и приказал:

— Пошли.

Он толкнул дверь в комнату полковника. Окна здесь были плотно закрыты, стекла целы, и поэтому смрада совсем не чувствовалось. Пахло табаком и одеколоном. Полковником.

Все было аккуратно прибрано, два упакованных чемодана отсвечивали добротной кожей, походная раскладная койка застелена была без единой морщинки, в головах на гвозде висела портупея с кобурой и фуражка с громадным козырьком. На громоздком комоде в углу стоял на войлочном кружке газовый фонарь, рядом — коробок спичек, стопка книг, футляр с биноклем...

Андрей поставил свой фонарь на стол и еще раз огляделся. Поднос с флягой и перевернутыми стаканчиками оказался на полке пустого стеллажа.

— Подай,— сказал он Немому.

Немой кинулся, схватил и поставил поднос на стол, рядом с фонарем. Андрей разлил коньяк по стаканчикам. Стаканчиков было всего два, и для себя он наполнил колпачок фляжки.

— Берите,— сказал он.— За жизнь.

Изя одобрительно посмотрел на него, взял стаканчик, понюхал с видом знатока.

— Это вещь! — сказал он.— За жизнь, значит?.. Да разве это жизнь? — он хихикнул, чокнулся с Немым и выпил. Глаза его увлажнились.— Хорошо-о...— слегка осипшим голосом проговорил он.

Немой тоже выпил — как воду, без всякого интереса. А Андрей все еще стоял с полным колпачком и пить не торопился. Что-то ему еще хотелось сказать, он и сам не знал толком — что. Какой-то очередной большой этап заканчивался и начинался новый. И хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ожидать не приходилось, завтрашний день все-таки был реальностью — особенно ощутимой потому, что это будет, может быть, один из очень и очень немногих оставшихся дней. Это было совсем не знакомое Андрею и очень острое ощущение.

Но он так и не придумал, что еще сказать,— только повторил: «За жизнь» — и выпил.

Потом он зажег газовый фонарь полковника и вручил его Изе, пообещав:

— Если и этот расконаешь, борода безрукая, надаю по шее...

Изя, оскорбленно ворча, удалился, а Андрей все медлил уходить, рассеянно оглядывая комнату. Следовало бы, конечно, пошарить здесь — наверняка у Дагана хранилась для полковника какая-нибудь заначка,— но шарить именно здесь почему-то казалось... стыдным, что ли?

— Не стесняйтесь, Андрей, не стесняйтесь,— услыхал он вдруг знакомый голос.— Мертвым ничего не нужно.

Немой сидел на краю стола, болтая ногой, и это уже был не Немой, точнее — не совсем Немой. Он по-прежнему был в одних штанах и с тесаком на широком поясе, но кожа его стала теперь сухой и матовой, лицо округлилось, на щеках проступил здоровый персиковый румянец. Это был Наставник — собственной персоной,— и Андрей впервые при виде него не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и неловкость.

— Опять вы...— проворчал он, поворачиваясь к Наставнику спиной.— Давненько не видались...

Он подошел к окну и, прижавшись лбом к теплому стеклу, стал смотреть во тьму, слабо озаряемую огоньками догорающей волокуши.

— А мы тут, как видите, помирать собрались...

— Зачем же помирать? — бодро произнес Наставник.— Надо жить! Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано, не так ли?

— А если мы не найдем воды?

— Вы ее найдете. Всегда находили и теперь найдете.

— Хорошо. Найдем. Жить около нее всю жизнь? Зачем же тогда жить?

— А зачем вообще жить?

— Вот и я все думаю: а зачем жить? Глупую я прожил жизнь, Наставник. Дурацкую какую-то... Болтался все время как дерьмо в проруби — ни вверх, ни вниз. Сначала за идеи какие-то сражался, потом — за дефицитные ковры, а потом совсем уже ополоумел... людей вот погубил...

— Ну-ну-ну, это несерьезно,— сказал Наставник.— Люди всегда гибнут. При чем же тут вы?.. Вы начинаете новый этап, Андрей, и на мой взгляд — решающий этап.

В известном смысле даже хорошо, что все получилось именно так. Рано или поздно все это с неизбежностью должно было произойти. Ведь экспедиция была обречена. Но вы могли бы погибнуть, так и не перейдя этого важного рубежа...

— Что же это за рубеж, интересно? — произнес Андрей, усмехаясь. Он повернулся к Наставнику лицом.— Идеи уже были — всякая там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов... Карьеру я уже делал, хватит, спасибо, посидел в начальниках... Так что же еще может со мной случиться?

— Понимание! — сказал Наставник, чуть повысив голос.

— Что — понимание? Понимание чего?

— Понимание,— повторил Наставник.— Вот чего у вас еще никогда не было — понимания!

— Понимания этого вашего у меня теперь вот сколько! — Андрей постукал себя ребром ладони по кадыку.— Все на свете я теперь понимаю. Тридцать лет до этого понимания доходил и вот теперь дошел. Никому я не нужен, и никто никому не нужен. Есть я, нет меня, сражаюсь я, лежу на диване — никакой разницы. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить. Можно только устроиться — лучше или хуже. Все идет само по себе, а я здесь ни при чем. Вот оно — ваше понимание, и больше понимать мне нечего... Вы мне лучше скажите, что я с этим пониманием должен делать? На зиму его засолить или сейчас кушать?..

Наставник кивал.

— Именно,— сказал он.— Это и есть последний рубеж: что делать с пониманием? Как с ним жить? Жить-то ведь все равно надо!

— Жить надо, когда понимания нет! — с тихой яростью сказал Андрей.— А с пониманием надо умирать! И если бы я не был таким трусом... если бы не вопила так во мне проклятая протоплазма, я бы знал, что делать. Я бы веревку выбрал — покрепче...

Он замолчал.

Наставник взял флягу, осторожно наполнил один стаканчик, другой и задумчиво завинтил колпачок.

— Ну, начнем с того, что вы не трус,— сказал он.— И веревкой вы не воспользовались вовсе не потому, что вам страшно... Где-то в подсознании, и не так уж глубоко, уверяю вас, сидит в вас надежда — более того, уверенность,— что можно жить и с пониманием. И неплохо жить. Интересно.— Он ногтем стал двигать к Андрею по столу один из стаканчиков.— Вспомните-ка, как отец заставлял вас прочесть «Войну миров» — как вы не хотели, как вы злились, как вы засовывали проклятую книжку под диван, чтобы вернуться к иллюстрированному «Барону Мюнхгаузену»... Вам было скучно от Уэллса, вам было от него тошно, вы не знали, на кой ляд он вам сдался, вы хотели без него... А потом вы прочли эту книжку двенадцать раз, выучили наизусть, рисовали к ней иллюстрации и пытались даже писать продолжение...

— Ну и что? — угрюмо сказал Андрей.

— И такое было с вами не однажды! — сказал Наставник.— И будет еще не раз. В вас только что вбили понимание, и вам от него тошно, вы не знаете, на кой оно вам ляд, вы хотите без него...— Он взял свой стаканчик. За продолжение! — сказал он.

И Андрей шагнул к столу, и взял свою рюмку, и поднес ее к губам, с привычным облегчением чувствуя, как снова рассеиваются все угрюмые сомнения и уже брезжит что-то впереди, в непроницаемой, казалось бы, тьме, и сейчас надо выпить, и бодро стукнуть пустой рюмкой по столу, и сказать что-нибудь энергичное, бодрое, и взяться за дело, но в этот момент кто-то третий, кто до сих пор всегда молчал, все тридцать лет молчал — то ли спал, то ли пьяный лежал, то ли наплевать ему было — вдруг хихикнул и произнес одно бессмысленное слово: «Ти-ли-ли, ти-ли-ли!..»

Андрей выплеснул коньяк на пол, бросил стаканчик на поднос и сказал, засунув руки в карманы:

— А ведь я еще кое-что понял, Наставник... Пейте, пейте на здоровье, мне не хочется,— не мог он больше смотреть на это румяное лицо. Он повернулся к нему спиной и снова отошел к окну.— Поддакиваете много, господин Наставник. Слишком уж вы беспардонно поддакиваете мне, господин Воронин-второй, совесть моя желтая, резиновая, пользованный ты презерватив... Все тебе, Воронин, ладно, все тебе, родимый, хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы, а они нехай все подохнут. Жратвы вот не хватит, Кацмана пристрелю, а? Милое дело!..

Дверь у него за спиной скрипнула. Он обернулся. Комната была пуста. И стаканчики были пусты, и фляга была пуста, и в груди было как-то пусто, словно вырезали оттуда что-то большое и привычное. То ли опухоль. То ли сердце...

И уже привыкая к этому новому ощущению, Андрей подошел к койке полковника, снял с гвоздя ремень с пистолетом, изо всех сил затянулся и передвинул кобуру на живот.

— На память,— громко сказал он белоснежной подушке.

Часть шестая

ИСХОД

Солнце было в зените. Медный от пыли диск висел в центре белесого, нечистого неба, ублюдочная тень корчилась и топорщилась под самыми подошвами, то серая и размытая, то вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, наливающаяся чернотой и тогда особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было — была бугристая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно не понятно было, откуда здесь берется такая масса пыли.

Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и Желтой стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти кокетливые, лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом, вдруг остервенев, швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал, зверея, по мокрому от пота затылку, стегал по рукам, по ушам, набивал карманы, сыпал за шиворот...

Ничего здесь не было, давно уже ничего не было. А может быть, и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутясь и подпрыгивая кривляющимся скоморохом, колючий скелет куста, выдранного с корнем бог знает где позади. Ни капли воды, никаких признаков жизни. И только пыль, пыль, пыль, пыль...

Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал — седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так — то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина.

Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги, они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела себя поприличнее, но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры, она расступалась в глубокие крутые овраги, где на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары... Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное «замри-отомри», учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играло в свои игры. И все — в одни ворота...

— Эй, Андрей! — сипло позвал Изя.— Андрюха-а!..

— Чего тебе? — через плечо спросил Андрей и остановился.

Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки.

— Смотри!..

Изя стоял шагах в десяти позади и показывал что-то в протянутой руке.

— Что это? — спросил Андрей без особого интереса.

Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет,— страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом, серой от пыли шевелюрой, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывало волосатое мокрое тело. Бахрома его порток едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями... Корифей духа. Жрец и апостол вечного храма культуры...

— Расческа! — торжественно провозгласил Изя, приблизившись.

Расческа была из самых дешевых — пластмассовая, со сломанными зубьями,— не расческа даже, а обломок расчески, и у места облома можно было еще разобрать какой-то ГОСТ, но пластмасса была выбелена многими десятилетиями солнечного жара и жестоко изъедена пылевой коростой.

— Ну вот,— сказал Андрей.— А ты все галдишь: никто до нас, никто до нас.

— И совсем я не так галдю,— сказал Изя миролюбиво.— Давай посидим, а?

— Ну, посидим,— согласился Андрей без всякого энтузиазма, и Изя тут же, не снимая постромок, плюхнулся задом прямо на землю и принялся засовывать обломок расчески в нагрудный карман.

Андрей поставил свою тележку поперек ветра, сбросил постромки и уселся, прислонившись спиной и затылком к горячим канистрам. Ветра сразу же стало заметно меньше, но зато теперь голая глина немилосердно жгла ягодицы сквозь ветхую ткань.

— Где же твой резервуар? — сказал он с презрением.— Трепло.

— Иш-ши, иш-ши! — откликнулся Изя.— Должон быть!

— Это еще что такое?

— А это такой анекдот, про купца,— объяснил Изя с охотой.— Пошел один купец в публичный дом...

— Ну, поехали! — сказал Андрей.— Все об ей? Угомона на тебя нет, Кацман, ей-богу!..

— Я угомона себе позволить не могу,— объявил Изя.— Я должен быть готов при первой же возможности.

— Сдохнем мы тут с тобой,— сказал Андрей.

— Ни боже мой! И не думай, и не мысли!

— Да я и не думаю,— сказал Андрей.

Это была правда. Мысль о неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. Черт его знает, в чем тут было дело. То ли острота этого ощущения обреченности уже совсем притупилась, то ли плоть уже настолько высохла и изнемогла, что перестала орать и вопить и только еле-еле сипела где-то на пороге слышимости... А может быть, количество перешло, наконец, в качество, и начало действовать постоянное присутствие Изи с его почти неестественным равнодушием к смерти, которая все ходила около них кругами, то приближаясь почти вплотную, то вдруг снова удаляясь, но никогда не упуская их из виду... Так или иначе, но вот уже много дней Андрей если и заговаривал о неизбежном конце, то только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии к нему.

— Что ты говоришь? — переспросил он.

— Я говорю: ты, главное, не бойся здесь подохнуть...

— Да ты мне это уже сто раз говорил. Я уже давным-давно не боюсь, а ты все знай долдонишь свое...

— Ну и хорошо,— мирно сказал Изя. Он вытянул ноги.— Чем бы это мне подошву подвязать? — осведомился он глубокомысленно.— Отвалится ведь в ближайший же кол времени...

— А вон конец от постромок отрежь и подвяжи... Дать тебе ножик?

Некоторое время Изя молча созерцал торчащие пальцы.

— Ладно,— сказал он наконец.— Совсем отвалится — тогда... Может, хлебнем по глотку?

— Ручкя зябнуть, ножки зябнуть? — сказал Андрей и сразу вспомнил дядю Юру. Дядя Юра вспоминался теперь с трудом. Он был из другой жизни.

— Не пора ли нам дерябнуть? — с живостью подхватил Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза.

— Фигу тебе! — сказал Андрей с удовольствием.— Знаешь, какой водицы хлебни? Которую ты где-то там вычитал. Наврал ведь мне про резервуар, да?

Как он и ожидал, Изя немедленно вабеленился.

— Иди ты на хер! Что я тебе — гуверянтка?

— Ну, значит, рукопись твоя наврала...

— Дурак,— сказал Изя с презрением.— Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать...

— Ну, значит, читать ты не умеешь...

Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь.

— Всякое говно здесь будет...— бормотал он.— А ну вставай! Резервуар хочешь? Тогда нечего рассиживаться... Вставай, говорю!

Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам и радостно, как веселый пес, запылил кругами над плешивой глиной, а глина с натугой двинулась навстречу и некоторое время вела себя смирно, словно собиралась с силами, а потом начала опрокидываться косогором...

Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт, подумал Андрей. Всю жизнь меня куда-то несет — не сидится мне на месте, дураку... Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл. Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, и всегда мог сказать себе: это ничего, это — во имя, это — борьба...

...Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя. (Это было в Хрустальном Дворце, они только что поели курятины, жаренной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой.) Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарям, всем этим токарям, всем вашим блюмингам, крекингам, ветвистым пшеницам, лазерам и мазерам. Все это — дерьмо, удобрения. Все это проходит. Либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным. А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства? Я лично против него ничего не имею, я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают. А в конце оно всю свою жизнь занимается пробле-

мой выбора, что бы такое выбрать пожрать этакое? Еще не жратое?.. Ну, до этого пока еще далековато, сказал Андрей. Не так далеко, как ты воображаешь, возразил Изя. А если даже и далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец... Все, что имеет начало, имеет и конец, сказал Андрей. Правильно, правильно, сказал Изя нетерпеливо. Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной... Элитарист ты паршивый, лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба...

...Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглотал, Изе бы не оставил — пусть резервуар ищет...

Справа, из-за серо-желтых клубов, выглянули какие-то руины — полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни.

— Ну вот, пожалуйста,— сказал Андрей, останавливаясь.— А ты говоришь: никто до нас...

— Да не говорил я этого никогда, балда стоеросовая! — просипел Изя.— Я говорил...

— Слушай, а может, резервуар — здесь?

— Очень может быть,— сказал Изя.

— Пойдем посмотрим.

Они сбросили постромки и побрели к развалинам.

— Хе! — сказал Изя.— Норманнская крепость! Девятый век...

— Воду, воду ищи,— сказал Андрей.

— Иди ты со своей водой! — сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились, давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку.— Норманны...— бормотал он.— Надо же... Интересно, чем их сюда заманили?

Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей.

— Союз меча и гнева...— бормотал Изя, торопливо устремляясь к дверному проему.— То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз... откуда здесь меч какой-то... Так разве сообразишь такое?..

В доме было полное запустение, полное и древнее. Вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок — остатков длинного, во всю длину дома, стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копаться в этой груде тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома.

Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром — огромная круглая яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь, без сомнения, была: глина на краю ямы, твердая как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. Худо дело, подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце и сейчас же отпустил: на противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые листья «женьшеня». Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож.

Несколько минут, пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня — холодное, сырое, мощное,— потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине.

Корень был из больших — сантиметров семьдесят длиной, а толщиной в кулак — белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к Изе, но по дороге не удержался — вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы...

Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог достать до них. Снова они его обманули — не дали поиграть костями на плешивой глине. Теперь снова можно было помериться силами.

Они выпили по два глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко, Изя не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой.

— Я там, между прочим, еще один кустик приметил,— сказал Андрей.— Маленький. На обратном пути...

— Зря,— сказал Изя.— Надо было сожрать.

— Мало тебе?

— А чего добру пропадать?

— Не пропадет,— сказал Андрей.— На обратном пути пригодится.

— Да не будет никакого обратного пути!

— Этого, брат, никто не знает,— сказал Андрей.— Ты мне лучше вот что скажи: вода еще будет?

Изя задрал голову и посмотрел на солнце.

— В зените,— сообщил он.— Или почти в зените. Ты как полагаешь, господин астроном?

— Похоже.

— Скоро начнется самое интересное,— сказал Изя.

— Да что тут такого интересного может быть? Ну, перевалим мы через нулевую точку. Ну, пойдем к Антигороду...

— Откуда ты внаешь?

— Об Антигороде?

— Нет. Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем?

— Да ни хрена я об этом не думаю,— сказал Андрей.— Я о воде думаю.

— Господи, твоя воля! В нулевой точке — начало мира, ты понимаешь? А он — о воде!..

Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор, идти стало трудно, постромки врезались в плечи. Хорошая штука «женьшень», подумал Андрей. Откуда мы о нем знаем?.. Пак рассказывал? Кажется... А, нет! Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее и сами попробовали. Да. Все они потом ходили гоголем, а Мымру валяли всю ночь до утра... А Пак уже потом рассказывал, что этот «женьшень», как и настоящий женьшень, попадается очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень вянет и становится чуть ли не ядовитым... Около Павильона было много этого «женьшеня», целый огород... Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изи прошли за одну ночь. Хорошо было у Павильона. А Изя все разглагольствовал там насчет здания культуры...

...Все прочее — это только строительные леса у стен храма, говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетия своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жря и совокупляясь, несет человечество, само об этом не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны. Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм, по соседству и в поношение, но никогда оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись как-то применить храм тем или иным манером, очень скоро отвлекается на свои, так называемые насущные нужды: начинает что-нибудь уже тридцать три раза деленное делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь превозносить — а храм знай себе все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и ни разрушить его, ни окончательно унизить невозможно... Самое забавное, говорил Изя, что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несут в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования; что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных свиней, он, в то же время и всегда, неотделим от этого стада и немыслим без него... И еще забавно, говорил Изя, что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу, он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история... Ты, может быть, думаешь, спрашивал Изя язвительно, что сами непосредственные строители этого храма — не свиньи? Господи, да еще какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, педераст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон... Господи, да порядочные люди среди них скорее редкость! Но они, как коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество — так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут — ан, глядишь,— целый коралловый атолл вырос, да какой прекрасный! Да какой прочный!.. Ну ладно, сказал ему Андрей. Ну — храм. Единственная непреходящая ценность. Ладно. А мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем?..

— Стой! — Изя схватил его за постромку.— Подожди. Камни.

Действительно, камни здесь были удобные — округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.

— Очередной храм возводить? — проговорил Андрей, ухмыляясь.

Он отбросил постромки, шагнул в сторону и подхватил ближайший камень. Камень был именно такой, какой требовался для фундамента,— снизу бугристый, колючий,

сверху — гладкий, обточенный пылью и ветром. Андрей уложил его на сравнительно ровную россыпь мелкого щебня, втер его, двигая плечами, поглубже и попрочнее и пошел за следующим.

Выкладывая фундамент, он испытывал что-то вроде удовлетворения: как-никак, это была все-таки работа, не бессмысленные движения ногами, а дело, совершаемое с определенной целью. Можно было оспаривать эту цель, можно было объявить Изю психопатом и маньяком (каковым он, конечно, и был)... А можно было вот так, камень за камнем, выкладывать по возможности ровную площадку для фундамента.

Изя рядом пыхтел и кряхтел, ворочая самые большие камни, спотыкался, совсем отодрал подошву, а когда фундамент был готов, поскакал к своей тележке и извлек очередной экземпляр своего «Путеводителя».

Когда в Хрустальном Дворце они окончательно поняли и почти поверили, что больше никогда и никого не встретят по пути на север, Изя засел за пишмашинку и со сверхъестественной быстротой написал «Путеводитель по бредовому миру». Потом он сам размножил этот «Путеводитель» на диковинном копировальном автомате (в Хрустальном Дворце было до черта самых разнообразных и удивительных автоматов), сам запаял все пятьдесят экземпляров в конверты из странного прозрачного и очень прочного материала под названием «полиэтиленовая пленка» и доверху загрузил свою тележку, едва оставив место для мешка с сухарями... А теперь вот этих конвертов осталось у него всего штук десять, а может быть, и меньше.

— Сколько их у тебя еще осталось? — спросил Андрей.

Изя, пристраивая конверт в центре фундамента, рассеянно ответил:

— А хрен его знает... Мало. Давай камни.

И они снова принялись таскать камни, и скоро над конвертом выросла пирамида метра в полтора высотой. Выглядела она в этой безлюдной пустыне довольно странно, но чтобы она выглядела еще более странно, Изя полил камни ядовито-красной краской из огромного тюбика, который нашел на складе под Башней. Потом он отошел к тележке, уселся и принялся приматывать оторвавшуюся подошву обрывком веревки. При этом он то и дело поглядывал на свою пирамиду, и на лице его сомнение и неуверенность сменялись постепенно удовлетворением и все нарастающей гордостью.

— А?! — сказал он Андрею, совершенно уже раздувшись и напыжась.— Даже полный дурак мимо не пройдет — сообразит, что это не зря...

— Ага,— сказал Андрей, присаживаясь рядом на корточки.— То-то тебе будет много пользы, что дурак эту пирамиду раскопает.

— Ничего, ничего,— проворчал Изя.— Дурак — тоже существо разумное. Сам не поймет — другим расскажет...— Он вдруг оживился.— Возьми, например, мифы! Как известно, дураков — подавляющее большинство, а это значит, что всякому интересному событию свидетелем был, как правило, именно дурак. Эрго: миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта. А?!

Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях между камнями, и Андрей вдруг очень ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади, и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени... И еще он представил себе, как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды... как он неистово, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там, под камнями, тайник с едой и водой... У Андрея вырвался истерический смешок. Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести...

— Ты чего? — подозрительно спросил Изя.

— Ничего, ничего, все в порядке,— сказал Андрей и поднялся.

Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду.

— Ничего смешного здесь нет! — объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой.— На первое время сойдет,— сообщил он.— Пошли?

— Пошли.

Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре, он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в усы.

— Ну и вид у тебя! — сказал Андрей, не удержавшись.— Ну прямо, как у жабы. Навалил икры и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у кеты.

— Но-но! — сказал Изя, продевая руки в постромки.— Кета после этого дела подыхает...

— Вот именно,— сказал Андрей.

— Но-но! — грозно сказал Изя, и они двинулись дальше.

Потом Изя вдруг спросил:

— А ты кету едал?

— Навалом,— сказал Андрей.— Под водку, знаешь, как идет? Или бутерброды к чаю... А что?

— Так...— сказал Изя.— А вот мои дочки ее уже не пробовали.

— Дочки? — удивился Андрей.— У тебя есть дочки?

— Целых три,— сказал Изя.— И ни одна не знает, что такое кета. Я им объяснил, что кета и осетрина — это такие вымершие рыбы. Наподобие ихтиозавров. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку...

Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. Вот тебе и на! Три дочки! У Изи! Шесть лет я его знаю, и мне даже в голову не приходило ничего подобного. Как же он тогда решился — сюда? Ай да Изя... Черт знает, какие люди на свете бывают... Нет, ребята, подумал он. Все правильно и все верно: никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до Хрустального Дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там — нормальных людей... Хари от задницы не отличишь... Нет, ребята, если сюда кто и доберется, так только какой-нибудь Изя-номер-два... И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет — так и умрет здесь, читаючи... Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло?.. Чего для? На Башне было хорошо. В Павильоне — и того лучше. А уж в Хрустальном Дворце... Как в Хрустальном Дворце, я никогда еще не жил и жить больше не буду... Ну хорошо — Изя. У него шило в ж..., ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи — ушел бы я оттуда или остался? Вопрос!..

...Почему мы должны идти вперед? — спрашивал Изя на Плантации, а черномазые девчонки, гладкие, титястые, сидели рядом и смирно слушали нас. Почему мы все-таки и не смотря ни на что должны идти вперед? — разглагольствовал Изя, рассеянно поглаживая ближайшую по атласному колену. А потому, что позади у нас — либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть. Неужели тебе мало этого простого рассуждения? Ведь мы же первые, понимаешь ты это? Ведь ни один человек еще не прошел этого мира из конца в конец: от джунглей и болот — до самого нуля... А может быть, вообще вся эта затея только для того и затеяна, чтобы нашелся такой человек?.. Чтобы прошел он от и до?.. Зачем? — угрюмо спрашивал Андрей. Откуда я знаю — зачем? — возмущался Изя. А зачем строится храм? Ясно, что храм — это единственная видимая цель, а зачем — это некорректный вопрос. У человека должна быть цель, он без цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает... Вот и ты придумал, сказал Андрей, непременно тебе нужно пройти от и до. Подумаешь — цель!.. Я ее не придумывал, сказал Изя, она у меня одна-единственная. Мне выбирать не из чего. Либо цель, либо бесцельность — вот как у нас с тобой дела обстоят... А чего же ты мне голову забиваешь своим храмом, сказал Андрей, храм-то твой здесь при чем?.. Очень даже при чем, с удовольствием, словно только того и ждал, парировал Изя, храм, дорогой ты мой Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Этак у нас получится, что храм начали строить только после Гуттенберга или, как вас учили, после Ивана Федорова. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков. Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. С поступков все началось. Сначала поступок, потом — легенда, а уже только потом — все остальное. Натурально, имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался — с нетривиального поступка!.. С героического, короче говоря, заметил Андрей, презрительно усмехаясь. Ну, пусть так, пусть с героического, снисходительно согласился Изя. То есть ты у нас получаешься герой, сказал Андрей, в герои, значит, рвешься. Синдбад-Мореход и могучий Улисс... А ты дурачок, сказал Изя. Ласково сказал, без всякого намерения оскорбить. Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто *был* героем — натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть — тошнит, а ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей Итаке. Я ведь вижу, ты меня жалеешь — маньяк, мол, психованный... Вижу, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо. Потому что я знаю совершенно точно: что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача — храм этот оберегать и богатства его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин — кирпич в стену мне не заложить. Но я — Кацман! И храм этот — во мне, а значит, и я — часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. И это уже прекрасно. Пусть я даже ни крошки не вложу в стену... Хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет наверняка очень маленькая крупинка, хуже того — крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится, не пригодится для храма, но в любом случае я знаю: храм во мне был и был крепок и мною тоже... Ничего я этого не понимаю, сказал Андрей. Путанно излагаешь. Религия какая-то: храм, дух... Ну еще бы, сказал Изя, раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты ерепенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве... Правильно, висишь. Так и должно было с тобой случиться. Со

всяким мало-мальски мыслящим человеком это в конце концов, случается... Так вот я и даю тебе почву. Самую твердую, какая только может быть. Хочешь — становись обеими ногами, не хочешь — иди к херам! Но уж тогда не гунди!.. Ты мне не почву подсовываешь, сказал Андрей, ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь! Ну ладно. Ну, пусть я все понял про твой храм. Только мне-то что от этого? В строители твоего храма я не гожусь — тоже, прямо скажем, не Гомер... Но у тебя-то храм хоть в душе есть, ты без него не можешь — я же вижу, как ты по миру бегаешь, что твой молодой щенок, ко всему жадно принюхиваешься, что ни попадется — облизываешь или пробуешь на зуб! Я вот вижу, как ты читаешь. Ты можешь двадцать четыре часа в сутки читать... и, между прочим, все при этом запоминаешь... А я ничего этого не могу. Читать — люблю, но в меру все-таки. Музыку слушать — пожалуйста. Очень люблю слушать музыку. Но тоже не двадцать же четыре часа! И память у меня самая обыкновенная — не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество... Даже если бы я только этим и занимался — все равно не могу. В одно ухо у меня залетает, из другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма?.. Ну правильно, ну верно, сказал Изя. Я же не спорю. Храм — это же не всякому дано... Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело натуры человеческой... Но ты послушай. Я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть, Изя принялся загибать пальцы, строители. Это те, кто его возводит. Затем, скажем, м-м-м... тьфу, черт, слово не подберу, лезет все религиозная терминология... Ну ладно, пускай — жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует... И есть потребители — те, кто, так сказать, вкушает от него... Так вот Пушкин — это строитель. Я — это жрец. А ты — потребитель... И не кривись, дурак! Это же очень здорово! Ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло! Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмана, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма... А уж такого, каким ты стал теперь, и вообще нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти!.. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как ты,— это же тоже малейшее меньшинство! Большинству ведь только мигни, разреши только — с гиком пойдут крушить ломами, факелами пойдут жечь... было уже такое, неоднократно было! И будет, наверное, еще не раз... А ты жалуешься! Да ведь если вообще можно поставить вопрос: для чего храм? — ответ будет один-единственный: для тебя!..

— Андрюх! — позвал Изя знакомым противным тоном.— А может, хватанем?

Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была Желтая Стена — не ровная и гладкая, как в пределах Города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменное поле — не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит — и тянулось это поле, насколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилометре от бугра два тощих смерча — один желтый, другой черный...

— Это что-то новенькое,— сказал Андрей, прищурившись.— Смотри-ка — сплошной камень...

— А? Да, пожалуй... Слушай, давай по стаканчику — четыре часа уже...

— Давай,— согласился Андрей.— Только спустимся сначала.

Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками сухарной крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа наготове две пластмассовые кружки.

— Соль достань,— сказал Андрей.

Изя сразу перестал плясать.

— Да брось ты...— заныл он.— Зачем? Давай так дернем...

— Без соли не получишь,— сказал Андрей утомленно.

— Тогда давай так,— сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске.— Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью...

— Господи,— сказал пораженный Андрей.— Ну, ладно, давай так.

Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал:

— Давай язык.

Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морщится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скупыми глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство.

— Хорошо! — сказал Изя, крякнув.— Только мало. А?

Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила потом, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая. На пару дней,

наверное, еще хватит, а потом... А потом еще что-нибудь найдется, сказал он себе со злостью. Эксперимент есть Эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть — тоже... Он бросил взгляд на белое, пышущее жаром плато, расстилавшееся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя снова присел и опять перебинтовывал свою подошву.

— А ты знаешь,— пропыхтел он,— и в самом деле какое-то странное место... Что-то я такого даже и не припомню...— Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью.— В зените,— сказал он.— Ей-богу, в зените. Что-то будет... Да выброси ты к черту эту железяку, что ты с ней возишься?!

Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры.

— Без этой железяки мы бы за Павильоном костей бы с тобой не собрали,— напомнил он.

— Так то — за Павильоном! — возразил Изя.— С тех пор мы с тобой уже пятую неделю идем, и даже мух не видно...

— Ладно,— сказал Андрей.— Не тебе тащить... Пошли.

Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему как по асфальту — только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе, а вот пыли, как это ни странно, нисколько не уменьшилось. Если уж мы здесь не загнемся, думал Андрей, тогда — жить нам вечно... Он шел сильно сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. Так вот я и пойду, подумал он. А глаза буду открывать через каждые, скажем, двадцать шагов. Или через тридцать... Гляну — и дальше...

Из очень похожего белого камня был выложен подвал Башни. Только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутыли с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники... Съестного не нашлось ничего, но в углу из обрезка ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной и невероятно вкусной воды...

...Все в твоей системе хорошо,— сказал Андрей, в двадцатый раз подставляя кружку под струю.— Одно мне не нравится. Не люблю я, когда людей делят на важных и неважных. Неправильно это. Гнусно. Стоит храм, а вокруг него быдло бессмысленное кишит. «Человек есть душонка, обремененная трупом!» Пусть даже оно на самом деле так и есть. Все равно это неправильно. Менять это надо к чертовой матери...

...А я разве говорю, что не надо? — вскинулся Изя.— Конечно, хорошо бы было этот порядочек переменить. Только как? До сих же пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов. И все. И над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая... А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы хода истории не меняли и храма полностью уничтожить не могли, но светлых голов было порублено предостаточно.

...Знаю,— сказал Андрей.— Все равно. Все равно мерзко. Всякая элита — это гнусно...

...Ну, извини! — возразил Изя.— Вот если бы ты сказал: всякая элита, владеющая судьбами и жизнями других людей,— это гнусно,— вот тут я бы с тобой согласился. А элита в себе, элита для себя самой — кому она мешает? Она раздражает — до бешенства, до неистовства! — это другое дело, но ведь раздражать — это одна из ее функций... А полное равенство — это же болото, застой. Спасибо надо сказать матушке-природе, что такого быть не может — полного равенства... Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было перепробовано, а все осталось в общем по-прежнему... Я предлагаю всего только цель существования... тьфу, да и не предлагаю даже, запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель — цель моего существования, понимаешь? Моего и мне подобных... Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя — вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться — не знает. А ты ведь без поклонения не можешь, ты это с молоком матери всосал — необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие, как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе пулю в лоб, либо подлецом сверхъестественным сделается — убежденным подлецом, принципиальным, бескорыстным подлецом, понимаешь?.. Либо и того хуже:

начиет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом... А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить надо. Каждый день жить, изо всех сил и на всю катушку...

...Да, наверное,— сказал Андрей.— Наверное, все это так и есть. И все-таки эта идея еще не моя!..

Андрей остановился и крепко взял Изю за рукав. Изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно:

— Что? Что такое?

— Помолчи,— сказал Андрей сквозь зубы.

Что-то там было впереди. Что-то двигалось — не крутилось столбом, не стелилось над самым камнем, а двигалось сквозь все это. Навстречу.

— Люди,— сказал Изя с восторгом.— Слушай, Андрюха, люди!

— Тихо, скотина,— шепотом сказал Андрей.

Он и сам уже понял, что это люди. Или человек... Нет, кажется, двое. Стоят. Наверное, тоже заметили... Опять ни черта не видно за проклятой пылью.

— Ну вот! — сказал Изя торжествующим шепотом.— А ты все стонал — подохнем...

Андрей осторожно сбросил лямки и попятился к своей коляске, не сводя глаз с неразборчивых теней впереди. Ч-черт, сколько их там, все-таки? И сколько до них отсюда? Метров сто, что ли? Или меньше?.. Он ощупью нашарил в коляске автомат, оттянул затвор и сказал Изе:

— Сдвинь тележки, ложись за них. Прикроешь меня, если что...

Он сунул Изе автомат и, не оборачиваясь, медленно пошел вперед, положив руку на кобуру. Видно было отвратительно. Пристрелит он меня, подумал он об Изе. Прямо в затылок засадит...

Теперь можно было различить, что один из тех тоже идет навстречу — смутный долговязый силуэт в крутящейся пыли. Есть у него оружие или нет? Вот тебе и Антигород. Кто бы мог подумать?.. Ох, не нравится мне, как он руку свою держит!.. Андрей осторожно расстегнул кобуру и взялся за рубчатую рукоятку. Большой палец сам лег на предохранитель. Ничего, все обойдется. Должно обойтись. Главное — не делать резких движений...

Он потянул пистолет из кобуры. Пистолет зацепился. Стало страшно. Он дернул сильнее, потом еще сильнее, потом изо всех сил. Он ясно увидел резкое движение того, что шел ему навстречу (рослый, ободранный, изможденный, до глаз заросший нечистой бородой)... Глупо, подумал он, нажимая спусковой крючок. Был выстрел, была вспышка встречного выстрела, был — кажется — крик Изи... И был удар в грудь, от которого разом погасло солнце...

— Ну, вот, Андрей,— произнес с некоторой торжественностью голос Наставника.— Первый круг вами пройден.

Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая «Ленинградская правда» с большой передовой под названием: «Любовь ленинградцев к товарищу Сталину безгранична». Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас,— гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего. Вернее — отдельно от будущего...

Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:

— Первый? А почему — первый?

— Потому что их еще много впереди,— произнес голос Наставника.

Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно — еще более! — невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.

— Изя! Изя! — пронзительно прокричал женский голос в колодце.— Изя, иди уже ужинать!.. Дети, вы не видели Изю?

И детские голоса внизу закричали:

— Иська! Кацман! Иди, тебя матка зовет!..

Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров.

1970—1972, 1975 *Конец*

ЖИВОПИСЬ И СЦЕНОГРАФИЯ МАРИНЫ АЗИЗЯН

Озеро «Красавица». Легенда. Холст, масло

В жизни ей повезло — были простои на киностудии, отсутствие театра-сотрудника, безденежье, но сегодня, в отличие от многих, Марина Азизян имеет право считать, что в ее творчестве нет сделанного против творческой совести. Везение — но оправданное внутренней культурой и порядочностью, воспитанием семьи, учителей школы на Пятой линии, Николая Павловича Акимова, собственным запасом прочности.

Было и есть везение, оправданное талантом — радостное творческое общение, возможность говорить общим языком с замечательными режиссерами театра, кино, хореографами — Н. Акимовым, Н. Кошеверовой, Л. Якобсоном, И. Авербахом, К. Ершовым, А. Кайдановским... Эта работа обращает Азизян к самым разнообразным жанрам, и каждый раз художница, колорист, психолог, стилист обнаруживает безошибочно точное их понимание. Ее эскизы могут быть декоративными, празднично-яркими, искриться радостью выдумки — в оформлении фильмов-сказок, детских спектаклей, представления балета на льду. Художница создала мир драгоценных романтических видений в декорациях к спектаклям цыганского ансамбля и балета «Щелкунчик»; проникновенна лирика зрительного ряда Азизян в фильмах по русской классике, пронзительно достоверна «ленинградскость» фильма «Монолог». Но если эта огромная, на полной отдаче, кропотливейшая работа — пусть счастливое, в общении с единомышленниками, и все же «жертвоприношение», растворение себя в общем мышлении, то живопись Азизян — это только ее, собственное, разговор с собой, открывающий новую глубину художницы, свидетельство бесконечного внутреннего тревожного обновления, результат мыслей о пути и судьбе — своей, страны, жизни, движение ее к высшей точке собственной души.

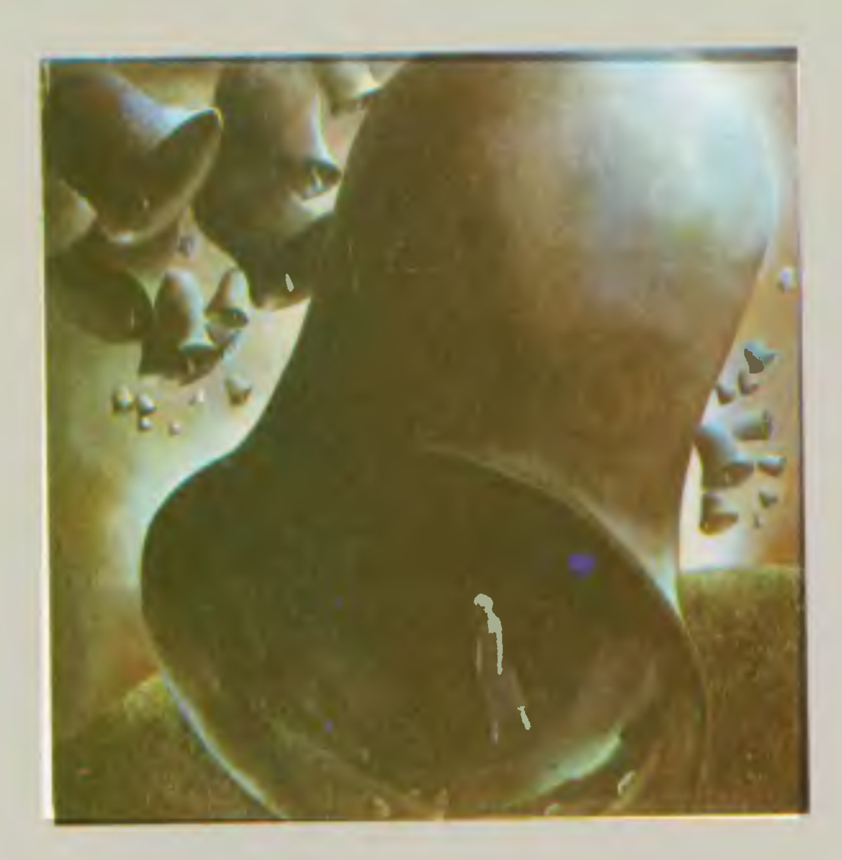
Александр ЛАПКИНЕН

Эскизы костюмов к спектаклю «Двенадцатая ночь» В. Шекспира

Мария

Сэр Эндрью Эгьючик

Три Парки. Холст, масло



Колокола одиночества
Холст, масло

Эскизы костюмов к спектаклю
«Двенадцатая ночь» В. Шекспира

Дворецкий Мальволио

Оливия

Нина
КОРОЛЕВА

Тихая июньская ночь в Ленинграде

У моей приятельницы дальней,
Поэтессы, умницы притом,
Под окном квартиры коммунальной
Рос каштан с пятиэтажный дом.

И в июне, до начала лета,
Позабыв заботы и футбол,
Собирались «на каштан» поэты
За ее гостеприимный стол.

Ночь гасила белые соцветья,
Погружая в темную листву.
Мирный час двадцатого столетья —
Лепестки, плывущие в Неву,

Спящий город Китеж, где навеки
Я во всем, и это все — во мне:
И каштан, и торфяные реки,—
Как прием на дружеской волне...

Сестре Лене

Уступаю я место другим на садовой скамье,
И прощаю измену, почувствовав жалости бремя,—
Потому что росла я в большой и недружной семье
Не в военное время, а в послевоенное время.

Нет сомнения, что на войне были все молодцы,
Все спасали детей, пригревали в прославленных ротах.
Но потом — только те, у которых вернулись отцы,
Жили полною жизнью, а мы — на очистках и крохах.

Как хотела бы я жить надменно и не понимать
Колебаний чужих, оскорбленно играть в благородство!
Нет,— я просто прощаю, как будто я Родина-мать:
За тоску, за печаль, одиночество или сиротство.

◆◆◆

Не то чтобы устала
От всякой чепухи,—
Однажды перестала
Друзьям читать стихи.
Однажды потеряла
Товарища плечо.
А прежде — доверяла,
Любила горячо...

Так вот какое горе!
Прошло немало лет
С тех пор, как в коридоре
Тетрадку брал поэт.
Читали мы на кухне,
По кругу, за столом.
И вечно не потухнет
Та лампа в том былом.

◆◆◆

По телевизору кино
Который день подряд...
Мои ровесницы давно
О детях говорят:
Что их таланты — велики,
Успехи — велики.
А я гляжу из-под руки:
Как годы коротки!

Давно ли — только о себе,
О правде, о судьбе.
И — не себе, а все тебе,
Любимому, тебе!
Давно ли — счастье в шалаше,
Давно ли — ой, давно!
А нынче — разве о душе,
А больше — о кино...

ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА

Михаил
ГЛИНКА

ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ

Записки пятидесятилетнего

У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверно будут стоять в связи со сказанной...

П. Я. Чаадаев, письмо.

Знакомый физик-теоретик с тремя другими физиками схватились в споре после заседания. Когда они опомнились, то ресторан при гостинице, в которой жили участники конференции, уже закрылся. С заднего хода ресторана на стук оголодавших ученых им не без сопровождающих слов вынесли по тарелке суточных щей и по куску хлеба, но сказали, чтобы с тарелками этими они шли к себе в номера — никто ради них тут ночь дежурить не собирается. Ученые были людьми равнодушными к ресторанным интерьерам, и вопрос, где ужинать, показался им совершенно второстепенным. С полными тарелками они проследовали по лестницам и коридорам, продолжая спорить. Дежурная на этаже, увидев странное шествие, подняла крик, но деваться было уже некуда, и щи были впущены в один из номеров. Достали из карманов хлеб.

— А ложки? — спросил кто-то.

Щи окончательно остывали, чего нельзя было сказать о коридорной. Вопрос, нет ли у нее ложек или хотя бы вилок, вывел ее из себя повторно. Притворив дверь, теоретики задумчиво присели перед своими тарелками.

— А если очками? — сказал один.

Они переглянулись. Оказалось, что в очках все четверо.

Ну, спросите вы, что же дальше? Дальше — все нормально. Съели. Место действия — Москва. Время — нынешнее.

Вам не кажется, что мы стали странными людьми?

У окошечка на почте старый дядька, задерживая очередь, кричит, что он — инвалид войны и что собес отправил деньги три недели назад.

В ответ тоже крик.

— Из своих, что ли, я вам выдам? Нет вашего перевода! Чего ходить-то? Телефон бы лучше записали...

Но старый человек уже ничего не слышит. Предынфарктный, весь в поту он поворачивается к очереди. На обношенном тяжелом пиджаке чешуя анодированных медалей, от которых все устало отводят глаза.

Старик смотрит на очередь в упор, но кажется, что ее не видит.

— Расстреливать надо! — вдруг орет он.— Сталина на вас, сволочей, нет!

В 1940 году, после трех лет отсутствия, вернулся домой мой отец. Мне было четыре года. В памяти остался цвет отцовского лица. Помню скамейку в саду (мы жили в Старой Руссе), и на этой скамейке сидит, согнувшись почти вдвое, пока еще полузнакомый мне отец, а перед ним или точнее слегка сбоку стоит на коленях второй человек, совсем незнакомый. Говорит ли этот второй что-нибудь или молчит — не помню.

Отец погиб на фронте в сорок втором, мать умерла в сорок третьем. Когда, уже через несколько лет, я спросил у бабушки, что мог означать стоящий на коленях человек, ничего объяснить она мне не смогла. Сказала только, что к отцу перед самой войной приезжали двое или трое из тех, с кем он вместе был в тюрьме. О том, в каких условиях сидел отец, бабушка не знала, он ей об этом не рассказал. Знал об этом только его брат, мой дядя, который после гибели отца меня усыновил. Коечем он со мной поделился, правда, уже в хрущевские времена.

Забирали отца с Терского военно-конного завода на Северном Кавказе, где отец был начконом (заместителем директора по научной части). Обвинили в отравлении лошадей. Только с Терского завода по этому делу пошло человек тридцать. Кроме начальников, зоотехников и тренеров, были арестованы и табунщики и конюхи. Сидели сначала в Минводах и Пятигорске, потом в Ростове. Все, куда можно было натолкать арестованных, было переполнено.

Время шло, а следствие по этому делу двигалось, видно, не так быстро, как требовалось, и вот, когда началась летняя жара (не могу точно сказать, был это 38-й год или уже 39-й), всех, кто еще не признал свою вину, после ночных допросов стали сгонять в самые тесные камеры и оставлять там до следующей ночи. Отцу выпала камера, где, стоя вплотную, помещались восемнадцать человек. Через камеру проходил снизу вверх жестяной рукав, который отводил жар из находившейся этажом ниже кухни. Тех, кто умирал, до конца дня не забирали, и они продолжали стоять между живыми. Общими усилиями их старались передвинуть к горячей трубе. На следующий день мертвых заменяли живыми. Кроме мертвых заменяли и тех, кто ночью подписывал показания на себя, а также на других.

Следствие по делу военно-конных заводов закончено так и не было. Несколько человек до самого 40-го года во вредительстве все же так и не признались. Благодаря этому после падения Ежова дело попало в разряд тех, которые было приказано считать затеянными Ежовым с вредительскими целями. Отцу повезло, он вернулся домой. Правда, за время, что его не было, умер его отец, мой дед, не числивший сына в живых (ни одного известия за три года), в сухой стручок превратилась бабушка, да заболела мама, туберкулез бывает ведь не только от дурного питания да от палочки Коха...

Что же касается зеленого его лица, когда он вернулся из тюрьмы, да того, что со сломанной, неверно сросшейся ногой он рвался поскорей на фронт и погиб почти сразу — так кому это теперь интересно? Реабилитировали ведь? Реабилитировали. Сняли судимость? Сняли... Так чего же мне еще надо?

Реабилитационные публикации... Они идут сейчас в нашей периодике сплошным, все нарастающим потоком — в пятидесятые и шестидесятые годы реабилитировали имена и целые их списки, возвращали из лагерей тех, кто уцелел, сейчас пришло время реабилитации задушенных в прошлом научных направлений, достижений свободной мысли, высот литературы, разгромленных учреждений. Недавно общественное мнение ленинградцев обратилось к памяти Музея обороны Ленинграда. Роль этого музея в душах выстоявших блокаду была подобна роли вечевого и поминального колокола, и подобно судьбе вечевого колокола, у которого вырвали язык и который потом сбросили с колокольни, чтобы он никогда больше никого не объединял, была и судьба этого музея, разгромленного по «ленинградскому делу». Впечатление от того музея сейчас уже не передашь. Творческой загадкой его экспозиции было то, что музей внушал посетителю ощущения блокадника. То был не просто музей — это был музей-театр. Создателем экспозиции и директором его был Лев Львович Раков. В шестидесятые годы мне посчастливилось знать этого человека близко. Крупнейший, античного масштаба администратор, деятель министерского ума и музейщик-энциклопедист, он был посажен дважды — в тридцать седьмом и в пятидесятом.

Лев Львович рассказывал, как однажды поздней осенью сорок восьмого года он был поднят ночью. Офицеры госбезопасности, ничего не объясняя, привезли его в музей, а через некоторое время в музей приехал Берия. Одежду Ракова ощупали, и ему было приказано следовать в двух шагах за министром. Сзади шли еще двое. Берия медленно прошел из конца в конец экспозиции, приостановившись лишь около стоящих вдоль стен снарядных гильз и разряженных бомб. Пенсне его блеснуло. Не произнося ни одного слова, он вышел из дверей музея.

По «ленинградскому делу» Л. Л. Ракову вменялось в вину то, что он создал склад оружия (Музей обороны) для перехода Ленинграда на сторону Финляндии. Можно было сказать — на сторону Норвегии или Боливии, роли это не играло. Принудить подследственного признать свою вину решили самым простым способом — ему не давали спать. Менялись «работавшие» ночь за ночью следователи, утомившегося сменял отоспавшийся. Раков же ночь за ночью сидел на табуретке или стоял, отвечая на вопросы. Под утро отводили в камеру. Нары в камере были убраны, при первой же попытке прислониться к стене грохотала дверь: «Не спать!». По его словам, уже на четвертые или пятые сутки он перестал понимать, где он, кто перед ним, что у него спрашивают, что он отвечает.

— Это был уже не я,— говорил он.

Потом ему объявили, что на основании его же признаний он приговорен к двадцати пяти годам тюрьмы, и повезли куда-то вместе с другими в товарном вагоне. Лежать ему досталось около плохо подогнанной откатной двери. В щель под дверью иногда удавалось что-нибудь увидеть. Однажды ночью состав медленно пропола мимо освещенной прожекторами станции. Раков увидел ноги часового, приклад винтовки, асфальт голой, залитой мертвым светом платформы, а потом в строгом порядке, во много рядов мимо поплыли белые ноги в белых сапогах. Он ничего еще не мог понять, и тогда ноги сменились белыми торсами Сталина. Сборный гипсовый памятник ждал рассылки по колхозам. Раков говорил, что только после этого ночного видения он понял — в его аресте нет никакой ошибки. И что он больше никогда никуда не выйдет.

В лесном костромском городке Кологриве, куда в сентябре 41-го после двух месяцев пешего пути из Старой Руссы мои бабушка и мать прикатили детскую коляску со всем тем, что у нас оставалось, и привели за руки нас с сестрой, был дом с глухим забором и закрытыми на улицу ставнями. Иногда в щель калитки испу-

ганно выглядывал тощий седой человек, но тут же калитка захлопывалась. О судьбе этого человека я узнал много позже. Не очень заметный артист МХАТа в 37-м, не выдержав того, что арестовывают то одного, то другого из его друзей, он бросился из Москвы в Горький. Мхатовца приняли в Горьковский театр. Однако не успел он сыграть и в первом спектакле, как аресты начались и там. В 38-м он уехал в Кострому. Но НКВД чистило и Кострому. Он побежал в Галич, но арестовывали и в Галиче. Так мхатовец добрался до Кологрива. Думая, что здесь, наконец, он в безопасности, артист обзавелся в Кологриве домиком и стал руководить самодеятельностью. Но аресты пришли и в Кологрив. В городке из четырех тысяч жителей о каждом из них становилось известно сразу. Дальше бежать было некуда — до самого Северного Урала стояли леса. У мхатовца начались припадки — выражались они в том, что он останавливался столбом и стоял, не в силах ни сдвинуться дальше, ни сказать слово. После того, как арестовали директора Дома культуры, артиста в городе больше не видели — он затворился в своем доме. Мы, дети, считали его сумасшедшим...

Начальника генштаба генерала армии Мерецкова, доискиваясь его участия в заговоре, били в августе — сентябре 1941 года резиновыми палками. У нас было собственное производство этих палок, или мы их ввозили?

Мой дед в семнадцатом году был военным врачом, носил погоны. В двадцатые и тридцатые его арестовывали в Старой Руссе шесть раз. Как только, говорил дядя, колебался урожай на Украине. Сам дед, возвращаясь из-под очередного ареста, говорил неизменно:

— А вот не надо было лезть не в свое дело.

Имелось в виду то, что в 1919-м он был инициатором сооружения в Старой Руссе трамвайной линии.

Самого дядю арестовали в тридцать восьмом. Несколько дней он просидел во внутренней тюрьме при Большом доме на Литейном проспекте. Затем, так же не объясняя причин, как при аресте, его выпустили.

В пятьдесят пятом году, через несколько дней после того, как «Известия» опубликовали снимок, на котором можно было увидеть, как дядя ведет по Эрмитажу Джавахарлала Неру, к нему на какой-то научной конференции подошла пожилая женщина и, не сказав своего имени, спросила, не родом ли он из Старой Руссы и не сын ли он врача. Дядя ответил утвердительно.

— Я так и думала,— сказала женщина.

Затем она сообщила, что в тридцать восьмом году по направлению райкома работала в особой тройке и это она вычеркнула дядю из списка. Ни своей фамилии, ни того, что сделал для нее дед, она не сообщила.

Еще двоих моих дядьев по другой семейной ветке, родных братьев, послали на Беломорканал, а затем на высылку в Сибирь и в конце концов дали им по «минус семь» (то есть без права жить в Москве, Ленинграде, Киеве и так далее). Причиной было то, что оба они отправились в 1914 году на фронт вольноопределяющимися, да еще на собственных мотоциклах. Они и в старости — уже в шестидесятые годы — были оба сухие, прямые, высоченные. В поселке под Новгородом, где уже тогда не было мяса и где они доживали свою жизнь, один соорудил теннисный корт, а второй давал бесплатные уроки французского выпускницам школы. Нет, этих было за что.

К нам в эвакуацию в сорок втором приехал четырнадцатилетний Гарик — так звали его потом в семье. Гарик был тощий до того, что казалось, его буквально высосали. Ему сделали бутерброд со сметаной — до конца войны события такого больше не помню. Гарик был нам никем, неизвестным до тех пор сыном случайной знакомой. Приехал он к нам по обратному адресу на письме.

История Гарика для тех лет довольно обычна: арест и гибель в тридцать восьмом отца, быстротечный рак у матери. Но тут началась война, немцы приблизились к Ленинграду, и мать, чтобы спасти Гарика, едва волоча ноги, ушла из Мечниковской больницы. Она успела вывезти Гарика из сужающегося кольца и через несколько дней уже в пешем пути около какой-то станции умерла. Гарик похоронил ее, сам выкопав руками яму.

В пятьдесят четвертом году при реабилитации отца Гарику показали донос, который привел отца к гибели. Донос был написан братом отца, жившим в той же квартире. Однако улучшение жилищных условий дяде не помогло — он умер в блокаду.

На нашей лестничной площадке еще недавно (сейчас почему-то то, что было пять лет назад, кажется бывшим только что) жила седая, худущая, нервно прилипающая глазами к любому, кто на нее посмотрит, женщина из той породы, кого зовут божьими одуванчиками. Но одуванчиком она бывала только днем. Ближе к ночи ее часто можно было увидеть на лестнице. Вцепившись в перила, она горящим взглядом следила за двором. А во двор к нам то и дело приезжали фургоны. Тут были зады двух магазинов — хлебного и кондитерского, и круглые сутки, а ночью это было особенно слышно — во дворе вперемешку с шумом моторов хлопали дверцы этих фургонов. У Ольги Петровны, так звали эту женщину, окна комнаты выходили в другой, тихий двор, но тот двор ее не интересовал. В сумерки она часами стояла на лестнице и много раз, когда совсем темнело, звонила к нам. Вся трясясь, она просила, чтобы ее спрятали. Особенно она почему-то боялась тусклых подфарников, которые ползали туда-сюда по двору.

Кончила она в психбольнице. От ее приятельницы, приехавшей за какими-то мелочами, мы узнали, что Ольга Петровна работала в институте растениеводства.

— Эта история с Вавиловым...— сказала, почему-то оглянувшись, знакомая Ольги Петровны.— Ну, да вы молодые, что вы знаете?

Несколько дней назад в поселке, где у нас летняя изба, на тропинке, ведущей к платформе, оступилась и сломала ногу какая-то женщина из местных. Лежала она метрах в тридцати от рельсов, и мимо нее от электрички и к электричке каждые полчаса шла вереница людей. И с платформы лежащую, конечно, видели тоже. Несколько раз проходящие даже с ней заговаривали, если были знакомы. Раза три-четыре о том, что она лежит около платформы, давали знать ее домашним — дом-то был неподалеку. Сломала она ногу часу в седьмом вечера, забрала ее «скорая помощь» в такое же время на следующий день. Из дома так никто и не пришел. Правда, говорят, ночь была теплая.

Ну, и что из того, скажут мне, при чем здесь и Сталин, и сталинщина? Теперь что же — любое проявление бездушия и любая жестокость имеют один адрес? А что — до 1924 года или даже до 1879-го, когда Сталин родился,— мало было в мире жестокостей?

Статья моя меньше всего претендует на то, чтобы быть подобием юридического доказательства. Я лишь пытаюсь передать ощущение свое от того мира, в котором живу... Нравственность, мораль... Что там теоретизировать, откуда они возникают? Население поселка, о котором я говорю, процентов на восемьдесят — переселенцы в первом поколении. У кого ни спросишь — Псковщина, новгородцы, калининцы, изредка Тамбовщина да Смоленск. Этот поселок — не первое место в их блужданиях, и кругом — по всей железнодорожной ветке — такие же, тяготеющие к громадному городу поселки переселенцев. Кто бежал от раскулачивания, кто из-за голодухи в глухих деревнях, кто прилепился сюда, вернувшись из лагерей, кого перешвырнула откуда-то война. Дом от дома десятками лет живут обособленно, на оборонительной молчаливости и без всяких общих дел, хотя теперь-то уж все не так, как было,— цветочные парники, клубника, частные пилорамы,— но по-прежнему друг с другом общего — лишь забор. Уже и кладбище около поселка во много сотен могил, но даже могилы-то друг от друга как-то порознь. И в поселке ни общих праздников, ни своих умельцев, ни своих обычаев. А уж чтобы выделялись какие-то особо уважаемые люди... Какие там уважаемые — все одна крупа... И женщина со сломанной ногой сутки лежит на земле у платформы. Кому и перед кем в таком поселке, где люди, десятилетия живя рядом, не здороваются, будет за это стыдно?

Вот я и говорю — давайте припомним, когда, в какие годы мы превратились в крупу?

У одного тут, в этом же поселке, грядок накопано — по участку не пройти. Когда клубника начинает поспевать — он сам не свой: ранняя ягода идет рублей по семьвосемь. Дрозды в это время как раз ставят молодых птиц на крыло. Ну, и порхают повсюду, а тут его грядки. Он ловит дрозда в специальные силки и зажимает его в расщепленную рейку. Не совсем насмерть, а чтобы все время верещал. И втыкает рейку посреди грядок. Если удачно защемить, то одного дрозда хватает больше чем на сутки. Птицы, слыша такой крик, близко не подлетают.

Тогда он спит спокойно.

Закон, говорите? А никакого закона насчет дроздов у нас нет. У нас вообще многих законов еще нет.

Когда в 1826 году понадобился конкретный исполнитель, чтобы вешать пятерых декабристов, так обыскались. Больше пятидесяти лет в России никого не казнили. Исполнителя все-таки нашли, да он ничего не умел — веревок не догадался проверить. Еще пятерых каторжан, а поименно — Бочарова, Голикова, Бондарева, Птицына, Непомнящего казнили за попытку военного бунта на Зерентуйском руднике в 1828 году. Декабрист Сухинов, поднявший их на бунт, удавился, не дожидаясь казни.

При Николае I многих гоняли сквозь строй и многих забивали насмерть, но следующая одномоментная, если можно так сказать, казнь, когда один человек, получив приказ, убивает как профессионал-убиватель другого человека, состоя-

лась лишь в 1861 году. Антип Петров, крестьянин, был казнен за организацию крестьянских волнений. И опять, небось, профессионала искали.

В тридцать седьмом и тридцать восьмом годах, может, представителей каких других профессий уже и не существовало у нас, да только не той, о которой речь. Они несли свою службу по подвалам, и кто опилки в кучку заметал после очередного, кто в зубе ковырял, а кто и подремывал в ожидании, когда на лестнице опять заслышатся шаги. И в фанерной тумбочке была лишь коробка с патронами да завернутый во вчерашнюю газету завтрак. Сколько сотен таких подвалов у нас тогда работало месяцами? Сколько глухих дворов и пустырей? А еще в скольких тысячах мест это происходило даже без того, чтобы запомнить, где произошло? Вывели, да шлепнули, да землей завалили... А где? Да кто это упомнит, особенно в условиях полной немоты, которая предписывалась, да если и тех, кто это делал, а потом и тех, кто шлепал этих, тоже настигло?

И пенсионер с медальками на выходном пиджаке, побагровев, кричит: «При Сталине порядок был!». Был, что ж тут спорить. Одна из особенностей этого порядка заключалась в том, что все должны были благодарить. Кусок хлеба, крыша над головой, чуть ли что не возможность дышать должны были восприниматься — и воспринимались — как льготы. Серые от въевшейся копоти тринадцатилетние фэзэушники на концертах декламировали стихи об отеческом взгляде и о всепроникновении в любое чаянье. Самолеты летали, поезда неслись, бур достигал нефтяного слоя, ученому приходила в голову новая мысль — не иначе, как вследствие верховной заботы.

Шестого марта пятьдесят третьего одна из моих дальних теток, происхождением дворянка, у родителей которой был до революции этаж дома на Суворовском проспекте, тихо рыдала, глядя на портрет Сталина в черном крепе, который она поставила посредине комнаты на стул.

— Что же теперь будет? — повторяла она и снова начинала рыдать.

Ее приехавшая из-под Новгорода сестра (жена мотоциклиста 1914 года) заплаканная на цыпочках ходила по длинному коридору коммуналки и шепотом говорила на кухне с соседками.

Мне было семнадцать лет. Я учился в Нахимовском училище, четверок в той четверти у меня не было, и за это в политотделе мою фамилию вставили в список тех, кем была подписана заметка в «Ленинградской правде». В связи с постигшим народ горем мы обязывались учиться еще лучше.

В той деревне под Старой Руссой, откуда была родом няня, сорок три года жившая в нашей семье, после войны оставалось то ли шесть, то ли восемь мужиков. Помню, как по деревне (дом наш в Старой Руссе сгорел в сорок третьем, и теперь уже не няня жила у нас, а я жил у няни) побежал слух, что приехал уполномоченный и арестовал двух мужиков за то, что вздумали косить на склоне курганов у речки. Эти, как говорят, варяжские еще курганы не нужны были никогда никому, разве, может, понадобятся археологам XXIII века. По весне они покрывались скудной травкой, совершенно выгоравшей к июлю.

Один жестоко и долго сидевший человек (его уже нет на свете) рассказывал мне, что следователь добивался от него, чтобы он сообщил следствию о степени близости с женщиной, которую любил (ее уже нет тоже). В брак они не вступали, но в органах НКВД была какая-то инструкция, по которой (для того филькина суда, что в конце следствия все же формально происходил) следователь должен был представить данные о том, были ли у подследственного любовные привязанности и какой, если можно так сказать, степени. От этой степени зависела судьба женщины: неприятности на работе, увольнение, высылка из большого города, ссылка на поселение, лагерь.

Человек, рассказывавший мне это, был ученым-историком, его друзьями были поэты, режиссеры, в том кругу, где он провел свою жизнь, мужчины вставали, если в комнату входила женщина.

Следователь не был жестоким от природы человеком. Даже, может быть, добрым. Иногда, если ему казалось, что его слышат за стеной, он сильно и звонко бил себя ладонью по заду и кричал грозно:

— Ну, что, сволочь, будем в молчанку играть?

И, не глядя в глаза, пододвигал портсигар.

Мой знакомый рассказывал, что в какие-то дни у него даже возникло ощущение, будто они оба и, можно сказать, даже сообща понимают, до какой степени условно их разделение на охотника и жертву. Следователь вел не первое дело, подследственный сидел не первый раз.

Отношения накалились, когда следователь своими вопросами коснулся женщины.

Подследственный не желал сообщать ничего. Он все отрицал. Знаком был? Был. И это все. О чем говорили, у кого в гостях вместе бывали, куда вместе ездили — обо всем этом подследственный не желал сообщать ни слова. Какие были отношения? Никаких.

Следователь — он был из железнодорожных рабочих — уже кричал не для виду, лицо подследственного было в кровоподтеках.

— Ну, как это никаких? — кричал следователь.— Как это никаких отношений? Чего ж вы три года-то делали? Газировку пили? Нет, ты как мужик мне ответь — щупака ей давал? Не понимаешь? Да ты не отворачивайся, не отворачивайся! Я тебе отвернусь! Щупака давал, спрашиваю?! Давал или нет?

Ее все-таки сослали в Казахстан, куда ссылали неближайшую родню тех, кто шел по «ленинградскому делу».

Ну и время досталось нашим родителям!

Музейной экспозиции приписывают роль тайного склада оружия для подготовки бронетанкового государственного переворота, столичный артист в ужасе забивается в глухомань, человека, первым словом в жизни которого было слово «тпру!», неделями держат стоймя в горячей камере, чтобы признался в отравлении любимых своих лошадей, начальника генштаба порют не ребенком, а уже в звании генерала армии, заместителей наркома обороны расстреливают, как бандитов, без суда... Ученый исчезал за то, что не желает признавать лженауку, генерал за то, что занят укреплением армии, толпа крестьян — за то, что хотели бы прибыльно вести хозяйство...

— При Сталине порядок был! — кричит беспомощный старый человек.

Был порядок, был. Был такой порядок, что даже через тридцать пять лет после его отмены у половины наших сограждан как будто не тем концом растут из плеч руки, уже тридцать пять лет в нашей стране нет массовых казней, а все не можем никак обеспечить себя хлебом, детей своих напоить молоком, десятки миллионов продолжают жить по коммуналкам и общежитиям, и до сих пор двое работающих родителей в силах прокормить лишь одного ребенка, а второй уже вгоняет семью в долги. До сих пор наши больницы для обыкновенных пациентов по своей нищете и скученности больных ужасающи, наше народное образование нам самим, когда, наконец, на него обратили внимание, кажется абсурдным до того, что, втянув голову в плечи, мы не знаем, с чего начать его реформы. Нам по-прежнему не достать билет на нужный поезд, нам по-прежнему и даже еще более недоступны гостиницы, и мы спим на полу на вокзалах и в аэропортах. Лекарство, какую-нибудь копченость или красивую бутылку к праздничному столу, нужную книгу, модную кофточку, необходимую позарез автодеталь мы можем достать лишь по чьему-то телефонному звонку, и, в случае удачи, нам, как участнику общего заговора, предписывается скользить с черного хода, прятать вожделенное за пазуху от общих глаз и, рабски радуясь, уносить добытое от этих общих глаз поскорей и подальше. Расплачиваемся же мы за эти секунды счастья кто чем может — червонцем «сверху», совестью, блатом в другом магазине или в другой сфере дефицита. Не боясь абсолютно ничего, нас может вытолкать из любых дверей швейцар, в любом магазине походя обхамить продавец, простудить или заставить задыхаться от жары проводник вагона. Ожидающие сеанса находятся во власти уборщицы, которая возит мокрую тряпку по фойе, желающие получить жактовскую справку — под властью паспортистки, больные — под властью санитарки; а уж все перечисленные знают, как показать, кто такие они и кто — мы. Треть тех комбайнов, что мы выпускаем, никому не нужны. Мы изготовляем два типа электроутюгов (и не дай вам бог купить тот, что посложней), а на острове Кипр в первом же магазине электротоваров этих утюгов двадцать четыре типа. Мы все чешем в затылке, что бы еще такое попродавать за границу, но продавать, кроме сырья да деревянных ложек, нечего, разве что легковушки «Жигули» (за которыми сами стоим в очередях лет по семь) да какой-нибудь нечеловеческого размера, а потому и в единственном экземпляре изготовленный геологический бур. В придачу к этой гималайской бормашине мы готовы перевести в валюту любое — вплоть до сторожка для кипячения молока — лишь бы купили. Мы горделиво, хоть и не совсем внятно, настаиваем на приближении некоторых наших отраслей производства к изготовлению изделий на уровне мировых стандартов, но когда даже по телевизору видишь международные выставки и ярмарки все равно чего — книг, автомобилей, бытовой техники — да чего угодно,— то хочется закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать. Заодно это пригодится, чтобы не видеть и не слышать, как четверо ученых-лазерщиков, люди, от работы мозга которых, возможно, зависит недалекое межпланетное завтра, хлебают очками вынесенный им из задней двери кухни супец...

Один из замечательных наших писателей еще в двадцатые годы устами своего героя сказал, что если петь хором в рабочее время, то сначала в сортире замерзнут трубы, а затем лопнет котел... Родная демагогия была еще во младенчестве, а литература уже предупреждала, что последствием показной преданности даже самым высоким идеям может стать лишь

общий развал. Массовые репрессии невинных — это особая, высшая форма показной преданности светлому будущему. К несчастью, дар анализа окружающего распределен в мире очень неравномерно, и множество наших сограждан, прожив длинную жизнь и наблюдая ее десятилетие за десятилетием, никак почему-то не свяжут между собой то, что было, с тем, к чему мы пришли к 1985 году.

— Перестройка,— говорят они.— Да где ж она? Где эта перестройка, если мы перестраиваемся уже третий год, а все не видно никаких результатов?

Остановитесь, сограждане, оглянитесь, посмотрите кругом.

Разве могучее и ветвистое дерево, питающееся почвенной чистой влагой и растущее под настоящим солнцем и вовремя выпавшими дождями, можно вырастить за две недели? Разве для этого не нужны годы и даже десятилетия? Республику объявить недолго, говорится в одном хорошем романе прошлого века, да где взять республиканцев? Вопрос такой — откуда нам в стране, где еще никогда не было народовластия, набрать быстро и много тех людей, которым принципы демократии дороги, да не просто дороги, а дороги настолько, что за торжество этих принципов они готовы платить своей судьбой,— стоит перед нами сейчас.

Поколение, предшествовавшее моему, было исхлестано временем. Однако родители, оберегая нас, старались, сколько возможно, оградить нас от свидетельств общественного зла, и потому большинство из нынешних пятидесятилетних выросло в климате отчасти искусственном. Заклеивая в учебниках портреты казненных маршалов, мы не знали — а по детскому консерватизму, который чаще всего предпочитает скудную и однозначную информацию обильной и многозначной — и не стремились к тому, чтобы знать, что думают об осуждении этих маршалов иные из наших родителей. Жертвенное, а точнее саможертвенное двоедушие их, когда они не желали грузить на нас свои сомнения и беды, обернулось двоедушием другого типа в моих сверстниках. Наши родители, в основной своей массе будучи, во-первых, энтузиастами идеи и патриотами, и лишь уже, во-вторых, специалистами, родителями, жителями Подмосковья или Уфы, лгали нам из благих целей, защищая идеи социализма, в то время как государство к концу двадцатых зловеще перерождалось. Но над воротами сталинского режима продолжали красоваться прежние или лишь слегка против прежних подправленные лозунги, и для простых сердец (а та возрастная волна была на беду свою по нашим нынешним меркам простосердечна) лозунгов оказалось достаточно. Из тех, кого не коснулись аресты, мало кто представлял себе истинные масштабы происходящего. То, что видели и могли понять оказавшиеся в лагерях, влияния на оставшихся на свободе уже не имело. Большинство еще не взятых за колючую проволоку продолжало верить в конечное торжество той правды и тех свобод, ради которых революция и произошла. А если где концы не сходились с концами, от детей это скрывали.

Да, жертвенное двоедушие наших родителей обернулось двоедушием совершенно иного рода у моих сверстников. Те готовы были поступиться собой, своим благополучием и даже жизнью за торжество общей огромной идеи, мои сверстники оказались не в пример скептичней и прохладней. Нам прижгли и отморозили те нервные окончания, которые ведают общественно-политической восторженностью. Никакой общественной идеей нас не возмутишь до взрыва и не восхитишь до того, чтобы мы хватили шапкой оземь. Призывом на собрании сообщить о своих мыслях нас теперь не вызовешь на опасную откровенность.

Гипнотическая вера предыдущего поколения в правдивость любого напечатанного слова нам не передалась. Моему сверстнику, когда он повзрослел, не то чтобы смешна, а скорее даже скучна показалась бы такая доверчивость, а уж к пятидесяти нашим годам нас уже ничем не удивишь. За нашу пятидесятилетнюю жизнь столько раз не выполнялось то, что торжественно обещалось в газетах, столько раз ухудшалось то, что при истинном народовластии должно бы было лишь улучшаться, столько раз громко награждалось то, за что по здравому смыслу полагалось судебное преследование, столько раз подвергалось публичному, государственному разгрому то, что требовало награды и уважения, что какой уж тут ждать доверчивости? У множества моих сверстников возникло лишь желание отстраниться от этого процесса оглупления, обмана, циничного и безвозвратного разворовывания всего, что близко лежит...

Вот я пишу «мой сверстник», «в моем сверстнике», «для моего сверстника» — и спохватываюсь. Кого же я имею в виду? Ведь те, о ком я пишу, отнюдь не составляют большинства. Но я отличу их в толпе, обнаружу по отдельной реплике в метро, замечу на собрании, с полуслова узнаю, если столкнет общее дело. Я пишу «сверстник», этим словом принято обозначать возрастную и только возрастную категорию, но я имею в виду сверстничество духовное. Оно лишь в значительной мере, но не вполне совпадает со сверстничеством возрастным.

Из всего того, что наиболее определило духовный строй тех людей, о которых идет речь, доминирующим событием был

XX съезд. Даже война, главное историческое событие в жизни народа за последние пятьдесят лет и источник грозной непогоды в наших детских душах, не оказала такого влияния на формирование наше, как этот съезд. В те дни мы вдохнули другой воздух, до тех пор даже не понимая, каким спертым было то, чем мы дышали в нашем детстве и отрочестве. Когда же перемены, связанные с XX съездом, стали захлебываться, нам показалось, что захлебываемся и мы. Но никакого — ни общественного, ни политического, ни даже возрастного опыта — дабы объединиться и противостоять — мы не имели. Мы были молоды, не занимали никаких постов и не имели доступа к рычагам. К тому же культ Хрущева, который приходил на смену поре надежд, был не страшный, скорей даже смеховой. Казалось, что даже те, кто лепил ему памятник, похлопывая по сырому гипсу, похохатывают. Памятник был похож на парковую скульптуру. Вместо девушки с веслом на пьедестале водружали добродушного, округлого, мешковато одетого дядьку с початком его любимой кукурузы в руке. По сравнению со сталинскими временами все это казалось буффонадой. После выставки в Манеже Хрущев орал на молодых поэтов и на скульптора Э. Неизвестного, а тот отругивался. И все же никого не посадили.

Но чего только не раздаривалось, вплоть до курортных полуостровов, кто только не награждался, где только с ноги Хрущева не стаскивалась туфля, чтобы шваркнуть ею по столу — молчите, мол! Никто, однако, не молчал, и подхалимы, похохатывая, продолжали лепить парковую скульптуру...

И хотя над Хрущевым в его последний период смеялись уже чуть не в открытую, его смещение было встречено общественной немотой — подобием уже почти забытого, уходившего в прошлое политического паралича. Застыли лица, вмерзли, готовые скользнуть, насмешки. Кому, как не моим сверстникам, было помнить, кто был главным организатором XX съезда и кто в могилу генералиссимуса вогнал осиновый кол...

Тот, кто занял освободившееся кресло, казался поначалу почему-то временным. К нему, как ко временному, особенных требований и не предъявляли. Ну, и что из того, что как-то странно произносит некоторые слова — разве в том дело? Ну, и что из того, что на шахматной доске, перед которой он сфотографирован молодым, фигуры стоят так, как не могут стоять, если игра ведется по правилам? Зато он был, как про него говорили, не злым и даже по-своему сердечным, помнил, к слову сказать, всех, с кем рядом воевал или работал. Но были, конечно, у него и человеческие слабости — любил, например, ордена — и вскоре наградная эпидемия захлестнула страну, поскольку выяснилось, что их любит и еще великое множество людей,— имел обыкновение, прощаясь дня на три, целоваться на аэродроме с провожающими, и во всех бесчисленных наших аэропортах упитанные партийные мужчины перед командировками стали тискать друг друга в объятиях. Говорят, он не любил неприятных известий, а окружение, щадя его, старалось его не расстраивать. Кто ж этого не поймет? Еще он решил поведать миру о том, как воевал и жил...

Как-то мне случилось выступать в обществе слепых. После выступления повели смотреть библиотеку общества. Книги, величиной со строительные плиты, стояли в громадном стеллаже. Книги имелись четырех названий. Изготовление трудоемкое, объяснили мне, всю литературу на язык выпуклых букв не переведешь, приходится выбирать необходимейшее из необходимейшего. Из четырех названий помню лишь два — это были «Малая земля» и «Возрождение».

— А «Целина»? — невольно спросил я.

— Выдавливают,— серьезно ответили мне.— Она ведь только вышла.

И выдавливали, переводили, цитировали на огромных уличных панно, латунными литерами выкладывали на мраморе и граните. На центральных трассах в больших городах стояли пятиметровые портреты, на которых время от времени подрисовывали очередную звезду. Вдоль дорог стояли щиты с графиками. Лихая статистика вычерчивала бегущие в правый верхний угол жирные ломаные линии.

Круговое движение без ориентиров? Предкризисная пора? Застой? Абсурд валового принципа и труда без стимулов виден был в ту пору всем и каждому. Любой участник этого процесса от министра до подсобного рабочего сталкивался с нелепостями в главном и в мелочах ежедневно и ежечасно. Станочнику было невыгодно изготовлять большее число деталей — ему накидывали за это план, мастеру невыгодно переходить в начальники цехов — падала зарплата, завод, ничего не боясь, душил своими отходами окрестности — никого не ущемляющие безналичные штрафы заранее входили в его бюджет. Когда большое судно, торопясь доставить на Таймыр свежие овощи, приходило туда и становилось на якорь, капитаны мелких разгрузочных судов не начинали разгрузки, ожидая минусовой температуры — на морозе расценки были выше. Очистные сооружения Селенгинского комбината строились на линии сейсмического разлома, и об этом было известно еще на стадии проектирования. Сотни тысяч людей с большой помпой

строили БАМ и истратили на это миллиарды. Когда построили, то выяснилось, что по БАМу нечего возить. Работающий очень хорошо и полный бездельник рядом с ним получали одну и ту же зарплату. Страна задыхалась в постоянных нехватках тысяч нужных изделий и в то же время производила то, что никто не желал покупать. Труд по-прежнему не разделяли по степеням его сложности. Редкие, позволяющие себе свободу сопоставлений экономисты усматривали в такой экономике черты, присущие феодальному строю.

Но человек устроен так, что если из его жизни изымают главный смысл, он вскоре начинает так же рьяно занимать свое время бессмыслицей.

Февраль, мороз, воскресенье. Берег Финского залива в Комарове. Весь лед, куда хватает глаз, в черных точках. В некоторых местах словно рассыпаны пачки чая. Это зимние рыбаки.

Часа три дня, кое-кто уже возвращается. Красные, все вполпьяна, из-за воротников пар. Ящик на полозьях, коловорот, тулуп. Какой-то Клондайк, только вместо мешочков золота пять мерзлых окушков.

Идут, идут и идут... Кажется, что там, на льду залива, собрались все мужики города. Другого термина не взять — юношей, подростков, мужчин, стариков на льду нет — все именно мужики: по говору, повадкам, экипировке. Мерещатся обозники времен Ломоносова или партизанские ездовые. Обрывки разговоров в преддверии города уже о городском. На лед, как можно понять, бегут от коммуналки, от Зинкиной злобы, от ее постылых бигудей, ей же бедной негде прихорошиться да переодеться, вся жизнь идет на двенадцати метрах, вся у него на глазах. Зинка на глазах у него и болеет, и волосы свои жидкие красит, он на глазах у нее и пьет, и не по-мужски мельчит в обыденной повседневности, между ними давно уже за все повоевано и дошло до злорадного безразличия... Так что в воскресенье остается одно — на лед. Пусть хоть тридцать градусов мороз, хоть сорок! Многие так обжились на этом льду, что уже, кажется, без него не могут — им хоть хоромы дай и бесплатные путевки по всей Европе, все равно они из зимы в зиму будут упорно добывать из-под полуметрового льда несчастных, похожих на запятые окуньков...

А если бы, думал я, да вместо этого воскресного льда была бы своя лавочка? кафе? мастерская? Переплетная, сапожная? Да даже эти самые крючки по-особому закаливать да затачивать? Или на мормышку перышки вязать, да чтобы продавать было можно? Вон, на Кондратьевском рынке какой торговый жор, хотя все, что позволено — это аквариумные рыбки да вязальная шерсть... Неужто если разрешенным, мечтал я, наконец, окажется хотя бы мелкое ремесленничество — неужто эта невостребованная обществом толпа праздных мужиков и тогда попрет нагуливать себе багровые рожи на кронштадтский лед? Неужто так же летом будет валить валом в лес турист с котлами, топорами и, конечно, водкой? Неужто не отпадут от сосцов библиотек и книжных магазинов миллионы псевдочитателей, которые годами и десятками лет читают то, от чего нельзя ни поумнеть, ни научиться ничему, ни хоть в зачаточной мере осмыслить то, что их окружает? (А ведь массовостью своей эта колоссальная псевдочитающая аудитория уже вызвала к жизни — как бы высосала из пустоты — десятки и сотни псевдопишущих, которых ни в какое другое время в истории никто и ни за что бы ни издавать, ни читать не стал...) А толпы тех, кто валом движется на салют? А дивизии грибников? А легионы футбольных болельщиков?

Сейчас мы часто слышим, будто в нашем недавнем прошлом — в его лжи, пороках и преступлениях виноваты мы все до одного. Мнение это высказывается рьяно и пропагандируется настойчиво. Вслед за таким утверждением полезет и следующее: мало того, что виноваты все без исключения, так виноваты еще и все в равной мере... Стоп, товарищи, пункт этот — не проходной. Давайте все же не будем путать тех, кто перестройку готовил, с теми, кто и сейчас, как может, ее тормозит.

У Виктора Викторовича Конецкого вышло за последние два десятка лет не менее двух десятков книг. Книг смелых, можно даже сказать, отчаянно дерзких. Но какой ценой, после какой борьбы они выходили! Как отрывала от них клочья и целые куски цензура, каким осатанелым от этой вечной драки, сопровождающей прохождение его книг через «инстанции», бывал Виктор! И всякий раз, как на писательском собрании он, попросив слово, шел к трибуне, зал, состоявший долгие годы преимущественно из тех, кого контузила еще та, давняя взрывная волна ждановских постановлений, сжимался в сладком ужасе: «Ну, этот сейчас даст!». И он давал. При всех и прямо в лицо тем людям, которые больше всего в жизни не желали, чтобы о их роли в кастрации нашей литературы знали, а тем более говорили открыто...

Таким же был вильнюсский Константин Воробьев. Был и остается таким Фазиль Искандер. И Грант Матевосян, и Белла Ахмадулина... А взять да разделить сейчас поровну на всех прошлые соглашательства да подлости — это было бы, конечно, ловко. Те, кто бежал тогда впереди, сейчас опять норовят забежать. Как им хотелось бы разделить на всех то, чем мы им обязаны! Ну, что здесь скажешь? Такая уж у них... профессия? жизненная задача? натура?

В семидесятые годы моими сверстниками все более овладевал скептицизм, который со временем стал отдавать циническим равнодушием. Скептицизм этот не содействовал, конечно, служебным продвижениям. Нежелание участвовать в общей, уже начинавшей устраивать все большее число людей лжи породило наше отчуждение от общественной жизни. Впрочем, времена энтузиазма масс прошли, и студенческие отряды с гитарами ехали отнюдь не туда, куда бы хотели, а туда, куда их слали по разнарядке. Среди нас было мало добровольцев-фанатиков, и даже в киномассовке мы не смогли бы сыграть революционную армию: не то выражение лиц. Наше поколение, нам приходится это признать, не рождало особенно выдающихся одиночек — из нашей среды массово вышли толковые и уверенно стоящие на ногах специалисты, но ни Королевых, ни Туполевых, не говоря уже о Менделеевых или Вернадских, наше поколение миру не подарило. Нам досталась пересменка истории. Личность не кристаллизовалась, не могла самоутверждаться по той простой причине, что, кроме конца 50-х и самого начала 60-х, эта личность как субстанция государству не требовалась. Личность опять, как во все предшествующее шестидесятым годам тридцатилетие, не только государству не стала нужна, но, чем дальше, тем более становилась неудобна и обременительна. Мечтой чиновника определилось полное и не возмутимое ничем отсутствие новостей. Художественная интеллигенция затосковала. Многие музыканты, режиссеры, писатели, танцовщики оказались в эмиграции. На родине их немедленно и с каким-то явным удовлетворением, будто ничего другого и не следовало ожидать, записывали в предатели. Не только имена их, но и художественные произведения тут же изымались из обращения. Возникали ситуации для Салтыкова-Щедрина. После того, как из-за границы не вернулись фигуристы Белоусова и Протопопов, из Ленинграда, например, перестали пускать кого бы то ни было за границу с женами. Кривое, потускневшее зеркало истории давало слабые блики из прошлого: на заложничестве родственников играли не только при Сталине, тут первооткрывателем не был даже Батый.

В прессе царило студенистое славословие. Получить какую бы то ни было прямую информацию из газет давно уже было нельзя. Расцвело искусство чтения между строк. Порядок перечисления руководящих фамилий, тонкие различия в официальных сообщениях между словами «единогласно» и «единодушно», появление тех или иных статей в качестве предвестников готовящихся кампаний — все это уже существовало как отлаженная система. Пристальным разгадыванием этих газетных ребусов ежедневно был занят огромный и все растущий аппарат бюрократических функционеров. Самым важным здесь полагался вопрос кадровых перемещений. Скрежетала днищем о камни промышленность, блуждало в бездорожье сельское хозяйство, пригорюнилась, как Аленушка у омута, культура — но что значили для бюрократа все эти заботы, если возникал слух, что кого-то куда-то передвинули? Это означало, что вскоре наверх потянется целая цепочка людей. Напоминало это отчасти скалолазание в связках. Были тут и свои законы — сорвавшийся, за редчайшим исключением, снова забраться туда, где был, уже не мог. Долететь донизу, впрочем, ему тоже не давали. Он оставался болтаться, а мимо него все карабкались и карабкались наверх другие. Так выглядело в глазах моих сверстников освоение утесов власти.

Но режим при Брежневе не был для страны кровавым. Пережившим его даже напоминать, казалось бы, нечего о такой особенности тех восемнадцати лет, ясно это, вроде бы, каждому, но напомнить, чтобы объяснить некоторые особенности тех лет — необходимо.

Режим был некровавым, хотя и с политзаключенными, режим был казенно-равнодушным. При всех нелепостях экономики проблемы куска хлеба, грубой и простой обуви и одежды не было уже давно. По стране катились одна за другой барахольные моды: «чешский хрусталь», «польская кухня», «финская мебель», «японская техника». Те, кому не по карману была финская мебель, придумывали себе фетиши попроще: «банлон», «кримплен», куртка «танкер». Множество людей, как выяснилось, с удовольствием нашло, нащупало суть самих себя. Выяснилось, что многие довольны жизнью и от жизни ничего другого вообще-то не надо — было бы только побольше того, что уже есть. Страна омещанивалась, креп хитрый, мордатый бурундучок, начинало казаться, что он сидит уже во всех и в каждом. Бурундучок тащил, сверкая стеклянными глазками, отовсюду все и вся к себе домой...

Как-то под Москвой, в Обнинске, мы снимали комнату хозяев, лишь недавно купивших здесь домик. До этого они жили

на Сахалине. Привезенные с Дальнего Востока вещи еще не были у хозяев разобраны и лежали в кучах. Странная куча была, например, на чердаке. Она состояла из нескольких десятков ученических глобусов: оказывается, на Сахалине наша хозяйка была завучем.

Похоже, что академик Трофим Денисович, вещая о быстрых генетических переменах, оказался не вполне шарлатаном — с ветвистой пшеницей он, правда, промаал, зато как быстро все выходило с человеком — новая порода не только возникла, но сразу и без проверок стало очевидно, какая она жизнестойкая и как легко самовоспроизводится... У себя дома чувствовала себя в универмаге продавщица, крыл презрительным матом всех и каждого слесарь автообслуживания, все уверенней и неподвижней становился затылок бармена. Не понижая голоса, все перечисленные разговаривали через головы клиентов друг с другом. Наступило их время. Из тех, кому они были нужны, имто не был нужен никто. Молодежь повалила в обслугу. Место в пивном ларьке стоило от пяти до пятнадцати тысяч. Продавая «пену», можно было обеспечить себя на много лет вперед. Появились молодые люди, у которых в кармане на всякий случай лежали пачки денег, перетянутые резинками. Торговля и руководящий аппарат начали срастаться: через одних шел поток дефицитных товаров, другие этот поток контролировали — на деле все оборачивалось взаимными услугами. Происходить такое срастание могло лишь при все более полном отключении органов правопорядка от их прямых функций. Возникала коррупция. Видя ее безнаказанность и беспрепятственный рост, люди, даже в самой незначительной степени склонные к социальному анализу, приходили к выводу о несомненности срастания ворья и верховной власти. Без такого срастания торговые, рыбопромысловые, хлопковые мафии, слухи о которых с завораживающими внимание подробностями настойчиво циркулировали в народе, существовать не могли. Иначе почему молчат МВД, прокуратура, партконтроль, госбезопасность? Что происходит? О гниении в сферах, находившихся на расстоянии вытянутой руки от того человека, которому на портретах подрисовывали одну звезду за другой, говорила если не вся страна, то добрая ее половина. Говорили о дочери, зяте, каких-то циркачах. Упоминались бриллианты и валютные миллионы. Предположение о полной несамостоятельности центральной фигуры сменялось уверенностью.

Летом семьдесят восьмого года судно, на котором я тогда находился, зашло в Бремерхафен. Из соседнего Гамбурга в этот день улетал после визита в ФРГ Брежнев. Мы поймали прямую телепередачу из аэропорта. Моряки народ дошлый, и к телевизору была подключена спецприставка, чтобы был слышен и звук, который в ФРГ идет на несовпадающей с нашим звуковым каналом частоте.

Брежнев медленно, оборачиваясь и останавливаясь, брел сквозь толпу провожающих. Вскидывая брови, он все время говорил. Сквозь немецкий язык комментатора до нас долетал его голос. Дословно, к сожалению, я не записал, но смысл раз пять повторенной фразы был таким: принимали хорошо, уезжать не хочется, но сказали, что надо. Лицо у старика было как всегда многозначительное, немцам, должно быть, казалось, что говорит он что-то важное. Переводчик делал вид, что из-за шума на аэродроме не слышит слов.

Потом в кают-компании появился первый помощник и, послушав всего несколько секунд, приказал отключить звуковую приставку. Никто не спросил, почему он это сделал — все хотели и дальше плавать за границу...

Понятным становилось одно — наверху существуют сферы полной безнаказанности. Слухи? Домыслы? Но откуда можно было что бы то ни было узнать точно? По радио? Из газет? Но газеты с унылой бодростью умудрялись, выходя ежедневно, ничего не сообщать. Начинало казаться, что так не только будет всегда, но, даже, что так всегда было.

Официально считалось, что в стране нет ни пьянства, ни наркомании, ни организованной преступности, ни коррупции. Но работники младших звеньев тех органов, что должны были бороться за порядок, быстро соображали, что к чему, и посвоему норовили не отстать.

В середине семидесятых мой приятель-кинематографист, нанявшись шофером-дальнорейсовиком, совершил в поисках сюжета для фильма «левый» рейс с яблоками на государственном фургоне «Совтрансавто» из Молдавии на Урал. Дорожная милиция на всем этом перегоне с нескрываемым удовольствием останавливала машину с ленинградскими номерами. Ни путевых листов, ни накладных, конечно, не было. Такса штрафа была фиксированной — от трех рублей рядовому милиционеру до двадцати пяти старшему офицеру. Когда однажды мой приятель пытался откупиться от майора ГАИ червонцем, тот побагровел:

— Это ты мне, майору, члену партии, десять рублей даешь?!

В те же примерно годы сын моих друзей, вернувшись из армии, пошел работать в городскую милицию. В первый день ему поручили сделать приборку в приемной комнате вытрезвителя. Когда он отодвинул шкаф, то обнаружил за ним полтора десятка пустых кошельков. Их бросали туда через плечо...

Но мне настойчиво хочется повторить — режим давно уже был некровавым. То есть, пристрастно анализируя то время, мы найдем имена не единиц и даже, вероятно, не десятков арестованных инакомыслящих, найдем сведения о том, что некоторые из них попадали в психиатрические лечебницы, найдем имена выдворенных из страны насильно — тут достаточно, кажется, даже Солженицына и Бродского, но... Но все познается в сравнении — и давайте признаемся — по сравнению со сталинской хирургией выглядело это — гомеопатией. За все восемнадцать лет брежневского правления ни одного человека по политическим мотивам не казнили. Из повседневной жизни уходил страх. Во всяком случае страх того рода, который сковывал страну при Сталине. Брежнева никто не боялся. Как руководящая фигура он вызывал в семидесятые годы уже горький смешок. Все понимали, что уже давно, а может быть, и с самого начала он является ширмой. Но вранье, славословие ширились, на прессе и журналистике был по-прежнему глухой намордник. Все, что в прошлых изданиях или нынешних зарубежных могло навести морщину на ровную гладь сегодняшнего дня, приказанного называться «реальным социализмом», было закрыто в библиотечных спецхранах. В «Советском Энциклопедическом словаре» издания 1980 года не упомянуты Владимир Высоцкий, Виктор Некрасов, Александр Солженицын, Фазиль Искандер, Сергей Аверинцев. Официальный справочник делал вид, что не существует поэта, песни которого поет вся громадная страна, нет прозаиков, которые идут поперек официально одобренных тенденций, нет ученых, в одиночку осуществляющих подвижничество передачи культурной эстафеты, когда об этом забыло само государство. Зато в том же словаре значился 27-летний модный в те годы хоккеист, «член КПСС с 1967 года», деталь для хоккеиста необыкновенно важная. «Словарь» четко отражал шкалу официального отсчета семидесятых годов. Общество же (ушел страх, есть привезенный за валюту хлеб, нет развлечений и настоящих книг, кругом взятки, черные «Волги» живут своей, отделенной глухим забором жизнью) — общество же жадно ждало политических, общественных, культурных новостей. По стране покатилась эпидемия политических анекдотов. Пик анекдота был еще при Хрущеве, эксцентричность и самой натуры Никиты Сергеевича и его политики давала народному остроумию обильную пищу, но особенный вал анекдота обрушился в семидесятых годах. Где там газетам или телетайпу до той скорости, с какой новый анекдот обходил большой город!

На смену анекдоту пришел «самиздат». Желание услышать мнение единомышленника пересиливало еще живший в душах страх. Среди читавших передающиеся из рук в руки книги Набокова, Замятина, Платонова, Солженицына, Гроссмана, Бердяева, Орвелла, Хаксли ходили слухи о том, что на самом верху, особенно на «дачах», существуют полные наборы этих книг, превосходно у нас изданных в считанных экземплярах. Никаких подтверждений или доказательств подобных слухов у меня нет, будущим историкам, узкой специализацией которых будет анализ быта брежневского окружения, еще предстоит подтвердить или опровергнуть как эти, так и другие слухи о жизни «верхов». Данный же сюжет, возможно, представляет собой просто интеллигентский вариант общенародного мифа о том, что за кремлевской стеной нет понятия о дефиците.

Да, в шестидесятые и семидесятые годы мы подпольно прочли и «Собачье сердце», и «Доктора Живаго», и «1984» Орвелла... Такое подпольное чтение наверняка с трудом представили бы себе современники Чехова, Короленко или Блока. Но туча сталинских лагерей, висевшая над страной еще совсем недавно, многому научила людей из самых разных слоев. Я был свидетелем того, как тайком шившая на дому портниха сказала пожилой женщине, которая заказала ей платье, чтобы та ни в коем случае не произносила слова «платье» по телефону.

— Я лучше сама вам позвоню, когда будет готово, — сказала портниха. — И скажу, чтобы вы заходили... Ну, допустим, за книгой. Что я уже прочла...

— Нет уж, только не за книгой, — ответила та. Она просидела с тридцать восьмого по пятьдесят четвертый по статье 58.

И все-таки мы читали, читали, читали... А потом вечерами у друзей на кухне велись бесконечные разговоры. Ах, эти гостевания без поводов в будни и праздники! По скольку часов в ущерб быту, служебным делам, сну они велись? И каким удивительным университетом для множества людей оказался этот многолетний треп на кухнях, где собиралось по трое-пятеро единомышленников! Новости, политика, литература, нравственность, философия, анекдоты — вот содержание этих вечеров. А как результат — выработка своей позиции в жизни. Я знаю даже иностранцев (особенно много их из тех, кто учился в те годы в наших ВУЗах), которые навсегда влюбились в нашу страну вовсе не из-за ее ландшафтов или комбайнов. И не Эрмитажа ради они

приезжают и приезжают сюда, и не белые ночи и места Достоевского их особенным образом к себе влекут — а те самые бесконечные, до вздыбленных мостов разговоры на кухнях среди друзей. Ничего более интересного и западавшего в душу в своей жизни — признаются эти люди — им испытать не удалось.

Этому неофициальному аспекту жизни моих сверстников — домашним «разговорным» университетам в глухие, застойные времена принадлежит, мне кажется, особенная роль. Это были очень важные очаги или ячейки формирования общественной нравственности. И, может быть, в значительную зависимость от тех домашних университетов можно поставить и те скромные, но несомненные заслуги, которые имеют мои сверстники перед страной. Я говорю о нежизнеспособности в их среде общественной лжи. Да, мои сверстники — народ надежный, работящий и умелый оказался еще и очень устойчивым против всяческих тотальных внушений. В их среде глохли и сходили на нет пропагандистские кампании, скептически высмеивалась прожектерская экономика, трезвому уму моих сверстников нельзя было внушить ни шпиономании, ни соображений в пользу «железного занавеса», ни веры в то, что коммунизм в стране коммунальных квартир, закупок хлеба за рубежом и закрытых распределителей для начальства может быть построен за двадцать лет. Будь чернобыльская беда или гибель «Адмирала Нахимова» в тридцатые годы — их объявили бы результатом диверсий. Но в шестидесятые или семидесятые среди нас это бы уже не прошло. Мы сами знали, как плохо штукатурили свой потолок и почему он мог на нас рухнуть. И ни Керзона, ни Черчилля, ни Рейгана обвинять в этом нам в голову не придет. Существование наше также препятствовало легализации общественных преступлений. Чурбановы, щелоковы, адыловы вынуждены были все-таки таиться, и во всяком случае, не распускать хвосты. Похваляться они могли лишь среди своих.

При закрытости управленческой информации, при отсутствии гласности и возможности выразить общественное мнение, притом, что так называемый народный контроль был отнюдь не контролем, а уж тем более не народным, разобраться и разграничить, что в партийном аппарате поражено и растлено, а что еще продолжает сохранять человеческие черты, частному, не вхожему в номенклатурные сферы человеку было не под силу. Многие из моих сверстников стали сторониться партийного аппарата.

Но высказывать свои мысли было и бесполезно и уже не безопасно. Откровенность превратилась в синоним опасной глупости. Люди чем дальше, тем привычней существовали в двух слоях жизни — личном и официальном, истинном и показном, основанном на естестве и формальном. В семидесятые годы так врала, пожимая плечами от собственной умелости, уже вся страна — врали директора комбинатов и академики, секретари райкомов и писатели. Не врали лишь те, кому совсем нечего было терять,— да тем не давали слова. Уверенно и складно врали преподаватели, ученически путаясь, врали студенты. Отцы, смущаясь лишь слегка, учили врать сыновей, матери — гораздо увереннней (девочкам труднее жить) — поучали дочек. Называлось все это — учиться реально смотреть на вещи. Возможно, что такой способ существования являлся инстинктивным и, может быть, последним рубежом обороны человеческого в человеке. Когда выяснилось, что честности и доброты, начни ты их проявлять в устроенном таким образом мире, на всех не хватит, то порядочность, откровенность, искренность, доброжелательство, неподражаемость отступили вглубь. Пользоваться этим особым видом дефицита стало доступно лишь по родственности да по близкому знакомству. Никто уже никому чужому не верил. На алюминиевой чайной ложке государство ставило штамп — 7 копеек, чтобы продавец не продал за восемь. Цену оттискивали на керамике, латуни и чугуне. Наши далекие потомки еще много чего приятного скажут о нас, разглядывая изготовленные в наши дни гантели и дверные ручки. Потом вдруг цену ставить перестали. Объяснилось быстро — что попало вдруг начало без удержу дорожать. Прозвучал лозунг — «Экономика должна быть экономной». Какой-то остряк убрал последнее слово. Сообща хохотнули. Это было похоже на всхлип. Даже анекдоты уже не шли. Молодые шоферы на грузовиках выставляли на ветровые стекла портреты Сталина. На вопрос — зачем они это делают, они, родившиеся уже при Хрущеве, отвечали привычно: «При Сталине был порядок». И оказалось, что множество людей, даже таких, кто сам на собственной шкуре испытал этот порядок — все забыли.

Под Новгородом у меня есть знакомый мужик с редким именем Маркиан — хриплый, огромный, немногословный. Работает он так, как работали раньше в деревне те мужики, которые положили себе во что бы то ни стало выбиться в зажиточные. Ручищи у Маркиана хоть и совсем не золотые, но какие-то все же особенные: все, за что он ни берется — любое бревно, и любая доска носят потом его знак. И две коровы у него, и индюки, и овцы. И теплицы, по которым гонят горячий воздух огромные бочки-жаровни. И весь сезон летних работ не заходит Маркиан на чистую половину дома, а, наломавшись вконец, лишь делает шаг через порог, бросает на приступку печи страшной величины рабочие рукавицы и валится тут же, не раздеваясь, в берлогообразную постель. Часа через три все равно вставать — либо к скотине, либо к теплицам.

Неделями он не прикасается к водке, и, если кто пытается угостить, он отводит глаза и, шепча что-то, уходит быстрыми огромными шагами, и рубаха его, застегнутая на горле и расстегнутая на животе, развевается. Зато в три-четыре месяца раз, а уж осенью, когда отойдут первые холодные дожди и беспременно, он впадает.

О том, что Маркиан взял, и сколько взял, слышно бывает гулким осенним вечером далеко — за улицу, а то и за две доносится его хриплый и монотонный... Голос? Вой? Орать он почему-то любит, стоя посреди глубокой лужи — именно поэтому и вспомнились дожди. Он стоит в своих огромных сапогах в луже и никуда не собирается идти, и хрипло орет о том, что всех пора сажать и стрелять, потому что кругом одно безобразие.

Сам он, насколько я знаю, попал в «спецпереселенцы» лет пяти или шести от роду, собственно и слово-то это, которое я раньше только слышал, за Маркиана первого конкретно у меня и зацепилось. Потом, в начале войны (ему не было еще и семнадцати), его судили за опоздание на работу и послали валить лес. С лесоповала его отправили на фронт, кажется даже, чуть не в штрафбат. На мой вопрос о том, как воевал, отвечает, сморщившись, что было страшно. Все говорили ему, что с таким ростом до конца войны ему не дожить.

— А ведь дожил...— как бы недоуменно говорит он и смотрит на свои руки.

В следующий раз его посадили уже в пятьдесят первом за то, что копал картошку на уже перекопанном картофельном поле.

— Много дали?

— Да нет, два года.

Выйдя, он решил, что в деревню больше ни ногой, а то опять что-нибудь нарушишь. Определился на мясокомбинат. Рабочим инструментом его стала железная палка, к концу которой приварен треугольный нож. Подвешенные за заднюю ногу живые свиньи движутся конвейером на отстоящих друг от друга на метр крюках. Одни подергиваются, другие уже без движения. Головы у них сквозь щетину ярко-розовые, красные, синие от прилившей вниз крови.

— Ну, по технологии так нужно,— говорит он.— Надо, чтобы повисели, а то кровь не отойдет.

Резать свиньям надувшееся от крови горло надо было вдоль. Это тоже по технологии.

— И как тебе, Маркиан, эта работа?

Он кладет свою страшную, похожую на живую лопату руку мне на спину.

— Эх, Сергеич...

Дальше в его воспоминаниях какой-то провал. Как он опять оказался на земле, не вполне ясно. Ясно только, что через Маркиана все прошло — и то, как урезали приусадебные участки, и как принуждали резать частный скот, и как обкладывали непомерным налогом любую овцу, не говоря уже о нутрии... Все, все прошло. И вот, к шестидесяти его годам, с какой попытки, уже, наверно, и не сосчитать, поднял Маркиан на краю большого, неуютного села свой крепкий теплый дом...

— А для кого, Сергеич? — спрашивает он.

Поздний сын Маркиана жить в селе не хочет — ютясь в городском общежитии, ожидает комнату.

— Там верней,— говорит сын.— А тебя, батя, тут в любой момент...

И жмет ногтем большого пальца на стол.

— Это за что же?

— А ни за что... Обстроился тут, понимаешь, окопался. Ты на чьей земле живешь? Может, на своей?

...Орет, стоя в луже, Маркиан долго, и на холодных опустелых улицах ему отвечают только такие же неутомимые собаки. Редкие прохожие, идя на станцию, жмутся к заборам, но Маркиан хоть и поворачивается к ним — отчего волнами идет лужа, но не делает к ним ни шага, только хрипит страшно: «Сталин», «при Сталине!», «за Сталина!». И плачет иногда, и кому-то грозит, и опять плачет, страшно всхлипывая. На следующее утро — всклокоченный, с трясущимися огромными своими клешнями, он опять проворно ворочается по хозяйству.

— Маркиан, ты чего вчера митинговал?

Только махнет рукой виновато, махнет, словно лопатой, и ничего не ответит. А месяца через два опять стоит либо в луже, либо залезает зачем-то в глубокий до пояса сугроб и опять оттуда хрипит:

— За Сталина... При Сталине... У Сталина...

Когда никто никому не верит сегодня, то не верят и в будущее. Если не верить в будущее, то бессмысленным становится главное в жизни — труд. Когда теряет смысл труд — он становится ненавистной работой. От бессмысленности ищут забвения.

В восемьдесят третьем году в стране было продано по шестьдесят бутылок водки на каждого человека, включая грудных. Около водки крутилось 40 милли-

ардов рублей. Три с половиной процента родившихся в 1982 году детей имели тяжелые отклонения в психике и физическом развитии, еще тринадцать процентов — отклонения средней тяжести. Страна безудержно пила. В больших городах возникла новая эпидемия — охота девушек за иностранцами. Скрывая свои дипломы, выпускницы университета нанимались горничными и коридорными в отели «Интуриста». Шведские штукатуры и маляры, построив в Москве или Ленинграде гостиницу, увозили с собой наших красавиц вагонами. Красавицы вскоре налаживались ездить туда-сюда с неподъемными чемоданами. Называлось это — двойное гражданство.

В этот период костенеющей бюрократии, кругового воровства, бредущей впотьмах экономики люди, когда-то глотнувшие живительного воздуха XX съезда и воодушевившиеся его идеями, оставались, естественно, на самых скромных местах. Ни в генеральные директора, ни в депутаты, ни в редакторы газет их не приглашали. Работая на своих скромных местах, они трезво и, надо сказать, без всяких надежд оценивали происходящее в стране.

Но именно им — людям, распознавшим три десятилетия назад в воздухе XX съезда свою, родную и исконную среду обитания,— не пришлось ничего в себе ни ломать, ни менять для того, чтобы воспринять идеи перестройки. Мои сверстники в этом смысле куда более однородны и едины, нежели наши предшественники. Среди нас почти нет жертв сталинщины, во всяком случае жертв непосредственных, и время милостиво освободило нас от того, чтобы стать палачами. Может быть, поэтому моим сверстникам удается жить так, что послесталинский страх не является уже для них главной движущей или останавливающей силой. А ведь надо ли говорить, что еще и сейчас всякий, кто выходит перед собранием на трибуну для того, чтобы, выдавив из себя еще каплю раба, сказать в лицо сидящим перед ним о том, как невыносимо мы жили еще совсем недавно, а может быть, еще и живем, как нам не просто желанна, а жизненно необходима демократия и в каких именно формах, и какие для этого следует сделать шаги — чувствует на себе внимательный и, не побоимся этого слова, глубоко заинтересованный взгляд. Чей? Не могу сказать, не знаю, но во всяком случае это взгляд тех, в чьей полной власти я нахожусь. И если мы написали о своем возмущении в газету, не согласились с тем, с чем привычно согласился зал, вразрез с умным большинством подняли дурацкую свою, не знающую своей же выгоды руку — этот взгляд — нет, не злой, не ненавидящий, а скорее какой-то животный, следит за вами. Как бы впрок. И придя домой с такого собрания, где ты так глупо и бессмысленно бормотал что-то с трибуны, ты вдруг остаешься один на один с собой и с этим взглядом, который смотрит тебе в затылок, и вдруг начинаешь вырывать листки из записных книжек, хотя наговорил ты с трибуны слов гораздо более едких, чем можно найти там, кружишь взглядом по своим книжным полкам — нет ли чего такого, за что... И утыкаешься в выверенный на 1980 год «Советский Энциклопедический словарь». Все, о чем нужно знать, там есть, и обо всем по четыре строчки. А о чем не нужно знать, так там того и нет. И вдруг с какой-то чужой тебе самому интонацией (лояльной, видимо, к этому словарю 1980 года), которой ты вообще-то не пользуешься, ты начинаешь отвечать кому-то по телефону...

А потом — проходят какие-то минуты и ты говоришь себе: спокойно. Спокойно. Сейчас ведь не конец тридцатых годов, прошло пятьдесят лет. Спокойно. Но если тебе, не нюхавшему ГУЛАГа, становится иногда так не по себе, то что же мерещится старикам?

Статья «Не могу поступиться принципами» вызвала у знакомых мне старых людей одну и ту же реакцию. В двух словах она следующая: «Все кончено. Иллюзий больше нет. Мы же вам говорили, что ничего не выйдет. Надо было вести себя умней». Умней — это значит тише... Но сквозь уныние возврата к тупиковому пути, сквозь явную печаль и досаду этих и хороших и честных людей, проглядывало почему-то странное успокоение. Что же такое, думал я, почему? Ведь я знаю этих людей, их настроения, их мысли, их, если можно выразиться высоким слогом, чаяния? Так в чем дело? Что за успокоение? Чем его объяснить? И ответ, должно быть, тут не сложный. Жизнь, которую эти люди прожили, им привычна. Она одна у каждого, и образ этой жизни — и есть сам человек. А жизнь — любая жизнь — не состоит из дней одного цвета, и привлекательные черты можно найти в чем угодно. Вот, например, усредниловка — она ужасна для молодых честолюбивых и инициативных людей, но она же создает гарантии (минимальные, но все же гарантии) старикам. Отсутствие новостей в жизни опять же невыносимо молодежи, но успокоительно для стариков. Плодами перемен, сколько бы живительны ни были эти перемены, пользоваться уже не им, а ухудшения наступают быстро — тут не надо быть мудрецом. Кроме того, в глазах стариков сидел привычный страх... Им этого страха, наверно, не победить. Их поколение исхлестало, измочалило время. И кому, как не этим старикам, знать, что это среди людей их поколения до сих пор таятся те, на чьей совести кровь. Но что

считать личной и непростительной виной, а что пассивным и неподсудным участием? Виноват ли в наших нынешних глазах тот старик, который еще полным веры комсомольцем расстрелял маршала Тухачевского? А ведь такой человек и действительно может еще и жить и хранить воспоминания о тех днях. Могут быть живы и те, кто убил Бабеля, кто замучил Вавилова, может жить даже тот старший лейтенант Семенихин, который у кирпичной стены или на краю глинистой ямы пришиб в сорок первом году за один раз двух замов наркома обороны. Мы никогда, наверно, уже не узнаем, как ощущал себя в том пятидесятилетней давности нашем обществе такой старший лейтенант, как и того, что чувствовал командующий Мерецков, которого за месяц до назначения командующим фронтом били резиновыми палками. Сколько оттенков человеческой сути между таким старшим лейтенантом и таким командующим?

Несколько месяцев назад в одном грузинском городе из гостеприимства мне предложили побывать в частном музее Сталина. Любопытство взяло верх — и я увидел большой набор статуй, статуэток и разного размера бюстов. Черты лица, пуговицы и ордена на всех этих скульптурных изделиях оказались сглаженными, как под туго натянутой резиновой перчаткой: хозяин набора в соответствии со своим представлением о том, как надо ухаживать за изображениями любимого вождя, непрестанно их подкрашивал. На стенах комнаты-музея (хозяину удалось получить ее несколько лет назад именно для этой цели) размещались в рамках документы, групповые фотографии и газетные листы. Все было, как могло быть лет сорок или пятьдесят назад. Лишь из некоторых фотографий бритвой были вынуты квадратики, а из газетных текстов, там, где шли перечисления фамилий, той же бритвочкой вынуты совсем уж маленькие полоски. Таким способом хозяин музея изымал из истории Берию. По его мнению, ничего, кроме такой простой операции, и не требовалось.

Подчистить бритвочкой прошлое... Сколь многим бы этого хотелось! Выскрести из памяти других и своей тоже, как ты доносил, пытал, расстреливал... Или даже не доносил и не расстреливал, а просто не выдержал, когда тебя стали пытать...

А как действительно нам относиться к тем, кто оставался на свободе, но чья душа оказалась исковерканной? Или к тем, например, кто не выдержал пыток? К тем, кто позволил вырвать у них из уст то, чего никогда эти люди не думали ни о самих себе, ни о других? Как относиться к ним? Правые и виноватые, свидетели обвинения и свидетели защиты, потерпевшие и насильники, активисты прошлого и люди со сплющенными от страха душами достались нам от того былого...

Человек, стоящий в саду моего детства на коленях... На какие сутки ночных допросов он сломался? Был ли он при этом вменяемым и понимал ли, что делает? Сколько дней выстаивания в горячей камере оставалось моему отцу, чтобы так же сломаться? Месяц? Неделя? День? Какой величины то расстояние, которое разделяло этих двух людей — сидящего на скамейке и стоящего перед ним на коленях? Может, совсем ничтожное? И, может, потому таким вдвое согнувшимся, согнувшимся до самых колен был мой отец...

Нет, даже мы — пятидесятилетние, не говоря о людях более молодых,— не можем быть судьями тех, кому в страшные 30-е, 40-е и 50-е не хватило сил. Наше время уже не устраивало нам такой проверки, и мы не знаем, как повели бы себя, если бы нам — тебе, мне, ему — перемалывали бы в третий раз в дверном косяке одни и те же фаланги одних и тех же пальцев. Я не выдумываю — у меня есть адрес человека, с которым так поступали. Вы бы не возвели на себя самого любой напраслины, если бы с вами делали такое? Не возвели бы? Вы твердо в этом уверены? А на другого?

Те, кого переломали в те годы, но оставили жить, ждут, чтобы мы их оплакали, поскольку уж им-то никто памятника никогда не поставит. Где они среди нас — эти люди с расщепленными душами? Как доживали и доживают свои жизни? Куда бредут в своих мыслях? Впрочем, что бредут они в разные стороны, мы с вами видим — вон ведь у одних до сих пор на губах то и дело появляется пена ярости — так им, оказывается, по душе было служить железной руке — и так ненавидят то, что наступило сегодня, другие же ужасаются, вспоминая, говорят, даже Маленков, умерший всего несколько месяцев назад, стал в конце своей жизни — драматурги, берите даром сюжет — церковным старостой...

Перечитав написанные страницы, особенно посвященные сверстникам, я убеждаюсь, что вольно или невольно, но я своих сверстников значительно приукрасил. Экие мы молодцы. И работники — надежней не бывает, и руки у нас ни в чем не запачканы. И умны, и умелы, и порядочны. А уж что касается совести, то в присутствии нас даже воздух общественный и тот становится чище...

Но если все это так и сверстники мои, пятидесятилетние люди, находящиеся в самой лучшей рабочей поре — во всеоружии опыта, сил и трудового авторитета — так хороши, то почему жизнь наша в тех самых аспектах — производственных и общественных, где более всего и должны

играть роль тот голос здравого смысла и те честь и совесть, которыми так силен мой сверстник — почему жизнь эта так уродливо и бесталанно перекосилась? Да потому что вовсе мы, пятидесятилетние, не лучше того поколения, что было перед нами. А кое в чем так, может быть, даже и хуже. Когда наши родители охраняли нас от страшной правды, побуждения их были высокими, заботились о нас, их на это хватило, мы же в своей лжи — лжи по отношению к школе, газетам, комсомолу, истории, политике заботились о благополучии и спокойствии более всего своем. На предыдущих страницах я отделил скептических и томных патриотов от оживленного, раскрадывающего страну бурундучья и пропел оду первым. Но возможно ли первых и вторых разделить? Ведь в сверстнике моем живут — как тут не признаться — не только мудрый скепсис, но лень, равнодушие и трусость. А также почти искреннее, но такое удобнейшее убеждение, что от любых наших слов и действий — ничего, решительно ничего зависеть не может. Иными словами — это внутреннее согласие ощущать себя лишь винтиком. Но теперь-то не двадцатые и не тридцатые годы, теперь-то мы знаем, что из-за массовости такой именно духовной обломовщины провалились и демократические начинания конца пятидесятых, а затем и попытки «косыгинских» реформ... Сейчас история дает нашему будущему — правнукам, внукам, а может быть, даже и младшим детям еще один шанс, скорее всего последний, прожить жизнь в свободной стране. Но чтобы шанс этот не остался лишь шансóм, подняться с колен надо нам. И сейчас. Если мы не сделаем этого, мы обречем наших потомков на такой вариант существования, про который можно сказать лишь одно — он будет очень мало напоминать человеческую жизнь.

Такого времени, как сейчас — больше не будет. Мы находимся в лодке, которую вынесло на последнюю, все еще ровную воду перед водопадом. Но выгрести с этой стремнины можно только всем вместе.

Однако к чему конкретно надобно сейчас призывать нашего гражданина, своего собрата? Что это такое — встать с колен? В чем нам следует объединиться? С чего начать? Может быть, с попыток общего искоренения общественной лжи? Лжи формальной работы, лжи выборов единственного кандидата, лжи сонного присутствия на безразличном тебе собрании, лжи обязательств, которые никто не собирается выполнять... Да какие вообще-то рекомендации, какие советы... Кто их может дать? Кто может выписать рецепт лекарства, необходимого обществу? Каким леденящим душу прошлым несет от самой мысли, что кто-то один знает, как жить всем остальным, и всех этому научит... Ясно только одно — то, что осело и присохло у нас где-то на донышке души — совесть, достоинство, здравый смысл, доброта, ответственность за детей, должно заговорить языком наших поступков. А они у каждого свои.

Историк Костомаров сказал как-то, что какими средствами государство образуется, такими впоследствии оно и живет. Наше государство в нынешние, именно в нынешние дни переживает свое второе, может быть не менее важное рождение — в этом смысле перестройка может быть названа преображением. И в первую очередь преображением в сторону осознания человеком себя как личности — той личности, которую так кроваво и так успешно выкорчевывал из нашего общества Сталин.

Он стоит один — в болотистом, окруженном глухими еловыми лесами поселке Сусанино, в полусотне километров от Ленинграда. Возможно, это единственная доступная общему обозрению статуя генералиссимусу в Ленинградской области. Стоит этот идол на частном участке у крыльца исправного дома, все в парничищах, и, защищая идола и крыльцо, мечется рядом на цепи желтоглазый потомок тех, кто, хрипя от сторожевого счастья, вставал на коротких поводках вокруг проволоки Колымлага и Озерлага. Калитка закрыта. С кодексом сейчас сплошные неясности, но войти, конечно, нельзя. Двухметровый генералиссимус раскрашен, как фараон в древнем Египте,— люминесцентной бледной зеленью отделаны его китель и брюки, кривовато наведен сплошной казачий лампас, а белые, как известка, лицо и руки и кузбасским черным лаком подкрашенные волосы и впрямь наводят на мысль о древних статуях. В согнутой руке столь обязательная для поклонников канонического образа кривая трубка. Все, что только возможно, сохранено и подкрашено. Даже две геройские звезды, даже маршальские погоны. Они особенно выделяются среди бревенчатых, похожих на ангары парников.

От моего отца мне остался полотняный кисет, изготовленный им в ростовской тюрьме. На кисете посекшимися черными нитками вышита голова ахалтекинской лошади. Обрывки ниток сантиметровой длины можно было выщипнуть из брючных швов, иголкой служила проволочка тетрадной скрепки. Я дорожу этим тюремным экспонатом. Для 37-го года, да еще когда именно за лошадей тебя и посадили, и мучают, чтобы ты признался, что ты есть не ты,— вышить такой кисет — не так мало.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

В. РАММ

БУМАГА

А так как мне бумаги не хватило...
А. Ахматова

Наша страна к началу 1988 года находилась на 68 месте в мире по потреблению бумаги на душу населения. Это несомненный и существенный «прогресс» по сравнению с тем, что было каких-нибудь 10 лет назад, когда мы были всего лишь на 24 месте.

Сегодня житель нашей страны потребляет в шесть раз меньше бумаги, чем средний американец.

Теперь, уважаемый читатель, хорошо бы свернуть разговор в сторону. Скажем, так: «Зато по производству цемента и стали мы давно...» Или так: «И несмотря на это, мы — самый читающий народ, и с каждым годом...» Давайте, однако, не будем сворачивать.

Всем, кто имеет дело с бумагой, на которой что-либо напечатано (читателям, авторам, издателям книг, журналов и газет), известно, что бумаги не хватает, и поэтому...

Одну минуточку. Попробуем сперва разобраться, что значит «не хватает», а потом уже уточним, что «поэтому».

Не хватает бумаги. У нас ежегодно (на 1987 г.) выпускается указаний и инструкций чуть больше чем по 5 печатных листов на душу населения — естественно, включая не умеющих читать младенцев. Мы даже, борясь против бюрократизма, приняли специальные административные меры: специальный закон издали и специальные комиссии создали, чтобы вылавливать тех, кто запросит какие-нибудь сведения о том, что ему знать не полагается, что выходит за рамки госстатистики.

Не хватает бумаги, а крупные типографии почти 10 процентов ее выкидывают, «прирезая» стандартный рулон под нужный формат, а районные типографии зачастую распиливают бумажные роли двухручной пилой «под листовую машину». Типографии работают на «давальческом» сырье, экономить не надо: бумага портится при хранении, при погрузке-разгрузке, рулон (роль) колется при падении и тому подобное. Но от этого всего типографии даже лучше, ибо согласно прейскурантам изготовление продукции из отходов гораздо рентабельнее, скажем, изготовления из годной бумаги книг.

Не хватает бумаги. Мы единственная страна, которая продает круглый лес; мы не умеем (теперь уже) отбеливать макулатуру, а проблема макулатуры — это проблема «как сдать», а не «где взять», мы от кубометра леса получаем в 2,5 раза меньше пользы, чем на Западе (или в Японии).

И информацию храним на бумаге, и ЭВМ используем как быстро- и многопечатающие устройства и многое другое...

Но все это — «мелочи», лишь подробности доказательства «правильности» политики в отношении издательской деятельности.

Госкомиздат вначале поддержал идею кооперативных издательств. Но когда 15 кооператоров из Новосибирска, решивших издавать мифы малых народностей Сибири, рассказы, пьесы, фантастику, получив отказ в регистрации, пришли в Госкомиздат, первый зампред Д. Мамлеев им ответил: «Вы правы: М. Ненашев является одним из зачинателей этой идеи. Однако издательство — это не ресторан. Если 20—30 писателей соберутся, будут по своему желанию устанавливать цену и продавать книги, то все государственные планы издательств полетят. К тому же в стране не хватает бумаги и производственных мощностей, так что с кооперативами делиться нечем».

Речь идет о гордости монополиста, владеющего основным незаменимым ресурсом. В связи с этим, уважаемый читатель, нам интересны в лаконичном госкомиздатовском кредо слова «кооперативы», «государственные планы» и «делиться».

Быстро потухла вспыхнувшая в прошлом году эйфория по поводу кооперативных издательств. Уж больно много было выступлений с уверениями, что ничего хорошего из этой затеи выйти не может. Но против кооперации ли выступали так рьяно противники кооперативных издательств? Ведь главный вопрос противопоставления кооперативного и государственного — это вопрос о собственности, об основных фондах. А какая собственность у издательства: пишущая машинка, кофеварка и авторучка? (Не будем пока говорить о компьютеризованных издательствах.)

Нет, водораздел не здесь. Суть в том, что государственное предприятие может работать в системе директивного планирования, валовых показателей, административно-командных методов, при отсутствии самоуправления, а также самофи-

нансирования: то ли с изъятием «излишней» прибыли, то ли с дотациями за счет госбюджета при убыточной работе. Но может госпредприятие работать и на хозрасчетной основе: самоокупаемость, самофинансирование, самоуправление. Короче, самохозяйствование. А вот кооператив может работать только вторым способом, ничьи директивы ему не указ.

Здесь и зарыта собака. Не против кооперации, а именно против хозяйственного расчета, против самостоятельности издательств выступают под флагом борьбы за идейную чистоту и высокий художественный уровень противники кооперативных издательств. Ведь самостоятельность, право хозяина определять не только цену («заламывая» ее по своему усмотрению и ориентируясь на платежеспособный спрос), не только тираж (из соображений коммерческого риска и оценок конъюнктуры рынка), но и самое главное — самостоятельность в выборе, кого именно издавать, «в кого» вложить оборотные средства — все это непременные условия настоящего хозяйственного расчета.

Мы даже упростили ситуацию: в условиях самостоятельности решение о цене и тираже — единое решение, если уже ранее решили, кого и как издать.

Действительная, равновесная цена, как об этом писал К. Маркс, это цена, при которой равновесие в точности равно платежеспособному спросу. А себестоимость, норма прибыли тут ни при чем. Реальную цену «знает» рынок, в книжном случае — это «черный рынок»: цена там практически нечувствительна к цифрам на корешке. Хочется сбить цену — увеличивайте тиражи. Хочется увеличивать хозрасчетную прибыль — прислушивайтесь к покупателям, изучайте спрос, заявки, мнения, пожелания читателей. Но это трудно. И обязательно только при хозрасчете. При директивном планировании — это все не нужно. Слушать всяких некомпетентных читателей незачем. Тем более, что все платежи — издательству, типографии, книгобазе, железной дороге и отчисления в бюджет — будут произведены до того, как книга дойдет до прилавка. Издавать при этом будут, конечно, не тех, кого спрашивают, а тех, кого следует. Никакой «серой» литературы нету. Это мистика. Что именно издать и каким тиражом, Госкомиздат решает совместно с руководством СП СССР. Они, тщательно, всесторонне взвешивая, и со всей возможной демократичностью решают проблемы социальной справедливости.

Для писателей. Чтоб никого не обидеть. Самым лучшим — больше всего. Очень хорошим — поменьше. Просто хорошим — еще меньше.

Как узнать, кто самый лучший? — У писателей спросить, кто из них. Очевидно, что как раз самого лучшего писателя избрали председателем СП СССР. Именно поэтому роман председателя «Сибирь» издавался с 1971 года 13 раз общим тиражом около 4 млн. экз. А «Строговы», как пишет «Книжное обозрение» (1988, № 23) — 29 раз с 1939 года, когда в нем было 292 страницы; с 1987 года в нем уже 574 страницы. «Отец и сын» — несколько раз, один из которых миллионным тиражом. «Повести» — более полутора миллиона в «Роман-газете» и так далее. Произведение председателя СП РСФСР «Дядя Степа» с 1984-го по 1987-й — одиннадцать раз общим тиражом более 5 млн. экз. А вообще книги секретаря СП РСФСР с 1980-го по 1987-й издаются по 13—14 изданий в год. Общий тираж их за этот срок чуть меньше 40 млн. экз. В 1989-м издательстго «Детская литература» осуществит три переиздания произведений председателя общим тиражом 5,6 млн. экз.

И совершенно закономерно заместитель председателя СП РСФСР Ю. Бондарев, признанный очень-очень хорошим писателем — и по заслугам много издающийся, высказывал сожаление на партконференции, что отдельные журналы нелестно отзываются о других (признанных очень хорошими) писателях, таких, как А. Иванов (с 1980-го по 1987 год издан 13 раз общим тиражом 6,46 млн. экз.), П. Проскурин (за тот же период 16 раз — 9,8 млн. экз.) и так далее.

Прочтите, уважаемый читатель, прелестную заметочку «Кому повем цифирь свою?..» в упомянутом «КО». Автор ее, старший консультант по художественной литературе Центрального коллектора научных библиотек Т. Жучкова, пишет, что, мол: на М. Булгакова — 1300—1400 заявок, на «Детей Арбата» — 2200, на В. Высоцкого — 1000, на «Избранное» Б. Окуджавы — 820, а на «Вечный зов» А. Иванова — 110, на С. Куняева — 45, на П. Проскурина — 300 и тому подобное. Ну и что? Вы, наверное, согласитесь, что издавать все равно надо А. Иванова, С. Куняева, П. Проскурина, кстати, «ответственного за советскую прозу», как отрекомендовал его на телевстрече секретарь СП СССР В. В. Карпов. Почему? Да потому, что не был бы он одним из самых-самых лучших, не назначили бы его... нет, то есть, не избрали бы его... вернее, не сделали бы его ответственным. А всех читателей слушать... так, знаете, у одного одно мнение, у другого — другое... А бумаги на всех, действительно, не хватит. Ну, сами посудите, какой смысл издавать В. Высоцкого, Ю. Трифонова, М. Булгакова, А. Твардовского, Н. Гумилева? — Они же умерли все, им от этих изданий ни холодно, ни жарко. А тут гонорары, можно сказать, на дороге валяются... А на всех бумаги, ейбогу, все равно не хватит...

Вот что означает слово «поэтому».

Стоило ли повторять здесь известные цифры из «КО»? И без того известно, что литначальники публикуются весьма обильно и интенсивно. Стоило, уважаемый читатель. Но не для того, чтобы обвинить кого-то в безнравственности или в злонамеренности.

При отсутствии хозрасчета эти милые люди, я думаю, совершенно искренне убеждены, что именно они-то и являются гордостью и украшением отечественной литературы. И если они же при этом обладают исключительной компетенцией судить, что именно народу нужно, то возникает ситуация, на юридическом языке называемая «сговором». Из лучших, конечно, побуждений: народ, мол, еще не дорос, чтобы самостоятельно выбирать. Дорос. И если народ (читатели, голосующие рублем) выберет вас, товарищи начальники, носите на здоровье свои лавровые венки. Хотите вместе с погонами, хотите отдельно. Только не надо, чтобы размеры венка определялись чином, как ширина лампас.

И пока нету хозрасчета, ничего измениться не может. Может быть, уточнить, что такое хозрасчет? Это не эпоха, наступившая наутро после приказа председателя Госкомиздата СССР: «С завтрева все на хозрасчет!». Нет, это такой порядок, когда издательство разоряется из-за непроданной части тиража, когда издатели кусают локти из-за заниженной цены, когда, кто принял решение, тот терпит убытки и получает прибыли. А государству отдает не свободный остаток, а установленный единый для издателей налог. Когда можно самим выбрать, кого, сколько и по какой цене выпустить, и ни у кого не спрашивать утверждения, самим отвечать за все. Можно иметь дело и с госзаказом, когда «дядя» сказал, сколько ему надо, как оформить, какую цену на корешке изобразить и к какому сроку; Вы торгуетесь, а в договоре и срочность предусматриваете, и неустойку оговариваете, и доплату за нее требуете; при этом цена на корешке к Вам отношения не имеет. И главное, деньги Вы, издатель, при самостоятельности получаете с оборота, а при госзаказе (лишь при госзаказе!) оговоренную сумму за подписанный в печать издательский оригинал или, если подрядились весь тираж госзаказчику подготовить,— то за тираж, как сегодня, но независимо от цены! И еще, книгу, Вами изданную, читателю в самом деле продадут, а не навяжут в нагрузку.

Ничего этого и в помине пока нет. Значит, не могут измениться и принципы, по которым делится «листаж».

Перед приездом Р. Рейгана, отвечая на вопросы «Ньюс-Уик» и «Вашингтон пост», М. С. Горбачев говорил, что демократия без свободы слова неосуществима. Но о какой свободе слова может идти речь, если бумага для выпуска книги и газеты монополизирована? Какая разница, на что надо выпрашивать разрешения — на то, чтоб дозволили напечатать то, что хочется (и не запрещено законом), или на то, чтоб бумагу выделили на это? Какая разница: цензура или бумажная монополия? Если подумаешь, как печатаются литначальники, так монополия даже удобнее цензуры: не только тексты можно «утвердить — не утвердить», но еще и тиражи.

Б. Брехт в наброске «Свобода мнений» (1939 г.) сопоставляет: «Чтобы свобода высказываний осуществилась в какой-нибудь деревне на сваях, достаточно позволить ее жителю выступить перед собранием. Если же в Лондоне правительство хочет помешать этому осуществлению, ему достаточно не предоставить оратору зала или газеты».

У нас не Лондон, но прошлогодняя попытка резко ограничить подписку на наиболее популярные и приносящие громадные доходы журналы подтверждает мысль Брехта. Только речь идет не о правительстве, а о консервативных силах, об административной системе, еще обладающей реальной мощной властью и вполне способной блокировать перестройку.

Что же возможно сделать? Или скажем иначе, что необходимо сделать, чтобы покончить с этой унизительной ситуацией, когда мы по потреблению бумаги находимся между Танзанией и Лесото, и, главное, со всем комплексом следствий, вытекающих из такого положения?

Что нужно сделать, не ограничиваясь призывами: «осознать», «резко удвоить» и тому подобное?

Первое. Срочно ликвидировать «дефицитность» бумаги. Вы грустно усмехаетесь, разочарованный читатель? Да? Мол, только что я заявил, что собираюсь предложить что-то, кроме призывов, а сам...

Погодите усмехаться. Не только касательно бумаги, но почти всего, что потребляется, мы живем в атмосфере таких экономических мифов и, мягко говоря, глупостей, что привычно уже не понимаем самых элементарных вещей. Дефицит. Это вовсе не название товара, которого ввиду погодных, геологических, технологических условий или международной обстановки пока не хватает для удовлетворения повышенного спроса. Дефицит организуем мы сами, вернее наши начальники, которые устанавливают объем производства (предложения) или хотя бы знают о нем. Которые устанавливают политику доходов населения, а значит, и догадываются о структуре платежеспособного спроса. Которые устанавливают цены на предлагаемое — ориентируясь не на спрос, а из высоких «научных» соображений. Ведь дефицит — это просто-на-

просто несоответствие объема предложения платежеспособному спросу; это система реализации по ценам, заниженным по отношению к равновесной (действительной, как ее называл К. Маркс) цене, при которой объем предложения в точности равен объему платежеспособного спроса. Ликвидация дефицитности бумаги — это прежде всего не увеличение производства, а резкое увеличение цен на бумагу, предпринимаемое с тем, чтобы уменьшить спрос. А тут уже целый комплекс мер, которые не только это уменьшение поддержат и обеспечат, но и создадут реальные стимулы для быстрого увеличения производства. И не надо пугаться, уважаемый читатель, что от увеличения цен на бумагу увеличатся цены на книги. Если они увеличиваются, то причиной тому монопольное положение Госкомиздата, вуалируемое изложением объективных причин. А цена, реальная цена, определяется платежеспособным спросом, а не «обосновывается» себестоимостью. Это хорошо знают не только деятели «черного рынка», не обращающие внимания на номинальную цену, но и книжные издательства, не стесненные излишней регламентацией, как Лениздат или «Правда», пишущие на корешке цену, обеспечивающую суперрентабельность, но издающие именно то, что пользуется спросом.

А попытка удержать цену на бумагу на уровне гораздо ниже цены равновесия приводит к... Да что рассказывать! Вы и сами видите, в какой ситуации мы находимся.

Увеличение оптовой цены на бумагу до уровня равновесия способно ликвидировать дефицитность только-только! — при переходе потребителей на хозрасчет. Мы, уважаемый читатель, это как-то даже не очень и понимаем-то, потому что представить не можем: как это у нас не всё будут под гребенку вычищать, оставляя нам только мелочь на завтраки. Если издательство станет чувствовать себя предприятием и будет хозяйствовать, отчисляя фиксированный подоходный налог (не удушающий, как пытались с кооперативов брать, а нормальный — как у всех), или устанавливать добровольные договорные расценки в случае госзаказа (чтобы госзаказ был выгоднее самостоятельного риска),— вот тогда у него (издательства) появится интерес бумагу и все другие ресурсы экономно использовать, и оборачиваемость средств увеличивать, и даже инвестиции в улучшение своего будущего осуществлять. А если не будет хозрасчета, то ничего, кроме как «поболтать» об этих проблемах на своих страницах, «серьезно проанализировать», как они преломляются в деятельности других отраслей, не выйдет. Переход потребителей — издательств на хозрасчет плюс увеличение цены — это реальный путь экономии и самого эффективного (с точки зрения потребителей — читателей) использования бумаги. Переход производителей на хозрасчет плюс увеличение цены — это реальный путь к увеличению объемов производства бумаги, к приведению структуры выпуска в соответствие с самой эффективной (с точки зрения издателей и читателей) структурой потребления.

А без хозрасчета увеличение цен — это просто дополнительная дезорганизация работы, да еще, пожалуй, энергичное «раздувание щек», вместо развития и роста.

Увеличение цены до уровня равновесия — это фактически переход к оптовой торговле средствами производства; ведь что такое бумага, как не одно из средств? Оптовая же торговля предполагает полный отказ от распределения фондов на бумагу. Вместо распределения пусть министерства и ведомства покупают эту бумагу для своих нужд. Но слова «министерства покупают» должны означать хозяйственный расчет для этих министерств. Однако ведь еще не все перешли, а некоторые не скоро и перейдут на хозрасчет; ведь для кого-то бюджетное финансирование останется, а для иего цена вроде бы не играет роли — как же быть?

В условиях демократизации и гласности, необходимых настоящему хозрасчету и эффективной экономике, а не только нам каждому в отдельности, в этих условиях естественным становится и общественный контроль за расходованием бюджетных ассигнований.

С одной стороны, бумага все-таки не урановая руда — завеса секретности над ее распределением не обязательно должна быть очень плотной.

А с другой — под общественностью можно в зависимости от конкретной ситуации понимать разные группы представителей (граждан). Скажем, предприятия на хозрасчете, а министерство — нет; то есть предприятия «кормят» свое министерство, выделяя процент дохода на его содержание, другими словами, дань: тогда уместна комиссия представителей предприятий (трудовых коллективов), контролирующая использование этой дани министерскими работниками. По всем направлениям: и не слишком ли их много, и не слишком ли «жирно» они живут и, заодно, не слишком ли много бумаги изводят.

Но может быть и иначе: и предприятия (учреждения), и министерство не на хозрасчете. Например, Минздрав; ведь не все же там работают пока как «Центр микрохирургии», руководимый С. Н. Федоровым. В системе медучреждений подчиненным вроде и дела нет до расходов министерства. Конечно, критика, самокритика, перестройка и гласность, достоинство и совесть — это все есть, но карман в этих делах не участвует, интереса нет. Значит, надеяться надо не на общественность ведомства, а на общественность, состоящую из нас, потребителей. Это мы с Вами, уважаемый читатель, можем через наши Советы поинтересоваться, как Министерство и его учреждения тратят деньги, собранные с нас в виде налога. Просто как налогоплательщики и поинтересоваться; и, кстати, узнать, не слишком ли много на бумагу тратят, не забюрократились ли сами и не забюрократили ли медицину.

Механизмы общественного контроля становятся сейчас все сильнее; в борьбе, муках, но — становятся.

Общественный контроль, однако, это полдела. Нужен еще контроль рублем — он-то и создает самые сильные стимулы. В Польше, говорят знающие люди, любую справочку, отчетик, статистичку вам сделают, если запрашиваете, но только за деньги, на договорной основе — даже для МВД. Давайте опыт переймем. Ведь при увеличении цены на бумагу, да еще при договорных ценах на подготовку справок многие из наших славных промышленных или научных предприятий забросят свою основную деятельность и начнут умолять начальство: «Давайте мы для Вас какую-нибудь бумажку заполним, а то зарплату платить нечем!».

Однако оставим мечтания, попробуем говорить о бумажных проблемах более систематически.

По трем направлениям можно бороться с этими проблемами:

— увеличивая производство бумаги и сырья для нее;

— уменьшая потребление, экономя затраты бумаги;

— исключая и заменяя бумагу в технологических процессах.

Резкое повышение оптовых цен на бумагу стимулирует движение по всем трем направлениям. Во-первых, оно создает возможности для инвестирования строительства целлюлозно-бумажных комбинатов. А ведь именно для этих целей средств обычно не хватает. В статье «Нулевой цикл» Е. Гайдара и В. Ярошенко обсуждаются затеваемые ныне и противоречащие здравому смыслу великие стройки: «Небезынтересно, что стоимость строительства Туруханской ГЭС превышает капиталовложения, которые направлялись в целлюлозно-бумажную промышленность за два последних пятилетия» («Коммунист», 1988, № 8, с. 83).

Но ситуация с производством бумаги еще безнравственнее, чем если бы просто мощности были слабы для такой страны, как наша. У нас так получилось, что то ли экология является заложницей у свободы слова и гласности, то ли гласность и свобода слова — заложники у экологии. Мы

же понастроили ЦБК по берегам Байкала и Ладоги и отравляем эти два уникальных озера, одно из которых — жемчужина планеты, а другое, между прочим, питает реку, именем которой назван этот журнал. И высокие начальники резонно ставят вопрос: «Хотите чистой воды? — Закроем комбинаты, и не будет вам бумаги, подписок и этой... гласности! Хотите гласности, демократии и о свободе слова начинаете кричать? — Так перестаньте болтать о дамбе, чистой воде, о защите Байкала и т. п. А то развели демагогию, понимаете ли...»

Итак, одно из средств увеличения бумажного производства — увеличение цен на бумагу.

Рядом второе средство — использование для наших внутриэкономических дел механизма, который мы уже давно используем в делах внешнеэкономических: строительство ЦБК и сопутствующих производств на компенсационной основе. Не ограничивать подписку при этом надо, а наоборот, предложить читателям подписаться на пять лет вперед (пусть с рассрочкой в течение года) с тем, что с ними будут расплачиваться журналами. Ведь один «Огонек» с подписной ценой более 20 руб. и около 3.0 млн. подписчиков — создал бы кредит в $5 \times 20 \times 3000000 = 300$ млн. руб. А есть еще ведь и другие журналы... И еще книги, подписные издания на несколько лет с кредитованием, которое можно направить непосредственно на создание мощностей.

Но для того, чтобы такая компенсационная основа стала возможна, чтобы мы действительно могли «вытянуть» бумажную проблему всем миром, надо побудить дорогой Госкомиздат отказаться от одной из самых любимых мыслей: «Если, мол, выпустить книгу (подписку на Ключевского, Соловьева, Карамзина и тому подобное) таким тиражом, который удовлетворит всех желающих, то план издательства будет выполнен на несколько лет вперед и издательство придется закрыть». Руководители Госкомиздата пугают нас этой жуткой перспективой через центральные газеты, а мы даже иногда поддакиваем — как будто книгоиздание существует, чтобы издателей работой обеспечивать, а не чтобы спрос удовлетворять. Но, соглашаясь с логикой Госкомиздата, мы согласны и с тем, что надо издавать как можно больше названий книг малыми тиражами. Мало ли, что читатели своего не получат, зато «социальная справедливость» для писателей будет соблюдена, издатели, редакторы, корректоры, техреды и машинистки без работы не останутся и никогда не прогорят, а книгоиздание наше и на голове прекрасно постоит — дело привычное. Не правда ли?

Нет, товарищи, от поддакивания надо отказаться. «Мудрая» книгоиздательская

политика, конечно, дело нужное, но если мы хотим, чтобы нашими общими стараниями обеспечивалось сырьем издание книг, эта политика должна в подавляющей своей части ориентироваться на заранее известный спрос. И не надо соглашаться, когда нас пытаются убедить в нашей недоразвитости, мол, дай нам волю, мы на такое наподписываемся, такого, мол, навыбираем... Как в прошлом году: всякие «Огоньки», «Новые миры» да «Московские новости» с «Невой». Нужно, мол, наш «нездоровый ажиотаж» разумно направлять... Хаатит, мы — не винтики.

И еще можно модифицировать способ аккумулирования инвестиций для расширения бумажного производства. Акции выпускать издательстау, редакции, журналу, издательской группе, заявившей о своей программе, зарекомендовавшей себя в читательском мире. Тут же не только отдельные читатели акционерами могут стать, а трудовые коллективы целые могут поддержать дело, которое они считают правым. А уверенность свою, что дело это для народа нужное, рублем поддержат — ведь, если их правда, то и дивиденд получат, а нет, то — извините. Это все, конечно, возможно только при хозрасчетном книгоиздании... Но это огромный вопрос, оставим его пока...

Чтобы увеличить бумажный ресурс, не об одном производстае бумаги надо вести речь. Но еще и об отбеливании макулатуры. Похоже, что это мы только утеряли секреты отбеливания и умеем теперь лишь картон из макулатуры делать. А на Западе все еще умеют. И оборудование для этого выпускают. Наши типографии с огромным удовольствием обменивали бы образующиеся бумажные отходы на бумагу у таких предприятий. Так, генеральный директор ЛПО «Типография им. Ив. Федорова» А. Б. Пешков утверждает, что такая сделка была бы гораздо выгоднее, чем даже продажа макулатуры за конвертируемую валюту: 1 т за 200 долларов (сегодня за 1 т дают 20 руб.). «Судите сами,— говорит он,— ведь мы же на этой бумаге выпускали бы высокохудожественные издания и получали бы валюты гораздо больше». И снова: для реалиаации таких отношений нужны настоящий хозрасчет и настоящая самостоятельность. Причем самостоятельность не только «в рублях», но и «в валюте»: со своим счетом валютным, своими возможностями технику импортную приобрести на заработанную валюту, не спрашивая соизволения в высоких инстанциях. А может, и на валюту, одолженную акционером (нашим или зарубежным).

Свободные отношения типографии с бумагоделательным предприятием — это вовсе не вольный полет фантазии. Сегодня, когда только чуть-чуть ослаблена узда жесткого плана, накинутая на книжные типографии, между печатниками и бумажниками уже установились неформальные, «неуставные» отношения. Дело в том, что «милая» традиция превращать любую мало-мальски приличную книгу в дефицит создала другую «замечательную» традицию: когда типография печатает хорошую книгу, тираж, как правило, с первого раза не удается «закрыть», потому что значительная доля тиража в процессе изготовления куда-то пропадает. Привычным делом для типографии стала допечатка тиража, взамен укра.... Ой, извините, взамен пропавшего. Но ведь никто не знает, сколько точно... э-э, пропало и сколько надо допечатать. Так что если и иемножко побольше типографин допечатает, то никто и внимания не обратит. А если несколько лишних «допечатанных» книг (дефицитных!) предложить коллективу бумажной фабрики, чтоб бумагой расплатилась (дефицит на дефицит), ведь тогда бумаги сверхлимитной хватит, чтоб для своих работников по госцене эти книги «допечатать», а не ааставлять «доставать» книгу по спекулянтским расценкам или толкать к воро... к содействию пропадания.

Но, тс-с-с! уважаемый читатель. Вы ничего не слышали, я ничего не говорил. Ведь эти нетоварные отношения прямого продуктообмена — большой секрет для административных наших Тит Титычей, что «могут утвердить, а могут и не утвердить», и ни с кем ие хотят делиться правом определять, сколько чего нужно произвести и кому сколько из произведенного разрешить взять.

Просто обратите внимание, что «теневая» экономика появляется обычно там, где легальные отношения теряют право называться отношениями экономическими.

Заодно обратите внимание: нам есть что из книгопродукции продавать за границу. Однако стоит чуточку изменить импортную политику: попробовать воздержаться от пагубного увлечения продажей сырья.

Во-первых, имеет смысл вместо того, чтобы продавать круглый лес по низкой цене, продавать книги (отпечатанные на бумаге, сделанной из этого леса) по высокой цеие. Во-вторых, мы, работая с металлическим набором (а весь остальной мир от иего уже отказался), привыкли к тому, что только готовая книга является товаром: только ее можно продавать. А при переходе на фотонабор можно предлагать покупателю не готовую книгу, а комплект диапозитивов издания: пусть он сам на своей бумаге печатает — у нас бумаги нет. Да, еще пусть часть платы технической пленкой заплатит — у нас ведь и пленки нет.

Если обсуждать лесобумажные проблемы, то стоит говорить о многом: и о сохранении и воспроизводстве лесов, и об их структуре, и о том, что нам нужны не административные только, но и экономические меры для того, скажем, чтобы побудить специалистов расширить ассортимент услуг лесопотребителям, а потребителей-неспециалистов — отказаться от хозспособа, самовывоза и тому подобное. Главное не в конкретных (и известных) проблемах, которые нужно и можно решать, а в том экономическом механизме, что создает последовательность стимулов: читатели и издатели вкладывают средства в бумажное производство, бумажники в производство бумагоделательных машин, в лесную промышленность и другое. Тогда и будет расти производство книг.

Однако, как с сельхозпродукцией, более мощный резерв, наверное, не в увеличении производства, а в уменьшении потерь, в экономии бумаги. Как же подвигнуть потребителей к этой экономии? А для начала — тем же повышением цены на бумагу в сочетании с хозяйственным расчетом. Хозрасчетность книгоиздания не сможет сочетаться с выпуском литературы, называемой «серой», с супертиражами для литначальников, с «умными» книгами, которые никто не берет, и тому подобное. Хозрасчетность же типографии, без которой хозрасчет издательства — фикция, создаст стимулы для экономного использования бумаги именно у тех, кто с ней работает, а не как сейчас, когда фондами на бумагу наделяются издательства, эту бумагу непосредственно не использующие.

Для большого числа книг, навязываемых в нагрузку, «нерасходимость» закладывается изначально, когда издательство заявляет, какой минимальный тираж обеспечит рентабельность книги. При этом спросом не интересуются, а цена определяется с помощью нормативов. Эта вывернутая наизнанку «хозяйственная деятельность» касается в первую очередь научной литературы — это она по сути своей должна быть малотиражной и широкоассортиментной, а получается наоборот, и даже «в регламентах» именем хозрасчета одобряется такая безумная политика. Каков же всамделишный хозрасчетный механизм, дающий возможность издавать высоконаучные книги?

Нужны книги специалистам, но так как специалистов этих мало, то и тираж нужен малый. 500, 200, а может быть, и 50 экз. Как это сделать, чтобы еще и не заставлять никого? Во-первых, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно» — если речь идет о нужной книге, значит, есть кто-то (министерство, ведомство, академия, общественная организация), кто может выступить заказчиком у издательства с оплатой по договору. Здесь пока о тираже речи нет, а выгодность для издательства обеспечена договором, предусматривающим все: и оплату срочности, и оплату квалифицированной, качественной работы. Заказчику надо определить тираж и установить цену. Тоже нет проблем: объявите о книге, приведите фрагменты, рекламируйте! И собирайте заявки; да не просто, а пусть вам потенциальные читатели сообщат, сколько они готовы заплатить за такую книгу. У вас тогда, как на ладони, полный анализ платежеспособного спроса. Вот и выпускайте книгу теми тиражом и ценой, что дадут максимальную прибыль. Может быть, она будет положительной, может, отрицательной, но максимальной. А гнаться за непременной примитивной рентабельностью распространения научных достижений нелепо. Выгодным, полезным должен быть сам прогресс, а механизм его распространения вовсе не обязан быть самоокупаемым, как не самоокупаема скульптура, парк и уличный фонарь.

Определенным резервом обладают и наши газеты. Речь не о том, чтобы им уменьшить тираж — экономию бумаги обеспечит гибкость.

Смотрите, ко мне домой приходит три центральные газеты и журнал «Коммунист». После Пленума ЦК КПСС они все опубликуют доклад, принятые резолюции и другие документы. А потом это выйдет отдельной брошюрой. Желая читать, изучать, даже проводить политзанятия по этим материалам, я же все равно не буду пользоваться несколькими экземплярами. Так не стоит ли отказаться от странной идеи, что каждая центральная (и республиканская, и областная) газета — это для читателя единственный свет в окошке; отказаться от этого нелепого дублирования (ведь и «Советский спорт» помещает официальные партийные материалы, воображая себе читателя, который только спортом и интересуется, но, получив газету, кинется читать материалы пленума). Не лучше ли изначально организовать подписку на серию брошюр с официальными материалами. Скажем, партийными, партийно-государственными, в области культуры, в области международных дел, встреч, речей и тому подобными. А из газет это все исключить. Мы бы не только бумагу экономили, но и мощности, и трудозатраты (знаете, как наборщики дефицитны?!).

А около 3 тысяч районных газет, выходящих по нескольку раз в неделю, находящихся на дотации и выпускаемых в предположении, что телевидение и радио еще не изобретены? Когда есть ежедневные центральные и областные газеты, где можно делать сменную полосу (для районной специфики), газеты, которые можно заменить красочными еженедельниками, которым, может, и не понадобится

сменная полоса. Похоже, и газеты эти существуют, чтоб редакции работой обеспечить.

Но самый главный, самый большой резерв бумаги, по-видимому, в таком преобразовании самих функций, для выполнения которых используется бумага. Мы обсуждали уже идею: «справку по запросу — за деньги». Исключение внеэкономических средств давления со стороны начальства, требующего справку, и со стороны властей, запрещающих ее требовать; введение вместо этого мощного экономического пресса приведет к изменению процедур (скажем, по телефону позвонить вместо обмена справками) и резко уменьшит потоки бумаг.

Один из мощнейших резервов — перестройка «техники» образования высшего и среднего. Для начала: мы тысячами тонн изводим бумагу на тетради для лекций и «нормо-веками» (миллионами нормо-часов) время на их конспектирование, хотя книгопечатание уже изобретено и издание сброшюрованных лекций для студентов не нуждается в гигантском взлете интеллекта; тем более с помощью автоматизированных издательских систем.

Нам необходимо изменить политику компьютеризации учреждений и предприятий, двигаясь по пути безбумажной информатики, вместо того, чтобы снабжать все службы многокилограммовыми распечатками.

Для того, чтобы это не было пустым бесплодным мечтанием, необходимо перестроить систему показателей работы издательств: не на бумажные лимиты их ориентировать, не на тысячи экземпляров или миллионы листов оттисков, а на подготовленные к изданию учетно-издательские листы. Подготовленные и записанные на машинный носитель. А вывести потом можно на что захочется: на обычную бумагу через принтер, прямо на печатную форму через лазер; или через фотонабор на обычную пленку, либо на микропленку или микрофиш. А что касается читателей (особенно в технических библиотеках предприятий), то заботиться о них стоит, закупая не книги в несметных количествах, а аппаратуру для чтения. Речь идет не об отказе от книг вообще. Но ведь книга книге рознь — на некоторые уместно смотреть как на произведения искусства, а на некоторые незачем так смотреть — они лишь носители информации.

Если мы проведем границу, отделяющую собственно издательскую деятельность от тиражирования, то незаметно рассеются и разговоры об угрозе больших тиражей для стабильности работы издательства. Ведь исполнение тиражей — это не издательское дело. Есть еще различные способы вытеснения бумаги из тех сфер применения, где она используется не для книг и газет. Упоминая об этом, хочу возразить А. Серегиину, автору статьи «Бумага (почему ее хронически не хватает)» в «Правде» от 20.08.88. Вернее, не столько возразить, сколько уточнить суть дела.

Во-первых, вряд ли стоит говорить о том, что вопрос с талонами «перерос рамки здравомыслия». До талонов были билеты — какая разница? Речь, наверное, идет не о проблеме талонов, а о проблеме платности и вульгарном представлении о самоокупаемости городского транспорта. Вульгарном — потому что, обсуждая проблемы рентабельности транспорта, навязывая горожанам увеличение платы за проезд, негодуя и споря, мы как-то упустили из виду, что «транспортные артерии города» — это не просто поэтическая метафора. Сегодняшний город без транспорта просто нежизнеспособен. А мы (скажем, Ленинградское телевидение) на полном серьезе рассказываем (с выходом на союзный экран), что на таком-то заводе нельзя ввести вторую смену, которая могла бы дать несколько десятков миллионов дополнительной прибыли, потому что, мол, сторублевые затраты на трамвай не окупаются проданными его пассажирам билетами (или талонами). Но это уже другая история. А если уж говорить о потерях в Госкомиздате, то, наверное, не о талонах стоит подумать в первую очередь, а о том, почему во всем мире книги пакуют в термоусадочную пленку, а мы в крафт-бумагу (венгры даже зеленый горошек для нас в пленку пакуют, а мы — в деревянные ящики!). Конечно, нам ни бумаги, ни леса никогда не хватит при таком подходе.

Во-вторых, когда мы говорим о потерях: об остатках при резке, о неумении перерабатывать макулатуру, о глубине (лучше сказать, о «мелкоте») переработки древесины, нам надо выбрать, куда идти: или в сторону повышения ответственности и сознательности, усиления контроля за внедрением техники и экономией сырья и тому подобным или о необходимости подлинного хозяйственного расчета с полными правами хозяина, не просто в соответствии с Законом о госпредприятии, а в соответствии с духом проводимой экономической и политической реформы, еще не в полной мере воплотившемся в Закон, как теперь уже стало очевидным для всех.

Чтобы было больше бумаги, нам нужны хозрасчет и еще демократизация. Чтобы печатать то, что нужно читателям, нам нужны хозрасчет и демократизация. Чтобы торжествовали в нашей стране не только гласность, но и свобода слова, при которых административно-бюрократическая жизнь становится невозможной, нам нужны демократизация и, конечно же, хозрасчет.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Илья **ФОНЯКОВ**

РЕКА ПОДО ЛЬДОМ

Эти стихи прозвучали, помнится, на одном из ленинградских литературных вечеров.

Мы в выпускном, *тридцатом* классе,
Но, кажется, нас выпускают...

И дальше:

И все-то ждут от нас, болезных,
Восторгов юных в каждом жесте,
Хоть тридцать посохов железных
Истерто от ходьбы на месте.

В стихах слышалась давняя обида. И реакцию они вызывали сложную: с одной стороны — сочувствие, с другой — едва ли не раздражение. Проще всего было, конечно, отмахнуться: ага, знакомая песня, все о том же — о том, что, мол, не печатают. И, потом, кто это — «мы»? Поколение? Извините, с поколениями у нас по традиции все благополучно. Это не у нас, а где-то там, в иных странах молодежь заявляет порой, что ей надоели воспоминания о войне, что у нее свои проблемы и заботы. А у нас не так, у нас эстафетная палочка всегда передается вовремя и в надежные руки. Разве не выходили регулярно коллективные сборники, оглавления которых напоминали телефонный справочник небольшого городка, только вместо номера телефона — номер страницы? Разве не писались к ним соответствующие предисловия — про молодую рощу, про чистые и звонкие голоса? Правда, отдельные дотошные люди с некоторых пор стали обращать внимание: население в городках (равно как и деревья в рощах) не столь молодо, как хотелось бы. Однако и тут находилось утешительное объяснение: люди взрослеют медленно, молодость затягивается. Это в эпохи войн и революций людские души мужают стремительно, двадцатилетние командуют полками и создают гениальные произведения. В долгие же годы мирного развития все протекает иначе. В общем, было что отвечать на стихи о тридцати посохах. Пока не довелось мне принять участие в составлении очередного коллективного сборника. В ходе работы над ним членам редколлегии пришлось прочитать более двухсот стихотворных рукописей. Сперва поставили перед собой задачу: во что бы то ни стало избежать «эффекта телефонной книги». Пусть будет в сборнике десять, от силы двадцать авторов, но представленных по-настоящему, так, чтобы запомнились. Из этого намерения ничего, однако, не получилось. В окончательном списке опять фигурировало сто с лишним фамилий. И не потому, что кого-то мы жалели, не хотели обидеть. Просто книга, при всей пестроте материала, на глазах превращалась в некое Целое. Сочинения людей, порой даже незнакомых друг с другом, перекликались, аукались. Смутно вырисовывалась какая-то общность. Что-то объединяло их — поэтов непризнанных и полупризнанных, не печатающихся вовсе или печатающихся редко и непредставительно. Впрочем, у Ирины Знаменской, написавшей стихи о тридцати железных посохах, даже книжка к тому времени была. Маленькая, кассетная. Ее даже в Союз писателей принимали по этой книжке — у себя дома, в Ленинграде. Дважды направляли документы в Москву, дважды суровая столица накладывала «вето», пока, наконец, Ленинград не получил право самостоятельного приема в Союз и не утвердил — уже сам! — свое собственное решение.

Так или иначе — текла в течение ряда лет подо льдом нашего неприятия и непризнания некая река. Читатели порой могли заглянуть в ее глубины сквозь проруби и полыньи случайных публикаций. И снова течение уходило под лед. Со временем полыньи становились все шире, по девственной белизне льда бежали зубчатые трещины. Становилось виднее, что есть в этой реке свои мели и водовороты, что несет она, вместе с чистой водой, и всяческую муть. Но главное, что вода не стоит на месте, что река течет! И делать вид, что ее нет, уже невозможно.

Долгое время любой разговор с литературной молодежью сводился в основном к одному: как заявить о себе, как напечататься? Эта тема стала навязчивой. И, наверное, мы были по-своему правы, упрекая младших собратьев в прагматизме. Тем более, что громче всех заявляли о своих претензиях не обязательно самые достойные и талантливые.

Однако приглядимся внимательней к этому поколению «прагматиков». И выяснится весьма существенная вещь: менее всего их «прагматизм» распространяется собственно на творчество. Оказавшись наедине с листом бумаги, они не сделают ничего, чтобы облегчить себе жизнь. Не станут сочинять, например, так называе-

мые «паровозы». (Каждый пишущий знает, что такое «паровоз» — и хорошо, если только понаслышке. Но поскольку статьи о поэзии читают не только пишущие, надо, по-видимому, объяснить: «паровозом» на протяжении многих лет называлось стихотворение на «актуальную», любезную редакторам тему, специально написанное для того, чтобы тащить за собою журнальную подборку или даже целую книгу.)

Наши «прагматики» не рвутся, как правило, и в престижные командировки на БАМ или иную великую стройку, чтобы обязательно привезти оттуда цикл, способный сразу сделать рукопись весомее в глазах издательства. Исключения, впрочем, есть. Один из «молодых» съездил-таки на БАМ, после чего сочинил и опубликовал такие, в частности, строки:

Мне довелось пожать при встрече руки
Испытанных на прочность мужиков
С медалями мозолей — за заслуги,
Сверкающими выше облаков...

И читая это сочинение о «медалях мозолей», которые «сверкают выше облаков», трудно поверить, что его создал тот же автор, что написал проникновенное заклинание, способное стать эпиграфом ко всей коллективной книге его сверстников:

А ты не мучайся, не бойся, ты скажи,
но так, чтоб не было в словах ни капли лжи,
не так, как в детстве нас учили и потом,
не так, как принято, не то и не о том...

Неужели это он же — Дмитрий Филимонов? Может быть, однофамилец? Прошу понять меня правильно: я вовсе не считаю, что поэты, в том числе и молодые, не должны ездить на БАМ и писать потом о своих впечатлениях. Наоборот: любая большая стройка дает столь бесценный срез нашей жизни, что грех им пренебрегать. Но интерес должен быть искренним, а не конъюнктурным.

У большинства же наших «прагматиков» — органичное отталкивание от того, о чем и без них достаточно шумели и били в колокола. Им чужда мелочная жажда успеха, которую, по слову Твардовского, обязательно нужно побороть в себе, приступая к работе.

Безвестность, в сущности, так хороша —
необходимой тишиной, к примеру.
Но тяготится нищетой душа,
так ничего и не приняв на веру,—

это Геннадий Беззубов. Совсем незнакомое имя: как и многие другие, оно впервые встретилось мне при работе над упоминавшейся коллективной книгой. Впрочем, встречалось потом: под спортивными заметками в молодежной газете, но это совсем другая сфера. В стихах Беззубова — стремление к беспощадной откровенности, беспощадной прежде всего по отношению к самому себе. Процитированные стихи печальны. «Пессимистичны»,— с нажимом поправит иной ревнитель бодрости. Но ведь важно, что душа своей пустотой и нищетой *тяготится*. Сколько вокруг нищих духом, отнюдь не тяготящихся этим обстоятельством! И не всегда нужно их обличать — можно и пожалеть, и, как ни странно, даже любить:

Опять, опять приходишь ты
и ночь приводишь за собою.
Не лги, что стал твоей судьбою,—
твои глаза пусты, пусты.
Да и слова твои пусты
и зря тревожат тишь ночную.
Но все ж люблю тебя такую,
мой гений чистый пустоты.

Эти не очень совершенные по форме стихи Михаила Окуня (недавно у него вышла книжка) производят странное действие: и отталкивают, и заставляют снова и снова к ним возвращаться. И вовсе не кажется кощунственным парафраз пушкинской формулы в последней строке. А что до бодрости и жизнерадостности — так, действительно, вправе ли мы ожидать в нашем случае «восторгов юных в каждом жесте»? И не только потому, что напечататься трудно, а годы идут. Вспомним: какие годы. Мы достаточно строго судим сегодня наше недавнее прошлое, говорим о застойных явлениях в обществе, о том, как часто слово расходилось с делом, какую силу обрели всевозможные фигуры умолчания. Наивно думать, что все это никак не отложилось в человеческих душах. А ведь для поэтов, о которых мы говорим, эти годы были временем становления — человеческого и гражданского. Такими же, как для нашего поколения — вторая половина пятидесятых и начало шестидесятых годов, время после XX съезда партии. Что бы ни было потом — именно эти годы сформировали нас, определили расстановку сил, симпатии и антипатии, гражданскую активность и социальный оптимизм. Тем, кто помоложе, достались иные времена — во всяком случае, побогаче. Но ведь существует и такое понятие, как томление духовной жаждой:

Не первый год душа моя сыта,
охвачена довольством и дремотой.
Она не хочет больше ни черта —
ни слез любви, ни ломовой работы.
И надо грому трахнуть по стеклу
или утрате полыхнуть по нервам,
чтобы она опомнилась в углу —
беспечная, закормленная стерва,—

пишет Алексей Трохин, нигде, насколько мне известно, доселе не печатавшийся. И без этого энергичного восьмистишия был бы неполон коллективный автопортрет явления, о котором мы говорим.

С одной стороны — нередко неприкаянность, с другой — опасность погружения в сытую дрему довольства: испытание души на разрыв. И самое удивительное, что душа это испытание выдерживает!

Я прочел за последние годы огромное количество стихов, написанных «как хочется, как просится, как шепчется и как верится», без малейшей оглядки на какого-либо редактора, хотя бы и «внутреннего». Было много стихов печальных, трагических, острых, но не было ни одного стихотворения циничного, растленного, античеловечного, свидетельствующего о распаде души. Из прочного, что ни говори, материала сработана эта невесомая эфемерида — душа человеческая!

В чем же ищет и находит она опору?

Прежде всего, как это ни странно, в себе самой.

«Как это ни странно» — потому что по всем нашим добрым традициям опору надо искать в другом: в труде, в единении с людьми. Помнится, у советского поэта тридцатых годов Вадима Стрельченко есть сильное стихотворение «Пение хором». Одинокий человеческий голос уже готов оборваться, сникнуть — и тут на помощь ему приходят другие. Этого упоения «слиянностью» с хором у нынешних «молодых» нет. Наоборот:

А их дирижер, их учитель — он так моложав
и неистов,
и гибкие руки стремятся на волю
из тесных манжет.
Как стройно поют и как чисто!
И все-таки жаль мне хористов,
как всех, кто забыл свое имя и дал послушанья
обет.
И все же, признаться, мне ближе — в застолье,
где много народа,
где пьют, и галдят, и судачат,— вдруг кто-то,
набравшийся сил,
затянет, другие подхватят, слова вспоминая
по ходу,
и каждый поет как умеет, как на душу бог
положил.

Пусть и со всеми, но — по-своему! Еще более определенно откликается автору этих стихов, нигде, по-моему, не печатавшемуся Александру Фролову, другой поэт — Михаил Каневский (публикации — в коллективных сборниках):

Пение — самый несносный предмет,
рыбы — и те веселей меня пели.
Гнали с урока, чтоб тер я паркет,
чтобы дощечки поярче блестели...
Вот и запомнил: скорей бы звонок,
чтобы натертый до блеска паркетик
снова испачкался, чтобы я мог
крикнуть певцам и певичкам:
«приветик!».
Чтобы душе моей пелось на пять,
не соблюдая бемолей, диезов...
Чтобы старушек соседских пугать
старой гитарой в облезлых подъездах.

Вера в свою самобытность, неповторимость, непохожесть, в свое право петь «как на душу бог положил», не так, как все, и не так, как учат в школе,— чем не опора! Можно, конечно, упрекнуть за это, припугнуть чем-нибудь вроде эгоцентризма. А можно и похвалить, и отнестись с уважением — хотя бы за то, что не ноет, не впадает в духовное иждивенчество. Сама жизнь убедит потом, что одним горделивым самоутверждением долго не проживешь, что очень скоро уединение пригрозит обернуться одиночеством:

Что ты морочишь, квартирная скверная
пустошь?
Щелкнут обои в углу... Заскрипят половицы...
Трубку поднимешь — услышишь гудок —
и опустишь...
Виснут в пространстве секунды,
и время не длится...

Так пишет Олег Пилюгин (публикации — на журнальных страницах и в коллективных сборниках). И возникает естественная, выстраданная тяга к миру, к его ускользающей и вечной красоте,— на нее, хрупкую, тоже можно опереться:

Что за вода в роднике!
Склянку до края нальешь —
Кажется, пусто в руке...

Автор этой миниатюры Виктор Иванов написал целую книгу подобных трехстиший в духе японских «хайку». «Часы отстегнуты... Остановись, мгновенье! — Не остановится, конечно же. И ладно»,— это уже Алексей Пурин. Увы, остановить мгновение нельзя: остановить — убить. В лучшем случае может получиться так, как в ироническом верлибре самого молодого из «молодых» — Всеволода Зельченко (на конференции осенью 1986 года он присутствовал четырнадцатилетним):

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
Побежали,
Крикнули,
Камнем швырнули в спину,
Догнали,
Накинулись —
Остановили мгновенье.
Потом пригляделись — тьфу!
Это надо же так!
Обычное паршивенькое мгновеньице,
Да еще и ногти не стрижены,
А казалось — туда же — прекрасным.
Надавали щелчков
И отпустили мгновенье.

И даже если мгновенье действительно подарит радость — чистую, свежую, незамутненную радость бытия, здоровья, молодости,— поэты порой склонны воспринимать ее с недоверием, даже с какой-то подозрительностью, будто некое обольщение, морок:

Лягнул эспандер, растянутый на пять
пружин,
А на полу отдыхает упругая штанга.

Душ отшипел, и опять ты один на один
С утренним часом, и брошен тебе, как
приманка
Воздух прохладный весны...

Это Давид Раскин, по-моему, не печатавшийся. Погодим корить автора на недонерие к брошенной «приманке», за некий даже испуг перед едва проклюнувшейся в сердце радостью: «словно себя на убогой мякине провел, смысл потерял и легко примирился с потерей». Во многих случаях такие упреки имели бы под собой некоторое основание: есть рукописи — из тех, что поплоше,— действительно вызывающие ощущение, что унылость и кислая мина — один из признаков хорошего тона. Не дай бог улыбнуться, порадоваться жизни — глядишь, еще в конформисты запишут! Но в данном случае подтекст, как мне кажется, другой: я — человек, и негоже мне удовлетворяться бездумной, растительной радостью существования! Я — молод, здоров, а кто-то стар, одинок и болен. Мир только прикидывается благостным и радушным, на самом деле он во многом неблагополучен, неустроен и тревожен. А его эфемерная прелесть — это маска, фасад. К фасадам же, как и вообще ко всяческой парадности, даже самого высшего и благородного толка, отношение совершенно определенное. Если перед нами, к примеру, Ленинград, который экскурсоводы привычно и заслуженно величают «одним из красивейших городов мира», то в стихах, как правило, не Адмиралтейство с корабликом на шпиле, не Медный Всадник, попирающий змею, и не гранитные берега Невы. В стихах — другое, не открыточное, не буклетное:

Что за названия: Мытнинский, Перекупной!
Смутные мысли о плате вперед, о закладе.
«Брось медяки на дорогу и следуй за мной»,—
Древнюю притчу о мытаре вспомнишь
некстати.
Вроде, нехватка каких-то привычных вещей:
Портиков, пандусов, белых колонн,
капителей...
В общем, знакомо: наш город по сути своей
Город-двойник, два лица у него, две модели.
Может, поэтому странная тяга у нас
К долгим бесцельным походам сюда,
на задворки...
Что декорации, если б не этот каркас,
Эти пропахшие гарью и дегтем подпорки?

Это — Александр Фролов, уже фигурировавший в настоящих заметках. И ведь все верно, все «по жизни» — и социально, и исторически: не было бы «фасада», не было бы «декораций», если бы не этот жесткий каркас.

Слово «жесткий» пришлось тут весьма кстати. Есть сегодня такой ходовой термин: жесткая проза. О ней, родившейся из стремления посмотреть в лицо вещей, сказать о том, что до поры до времени стыдливо обходилось вниманием, пишут и спорят критики. «Жесткое письмо» утверждает себя в драматургии, в кинематографе. Достойно удивления, что поэзия — эта «легкая кавалерия» литературы,— на сей раз несколько отстала. Однако успешно наверстывает упущенное. Так, например, на смену многочисленным и трогательным стихам о «братьях наших меньших», которых надо любить и беречь, приходят произведения, подобные «Стае» О. Пилюгина. Сюжет стихотворения прост и реален: в новых, просторных и светлых кварталах появились, словно в лесу, стаи одичавших собак, трусливых и свирепых. Откуда они взялись? Оказывается, «расселили деревянные Коломяги» — одну из старых, еще Пушкину ведомых, деревень, уже давно оказавшуюся в черте города, но еще долго сохранявшую свой пригородный уклад. Расселили, предоставили людям давно желанные современные квартиры — но ведь не потащишь туда с собой дворового пса с его будкой? И вчерашние сторожа остались предоставленными самим себе: «одних волков убинаем — других волков производим». В сущности, о том же: о братьях наших меньших, о долге перед тем, кого приручил. Но — суровей и жестче, чем в сказке о маленьком принце. Потому что ведь и не скажешь сразу: а что делать?

Как не скажешь сразу, «что делать» и в той ситуации, которая легла в основу стихотворения «Баба Фиса» Сергея Дроздова:

Скрипит оттоманка и пляшет стакан,
и пьяные слезы текут по щекам,
и в тощих коленях похмельная дрожь.
Ответь, если можешь, зачем ты живешь?

Не ответит баба Фиса. Не ответит, почему у нее дебильная дочь и знаменитый «по всем вытрезвителям» зять. Ведь начиналась жизнь совсем по-другому: в шифоньере у бабы Фисы — боевые ордена, а где-то «на дальних гранитах» — имена друзей: девчонкой дошла она до Берлина. Что же случилось? Сама виновата? Может быть, и все мы вместе что-то не доглядели, упустили в нашей жизни — но где и когда? Что делать? Как быть? Пренебречь как несущественным? Долго пренебрегали, больше нельзя. Газеты вон уже всерьез взялись за эти проблемы. «Подросток» Михаила Каневского прямо-таки перекликается с некоторыми публикациями прессы:

Сперва дразнил кота,
пинал ногою банку,
рассматривал моста
дырявую изнанку,
выдумывал — куда
ему еще податься,
от площади Труда
пешком до Петроградской
тащился, как трамвай
бездомного маршрута...

Подставлена ветрам,
раздета и разута
душа его была.
Но что творилось с нею,
куда она брела —
предугадать не смею...

Куда бредет, к чему придет неприкаянная душа? В компанию неистонствующих на стадионе «фанатов»? В подвал, где ианюхиваются до одури пресловутым химикатом? На постыдное сборище общества «Память»? Или, может быть, все-таки — к «неформалам», спасавшим дом Дельвига, озабоченным судьбою Ладоги, чьим-то одиночеством, которое нуждается в милосердии? Излишне говорить, насколько небезразличны нам эти вопросы. Тем более, что есть и такой вариант, о котором написано в стихотворении Аллы Михалевич:

Опять больной подросток за стеной
Кричит на долгой, невозможной ноте.
Вы спросите: «Что это, боже мой?» —
Когда в свободный день ко мне зайдете.
«А-а,— и непрерывно,— а-а-а...»
«Так можно испугаться не на шутку.
Нет, мне бы не привыкнуть никогда.
Скажи, тебе от этого не жутко?»
«Да. Он однажды чуть не проломил
К нам стену. Вот — и трещина осталась.
Но мать с ним бьется из последних сил
И волю напрягает сквозь усталость...
Крик за стеной — к нему привыкла я,
Как привыкают к сдержанному стону.
А за другой — здоровая семья.
С той стороны мы держим оборону».

Кстати, вот еще одно из долго существовавших табу: тема безумия. Хотя в сегодняшнем мире с его стрессами, алкоголем и наркотиками тема эта неизбежно присутствует. И все-таки самое страшное в этих стихах — то, что «оборону» приходится держать прежде всего с той стороны, где живет «здоровая» семья.

Недоверие к высоким словам сказывается, может быть, и в том, что, как это ни странно, поэты, которых мы называем, пусть и отчасти условно, «молодыми», очень мало пишут о любви. Она мимолетна и ненадежна, в ней тоже трудно найти опору. Гораздо чаще, чем о любви — о семье, в особенности о детях, желанных или нечаянных, но всегда любимых:

Кто ты, будущий и тайный,
Хочешь вырваться на свет,
В этот быт полувокзальный,
Где душе покоя нет?
Ты — беспечная улыбка
Над нелепостью смертей
И прекрасная ошибка
Двух растерянных детей...
(Алексей Трохик)

Я груз воспитанья несу,
когда позволяю ребенку
потрогать головку масленка
во мху пересохшем, в лесу,
когда запрещаю птенца
пугать, с удивленьем стесняясь
того, что в отца превращаюсь
из мальчика в роли отца.

Таким вот светлым и ясным становится вдруг Андрей Крыжановский — поэт, практически не печатавшийся (намечается, кажется, «кассетная» книжка) и в других своих стихах достаточно сумрачный. Вообще, самые светлые, самые солнечные строки связаны с миром детства. Нет, не своего: о нем как раз мало. И это тоже харвктерная черта отличия от поэтов прошлых поколений, у которых стихи о собственном детстве относятся как раз к числу наиболее ярких. А у этих, идущих следом, словно бы и вообще детства не было. Странное дело: когда говорят «у него не было детства», всегда имеют в виду какие-то неимоверные тяготы и лишения. А ведь у них, у тех, кто моложе нас, все было как раз наоборот: куда благополучнее, чем у поколения их родителей. Неужели и впрямь благополучие и достаток губительны для души? К счастью, это не так: детство Николеньки Иртеньева или Багрова-внука никому не придет в голову назвать неблагополучным, однако ж хватило его впечатлений на целые книги — и какие книги! Нет, наверное, дело в другом: чего-то опять не доглядели, не поняли, задаривая своих детей игрушками, книжками, одежками, обрушивая на их головы поток пестрой информации. Снова — урок! И, может быть, результат у них — повышенное внимание к детству своих детей, такое, как, например, в стихотворении «Капитаны» Эрика Шмитке — «верлибриста» из города Сосновый Бор, где, между прочим, расположена Ленинградская атомная электростанция:

Ты присмотрись,
как управляют колясками молодые
отцы,—
ловко лавируя на площадях,
сыновей укрывая от ветра.
Такое знакомо
лишь капитанам фрегатов —
такое тонкое ощущение ветра,
такое захватывающее желание
новых открытий.

Мир детства, семьи, все, что иногда называют бытом, уничижительно противопоставляя его бытию, оказывается напрямую связанным с космосом, с мирозданием, как об этом сказано у Зои Эрохи, поэтессы яркой и самобытной (публикации в «Юности», «Неве», «Литературной газете», коллективных сборниках, не дающие, впрочем, адекватного представления о поэте):

Все делать быстро, быстро, быстро,
Скорей, скорей, скорей, скорей,
Сверкать по дому, словно искра,
Среди кастрюль, детей, зверей...

Вокруг меня — мои планеты
Живут, лишь мне благодаря.
Моей энергией согреты
Материки, леса, моря.

И мысль, которая ужасна,
Меня пронзит в разгаре дня:
Ведь я остыну, я погасну,
Что будет с ними без меня?

Кстати, еще одна любопытная закономерность. По стихам поэтов, о которых идет речь, как правило, трудно определить, чем они занимаются в жизни, кроме сочинения стихов. То ли было когда-то: едва ли не каждый входящий спешил заявить, кто он и откуда, в каких отношениях, в том числе и профессиональных, состоит с миром. А нынешние «молодые» и в жизни-то в ответ на вопрос о профессии только плечами пожимают: а зачем вам это? Популярны профессии вахтера, сторожа, дворника и другие, якобы высвобождающие время для общения с музами. Есть, конечно, среди пишущих стихи и люди с «нормальной» анкетой, долго и добросовестно работающие по специальности — врача, педагога, инженера. Но и тут складывается впечатление, что на пороге творческой лаборатории поэты поспешно сбрасывают свои профессиональные доспехи и прячут их в особый шкафчик. Хорошо это или плохо? Хорошо — потому что в основе, надо полагать, стремление пробиться к общечеловеческому в человеке. Плохо — потому что поле исследования искусственно суживается. Хочу сослаться на авторитет несколько неожиданный в данном случае — Осипа Мандельштама: «поэт не есть человек без профессии, ни на что другое не годный, а человек, преодолевший свою профессию, подчинивший ее поэзии».

И наши «условно-молодые» поэты, кажется, уже чувствуют некоторую недостаточность своего мира. Их музы начинают заглядывать на школьный урок, в лабораторию, в цех — но по-своему, в чем-то по-иному, чем это было у предшественников. Их интересует не столько сама преобразующая деятельность человека, сколько те взаимоотношения, подчас тончайшие, микроскопические, которые складываются между людьми в процессе труда. Это очень любопытно и свежо: издавна сферой утонченных переживаний считались общение с природой, искусством, мир интимных чувств. А вот у Алексея Машевского (публикации мне не известны), в его цикле «Рабочий журнал», речь идет о буднях крупного научного учреждения:

Ну, присяду! Есть еще минута
до начала дня, работы, до начала
планов... Трубчатое тело института
не задвигалось еще, не зазвучало...

Как это, кстати, неожиданно и точно сказано: «трубчатое тело института». Кто из нас не знает их, этих современных лабораторных корпусов, из конца в конец просквоженных бесконечными коридорами! Одно из стихотворений называется подчеркнуто протокольно: «По вторникам к нам на стажировку приходит студент Дима». Для Димы это еще «не труд, а развлечение» — раз в неделю «погостить у бабушки-науки», и смотрят на него умудренные коллеги с тихой завистью, и с любовью, и с жалостью, узнавая, должно быть, самих себя — давних или недавних... В сущности, это снова интерес к детям, к тем, кто идет следом уже за нынешними «молодыми». Поразительное в этом смысле стихотворение написал Евгений Сливкин (наиболее заметная публикация — большая подборка стихов в «Литературной учебе» с комментариями критика):

Я полюблю Вас через десять лет
(Вы — девочка!)
всем сердцем, может статься.
Не надо надрываться и метаться,
как будто впереди и жизни нет.
А с Вами, мальчик,
через десять лет
мы встретимся серьезными глазами:
я друга угадаю — Вы и сами
мечтаете...
Растите — вот совет.
О, девочка и мальчик!
Вы путей
не ведаете в их переплетенье:
в своем я заблудился поколенье,
намаялся
и вышел на детей.

«В своем я заблудился поколенье...» — формула неожиданная и парадоксальная. Кое-кому она может показаться чуть ли не капитулянтской: вот как запутались, в каких тупиках, а точнее сказать, в трех соснах заплутались — сами разобраться не могут! Но, может быть, именно в этой мнимой капитуляции — нравственная победа. Руки, протянутые с надеждой к младшим по возрасту — это руки, протянутые к жизни, к миру, к будущему.

Пожалуй, по «сделанности» эти стихи уступают многим другим стихотворениям Сливкина. Вообще-то он поэт интересный, с незаурядным профессиональным слухом: ритмы его упруги и зачастую нестандартны, рифмы глубоки и звучны. Но долгое время было ощущение, что ему, наделенному от природы голосом, не о чем петь. Были метания от темы к теме, стихи казались случайными и поэтому холодными. В стихотворении, обращенном к младшему поколению, неожиданно прозвучала пронзительная и беззащитная человечная нота. Может быть, и это случайность? Нет, не думаю. Случайными такие вещи не бывают.

Что вообще происходит? Почему вдруг сегодня тронулся лед, и мы открываем для себя целую поэтическую реку? Только ли потому, что вчера были слепы и предвзяты, упорно пытаясь мерить своим аршином тех, кто сформировался в иное время, а, стало быть, и думает, и пишет по-другому? Что скрывать: было и это. Но было — если быть объективными — и другое. Застой — он присутствовал не только в общественных структурах, он был и в умах. «Я не трубач — труба. Дуй, время!» — писал в своих ранних стихах Илья Эренбург. Самые звонкие от природы трубы не запоют, пока время не наполнит их своим дыханием. Мало ли мы слышали на семинарах добросовестных перепевов того, что уже сказано поэтами старших поколений — будь то вполне достойные и правильные по существу экскурсы в годы войны или фронда «образца» ранних шестидесятых? А если не выстраданное, не свое, не наболевшее — значит, и слова могут быть приблизительными, необязательными, вялыми. Таких стихов было много в еще недавних коллективных (да и не только коллективных) сборниках. «Не о чем петь» было не одному Сливкину. Весьма далекий от него Сергей Дроздов — сегодняшний автор «Бабы Фисы» и еще нескольких сильных и жестких стихотворений — ударялся в риторику, в агитки, писал поэмы-репортажи (например, об испытателе новых тракторов Кировского завода), которые охотно печатали. Сейчас ему это ставится чуть ли не в вину. А мне все-таки в чем-то понятны эти попытки уйти от расслабленности и вялости, от элегичности, становящейся, помимо всего прочего, еще и признаком хорошего тона. Все-таки тогдашний Дроздов — это не сегодняшний бамовский «паровоз» Филимонова.

Думается, что не от хорошей жизни возник в свое время и шум вокруг творчества так называемых «метафористов», не от хорошей жизни предпринимались попытки говорить всерьез о таких, например, стихах Ивана Жданова:

Рулоны дня — как легкая повязка на капле
дождевой.
Вся эта прелесть собой напоминает заточенье,
Но это только видимая связь.
Как будто сопряженные движенья
Расторгнуты в безмолвном поединке...

Пусть извинят меня, но здесь нет *ничего*. Это суррогат, не очень даже ловко сделанный, но интерес к нему — пусть и кратковременный, ограниченный — не случаен. Слишком много публиковалось чересчур понятного, настолько понятного и знакомого, что и до конца дочитывать не надо — с первых строк все ясно. Было скучновато, возникла *тоска по тайне* — хоть маленькой, хоть бедной. Сейчас, когда пошел разговор всерьез, о стихах вроде только что процитированных вряд ли захочется кому-нибудь вспомнить. Зато произошло знаменательное: иные авторы, долгое время писавшие и даже печатавшие ничем не примечательные произведения, вдруг проявились неожиданно и ярко. Так бывало и в годы нашей молодости — в конце пятидесятых, начале шестидесятых годов. За два-три года произошел какой-то важный сдвиг. Трубы наполнились дыханием времени.

Меня далеко не все устраивает в творчестве тех поэтов, о которых шла речь. «Не устраивает», например, некоторая монотонность их творчества. «Не устраивает» равнодушие к некоторым темам, лично мне представляющимся важными. «Не устраивает» некоторая узость литературного кругозора, однообразие в выборе учителей. Да и мастерство, как видно даже из приведенных отрывков, весьма и весьма неровно.

Но гораздо больше в их работе мне видится ценного. Прежде всего — это честная поэзия. Поэты говорят то, что думают, боясь — порой чуть ли не панически — сказать хотя бы одно слово, не поверенное личным опытом. Подчас это оборачивается даже известной слабостью: в поэзии играют свою роль и вера, и догадка, и интуиция. Далее: при всех своих недостатках, это — поэзия, ведущая отсчет от человека, признающая его и только его мерой всех вещей. И, наконец, работа поэтов, о которых мы говорим, еще раз свидетельствует о неисчерпаемости резервов реалистической поэзии, питаемой живыми соками жизни.

Коллективные сборники, кассеты сейчас пошли густо. Нет ли здесь определенной закономерности, кроме очевидной организационной? Ведь каждая «новая волна» в поэзии так или иначе проходит эту ступень — в самом начале, когда ствол еще только начинает ветвиться, когда общие, «родовые» черты еще виднее и важнее индивидуальных. Вспомним выпуски «Русских символистов» и «Пощечину общественному вкусу», всевозможных «Островитян» и «Ушкуйников», послевоенные «Молодую Москву» и «Молодой Ленинград»... Думается, при всех возможных оговорках, такой этап закономерен и для тех поэтов, которым посвящены эти заметки. В общем он соответствует степени их творческой зрелости. Еще недавно, несколько лет назад, при чтении массы «соискательских» рукописей оставалось впечатление довольно слабой концентрации поэтического «раствора». Сейчас он стал намного крепче: вот-вот начнется кристаллизация. Будем этого ждать, будем к этому готовы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

Игорь
СУХИХ

ПЕРИОД РЕМОНТА ГИЛЬОТИНЫ

Когда найдена тема, материал сам идет в руки. Уже после окончания этих заметок девятый номер «Вопросов литературы» словно сам собой открылся на нужном месте, на жалобе писателя А. Русова. «Слово „утрата" все чаще становится ключевым при обсуждении широкого спектра проблем современной культуры. Утрачены и забыты многие литературные жанры. Взять хотя бы сатиру, где так широко представлены были сатирические монологи и диалоги, трактаты и путешествия, всевозможные лечебники и сонники, ведомости и объявления, словари и грамматики, истории и письма, панегирики и прошения, отчеты и надгробные речи, сатирико-нравоописательные, „физиологические" очерки и эссе, сатирико-утопические сны, фантазии, аллегории, мистифицированные дневники, переводы из несуществующих авторов и т. д. Где все это?»

И в самом деле — где?

5 октября 1988 года в нашей литературной жизни произошло событие, которое, кажется, мало кто заметил. Администрация клуба юмора и сатиры «Двенадцать стульев» ЛГ похоронила собственный замысел, который обещал блестящие перспективы и очередные пряники и лавры мастерам смешного. Под заглавием «Улетучились!» для всеобщего сведения было объявлено: «Администрация „Клуба ДС" с глубоким прискорбием вынуждена известить наших читателей, что объявленная ею несколько месяцев назад „Летучка", она же „Доска почета", закрыта впредь до особого распоряжения. И хотя мы регулярно помещали на 16-й странице итоги соревнования авторов и прославляли победителей (список которых приводится.— *И. С.*), все же количество писем от читательского жюри оказалось значительно меньшим, чем мы вначале предполагали. Объясняется ли это нелегкой конкуренцией „Клуба ДС" с остальными полосами „Литгазеты" или же какими-то иррациональными причинами — мы не знаем».

Как один из читателей позволю себе высказать предположение, что в печальном для администрации факте всеобщего равнодушия к ее начинаниям нет ничего иррационального. А вот другая ее догадка, кажется, справедлива. В самом деле, можно подумать, что на разных полосах «ЛГ» время движется с различной скоростью. Кипят экономические страсти; идут все новые публикации о героях и «антигероях» нашей истории; журналисты-международники, наконец, догадались, что капитализм не просто бесконечно «загнивает», но и временами благополучно существует, развивается и кое в чем даже преуспел; теоретики соцреализма, напротив, начали спрашивать себя, существует ли тот метод, обоснованию которого они посвятили многие страницы и десятилетия, или это «плод воображения, покрытый мраком неизвестности». И на фоне этого бурного кипения мысли на последней странице «ЛГ» нам в очередной раз предлагают смеяться над режиссерами, которые горят желанием снимать фильмы за рубежом, над глупой инструкцией о правилах поведения школьников, опубликованной в районной газете, над «смешной трагедией» (название рассказа) людей, которые по очереди лазают к себе домой через соседский балкон (главные темы номера, где опубликовано объявление администрации).

Ясно, почему читатели отказываются играть в такие игры. Скучно. Можно подумать, что на 16-й полосе «ЛГ» (за редкими-редкими исключениями), как в романе Маркеса, задержался обломок времени примерно конца семидесятых, бурного «расцвета застоя», что современный юмор (где уж говорить о сатире) находится в состоянии глубокой летаргии.

Понимаю, что тут не только вина, но и беда администрации. Слишком долго нас отучали смеяться. Эвон сколько скрывалось в архивах смех Булгакова и Платонова. А судьба Зощенко... Впрочем, на «Клубе ДС», «Крокодиле», юмористических «резервациях» толстых журналов свет клином не сходится. Взглянем пошире и на другие страницы. Как вообще сегодня обстоит дело со смехом? Над чем и как смеемся?

«Новый мир» (1988, № 5—7) опубликовал, наконец, «Аптекаря» В. Орлова. Автор имевшего большой успех «Альтиста Данилова» не раз рассказывал о нем, роман, думаю, ожидали и читатели. Книга большая, разноплановая, о ней будут, конечно, писать и спорить специально (уже спорят). Но — если честно, коротко и о главном — книга в целом вызывает разочарование.

Основная повествовательная интонация В. Орлова восходит к молодежной прозе «Юности» начала шестидесятых — снисходительная, добродушная ирония, чуть «отстраняющая» быт и в то же время одушевляющая его: «останкинские мужья в воскресные дни сходились в автомате непременно с отчаянными сумками, а то и с рюкзаками. Некоторых только с этими сумками и выпускали из дома, другие же брали сумки добровольно, желая заработать привилегии в суровом в прекрасном семейном сосуществовании. Личности в тот день пили пиво самые разные, кто с высшим образованием, а кто и со средним».

Композиционный принцип «Аптекаря» был уже опробован в «Альтисте Данилове»: смешение вот этой бытовой, иронично поданной «эмпирики» с некой фантасмагорией, «чертовщинкой». Сообразжающие «на троих» завсегдатаи останкинской пивной выпускают из бутылки водки женщину (так сказать, взрослый вариант «Старика Хоттабыча», заимствованный, в свою очередь, из арабской сказки), которая объявляет себя их слугой, «берегиней». На взаимоотношениях ее со скромным аптекарем Стрельцовым и его компаньонами и держится фабула романа. Мне кажется, что сама исходная ситуация слишком проста, новеллистична; она явно «не тянет» на многоплановое романное построение. И автор начинает расширять ее в самые разные стороны. Хорошо написанная, с претензией на сатиру, сцена соревнования мясников по рубке денег в подсобке магазина. Развернутые «краеведческие очерки» о Москве и любви к ней автора (он же один из героев романа). Такой же «очерк» о Кашине, жительницей которого представляется «берегиня». Подробнейшие «доромманные» биографии героев. Деяния и приключения подлеца Шубникова. И все это — на фоне плохо мотивированных появлений и исчезновений «женщины из бутылки», вплоть до последнего, финального.

Авторский взгляд старательно, как телеобъектив, фиксирует все, что попадает в поле его внимания, книгу как бы шатает от жанра к жанру, она «застревает» где-то на полпути между любовной историей с фантастическим оттенком и социальной сатирой и в конце концов словно разрывается от стилистической и тематической чересполосицы.

Еще в самом начале В. Орлов обмолвился: «читателю, коему хватило терпения следить за ходом останкинских событий...» Коварная и «вещая» оговорка. Проверял свою реакцию и у других читателей «Аптекаря» — не хватает терпения.

А «Новый мир», видимо, многое ставил на «Аптекаря», ведь ему отведена четверть годового объема «большой прозы», между «Доктором Живаго» и «Факультетом ненужных вещей». Жаль, но «смеховой» роман у нас «не идет пока», как сказано в одной миниатюре Жванецкого.

М. Жванецкий тут процитирован не случайно. «Аврора» (1988, № 9—10) напечатала вторую часть его книги «Жизнь моя, побудь со мной!» с эффектным и пышным авторским определением жанра «роман-фельетон в монологах, диалогах, сценах, высказываниях, размышлениях и воспоминаниях». Тут все слова справедливы, кроме первого. Лестно, в общем, написать роман (еще одна попытка!). Но в данном случае это мистификация (или авторский самообман). Ведь и фельетонный роман (вспомним хотя бы «Двенадцать стульев») предполагает некую единую фабулу. Жванецкий же просто собрал вместе свои старые и новые «монологи и диалоги», то, что годами крутилось на тысячах магнитофонов, читалось с эстрады,— собрал все это, разбив материал на несколько условных глав: «Люди в городе и за городом», «Жизнь — спорт», «Для себя работаем» к т. п. Единство, даже воображаемое, здесь отсутствует.

Испытание книжной страницей (это показывает и опыт некоторых поющих поэтов) выдерживает далеко не всякое хорошее эстрадное произведение. Там, в зале, оно расцвечивается интонацией, подогревается коллективной эмоцией, не допускает пристального разглядывания. Текст на книжной странице воспринимается уже отстраненнее и пристальнее. Обаяние личности и интонации здесь тоже нужно перевести в слово.

«Жизнь моя...», с этой точки зрения, вызывает неоднозначные чувства. Есть миниатюры (скажем, всем известные «Броня крепка» или «Лица прохожих»), которые «испытание текстом» выдерживают «на все сто»: великолепно придуманы, хорошо, без пустот записаны, очень смешны. Это — «фирменный» Жванецкий. Его рука узнается тут сразу. Другие — «В метро», «В аптеке» и т. п.— скорее «отбывают номер», паразитируют на удаче соседей. Никакой стилистический анализ не доказал бы, что перед нами «тот самый Жванецкий». Кое-какие спичи из главы «Мои друзья» свидетельствуют о большой контактности и дружелюбии автора, но явно предназначены для узкого круга, «для своих». Тут сыграло, вероятно, свою роль желание автора после долгого периода «бесписьменного, фольклорного» существования опубликовать все или почти все из когда-либо написанного и произнесенного.

Но как раз такая мозаичность хорошо проявляет и выявляет особенности стилистики Жванецкого, как, впрочем, ее границы и проблемы. Стихия Жванецкого — афоризм, минимальный жанр, «молекула» юмора. Те самые натужно сочиняемые «афонаризмы», которые в «Клубе

ДС» чаще всего вызывают недоумение («вероятность выпадания из рук бутерброда прямо пропорциональна желанию его съесть»), в руках Жванецкого становятся острым скальпелем анализа. Их хочется даже выковыривать из «романа», из его глав и частей, как изюм из булки, и «употреблять» отдельно — да так оно, в сущности, и происходит в нашем речевом обиходе. Многие миниатюры Жванецкого представляют собой нанизывание в переплетение таких афоризмов на определенную тему («Прогноз погоды», «Прогноз моды») или их «привязку» к какой-то ситуации (уже упомянутая «Броня крепка» или «Детский сад»). Эта проза линейна; она движется от реплики к реплике, от репризы к репризе, иногда великолепно схватывая острые углы и «гримасы» (как говорили в двадцатые годы) нашего быта, но не претендуя на создание характера человека, попавшего в такие жернова. Это просто не входит в ее установку. Возникающие в потоке реприз типажные обозначения — тренер, старик, девушка, ловелас — чисто функциональны и «лица», в общем, не имеют (вот почему еще «Жизнь моя...» — не роман, роман без лица невозможен).

Намек на какой-то характер есть лишь в центральном персонаже, «я» повествователя (Жванецкий щедро делится с ним собственной биографией) — чудаке и простаке, испытывающем на своих боках все «прелести» нашего быта с его дефицитами и очередями, вечной неустроенностью и ни на чем не основанном, но все же неистребимом оптимизме. С этим «я» внутри «романа-фельетона» связан интересный сюжет, возникающий поверх конкретных реприз и миниатюр: размышления о своем «творческом методе» — «вообще» и сегодня.

Главка «Еще пролог, или О себе» начинается с такого афоризма: «у нас сатириками не рождаются, их делает жизнерадостная публика из всякого, ищущего логику на бумаге». И чуть позднее, в главе «О себе как о друге» варьируется сходная мысль: «некоторые поиски логики приносят славу сатирика. И даже смелого человека». Но «автор как герой» отклоняет чашу сию, формулируя свою задачу гораздо скромнее: «первого апреля восемьдесят энного года в двадцать один час отогнал мысль устранять недостатки нашей жизни путем чтения художественных произведений. Довольствуется подъемом настроения». Ирония, которую не надо принимать всерьез? Скорее фиксация реальной драмы. Ведь нынешнее существование смеха в нашей культуре парадоксально.

Умный и ядовитый Салтыков-Щедрин в какой-то из своих сатир сказал примерно так: мы, благодаря цензурному гнету, долго над нами тяготевшему, стали такими опытными, что стоит нам лишь крякнуть в нужном месте, чтобы читатель почувствовал за этим невесть какую глубину. Это наблюдение великолепно работало и объясняло ситуацию почти через столетие совсем еще недавно. «Тонкий намек» (кряканье) на то, что в наших магазинах не все в порядке и среди начальников попадаются хапуги, срывал бурные аплодисменты и приносил славу смелого человека (опасную славу). И вдруг — почти все стало можно. Но стиль «эзопова языка» уже сложился, приемы наработаны — сломать их не так-то просто. Писатель ведь не флюгер, который послушно поворачивается по ветру. Вот как эта драма описана у Жванецкого: «от гласности пострадали многие, в том числе те, кто ее призывал. Шутки шутками, а звездануть через карман тяжелую промышленность?.. а усомниться в подполье в существовании мясомолочной промышленности, когда нет мяса?.. Оглушительные крики глухо звучали снизу. Полные названия вещей своими именами, смелая критика системы неразборчиво бухтела под землей... Теперь открытая добыча. Свобода слова происходит уже на глазах по-прежнему молчащей публики. Шансов на успех нет... Если вчера самым глупым был вопрос „где это вы темы берете?“, то сегодня еще глупее — „о чем вы теперь писать будете?“. Да, действительно, прямо не знаешь».

Но, как и положено настоящему гражданину («умри мой стих, умри как рядовой»), Жванецкий готов пожертвовать своим делом, своей строкой, чтобы всем было лучше: «мы видели все, только не видели полных магазинов, на чем создано много прекрасных художественных произведений, в том числе сатирических, звучащих остро в данный момент. И нам надо выбирать: или сытно есть, ухудшая качество поэзии и сатиры, или полуголодно создавать немеркнущие ценности человеческого духа, столь необходимые нашим соседям. Первое хорошо и второе хорошо. Но первое мы уже пробовали. То есть наша сатира на первом месте в мире, давай, теперь попробуем второе. Хорошее горячее второе, и хрен с ней, с той великой сатирой, столь достойной великой страны, что только, даст бог, начала возрождаться». Вот тут (если это опять не ирония) хочется «поймать» «автора как героя» на некотором прекраснодушии. Где он увидел великую сатиру, исключая пятидесятилетней давности книги Булгакова и Платонова? Связь между «хорошим горячим вторым» и «великой сатирой» в последние десятилетия была скорее не обратной, а прямой: и второе было плохим и сатиры не было вовсе. Вместо нее звучал мелкотравчатый смех примерно того же качества, что котлеты в обычной городской столовке.

Хотя... Хотя в небольших порциях писалось и иное. «Знамя» (1988, № 9) начало публиковать старые «новые» главы романа Ф. Искандера «Сандро из Чегема». О «Пире Валтасара» уже упомянул мой предшественник по «Литературному дневнику» К. Степанян. Но его определение художественной доминанты рассказа («сатанинское зрелище ночного банкета Сталина, Ворошилова, Берии и Лакобы») не кажется мне точным. В соответствии с общей простодушной интонацией «Сандро из Чегема» Сталин и иные представлены у Искандера скорее не как обитатели преисподней, а как герои какого-то шутовского балагана, кукольного театра. «Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним, как жезл застольной власти. Направо от него сидел Сталин, дальше Калинин... За Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калининым по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам. Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями, так и застывшими в удивленной приподнятости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны». Или: «а что с тобой, конопатым, целоваться,— сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина...— Ах ты, мой Всесоюзный...— сказал он (Сталин.— *И. С.*), обнимая и целуя Калинина...»

Искры из преисподней мелькают лишь где-то в глубине повествования, на них намекает название рассказа. Откровенно символична сцена коронного номера чегемского Сандро, его танцевального трюка, после которого он в позе «дерзостной преданности» и «трогательной беззащитности» застывает у сталинских ног.

И все же, читая «Пир Валтасара», глядя на недавно показанные по Ленинградскому телевидению сцены спектакля московского студенческого театра «Черный человек, или Я — бедный Сосо Джугашвили» (скоро пьеса В. Коркии широко пойдет по стране), постоянно чувствуешь, как смех застревает в горле. Ведь только что прочитаны и «Колымские рассказы», и «Карьера палача». Скажут: а как же известное «человечество расстается с прошлым, смеясь»? Возразят: смех здесь как раз разрушает страх («Смех против страха» — называлась одна из недавних статей об Искандере). Возражу на возражение: значит, мы еще не совсем расстались с этим прошлым, и страх еще не окончательно побежден. Известен ведь в истории культуры и особый смех, смех над тем, чего смертельно боятся, перед чем дрожат, что пытаются смехом как бы заговорить и умилостивить. Не таким ли смехом смеемся мы пока над «бедным Сосо Джугашвили»?

Для смеха очень много значит резонирующая среда. Возможно, через несколько лет «Пир Валтасара» будет читаться с совсем иными чувствами.

И еще об одном авторе, почти незнакомце в известной компании, мне хотелось бы поговорить. Его книга (вторая) с вызывающим названием «Веселые времена» появилась в «местном» издательстве «Московский рабочий» и, значит, по существующим нелепым правилам, вряд ли проникнет за пределы Москвы и Московской области. Два его рассказа напечатал «Новый мир» (1987, № 7).

Впрочем, незнакомец это относительный. Желающие могут заглянуть в журнал «Юность» (1988, № 5), где Вл. Корнилов опубликовал стихотворный портрет «Слава Пьецух»: «в прогрессах и регрессах, и в придурях Клио прозаик Слава Пьецух насвистан как никто. Любой сюжет учебный так переворошит, что, мысля, как Ключевский, как Зощенко смешит ⟨...⟩ И Слава Пьецух трудно живет признанья без... Хоть простота абсурда нужна нам позарез».

«Простота абсурда» — не только стихотворный оксюморон, но и точное литературоведческое определение. Если стихия Жванецкого — афоризм, реприза, то в книжке В. Пьецуха единицей художественного мышления оказывается анекдот. Не надо пугаться слова. Жанр анекдота имеет почтенную и славную историю. Анекдот лежит в основе некоторых пушкинских и гоголевских шедевров.

Многие рассказы Пьецуха могут показаться поначалу непритязательными, лишь гротескным заострением привычных «литгазетовских» бытовых ситуаций. Вот, скажем, «молодой ученый по фамилии Толкунов» «открыл способ передачи электрической энергии на расстояние без помощи проводов» и сразу же с женой и тещей получил «пятикомнатную квартиру в начале Владимирского проспекта» (первое незаметное «заострение»). Его посылают в Вену на симпозиум, он, конечно же, получает громадный список заказов, конечно, экономит валюту, конечно, собирается «по-домашнему» ужинать в номере гостиницы: «он набрал в туалете дунайской воды и включил кипятильник в сеть. Собственно, это и послужило причиной безобразного происшествия: он включил кипятильник в сеть — и столица вальсов погрузилась во тьму» («Замыкание в Вене»). А вот о своей бурной жизни повествует старый попугай (у Жванецкого есть монологи воробья и льва): и к морским разбойникам он попадал, и с философами Юмом и Кантом был знаком, и у императора Павла и у поэта Кукольника живал; а после революции оказался в Театре имени

Красных борцов, где «сидел на жердочке в вестибюле и громко твердил: „Даешь пролетарскую драматургию!“» («Автобиография»). Сами по себе такие вещи смешны и тем самым оправдывают свое существование.

Но есть в этой книжке и другой пласт. За спиной автора регулярно иозникают не только Зощенко (см. Корнилова), но и Шукшип, и, еще глубже, Лесков. Через анекдот В. Пьецух пытается схватить какие-то черты национального характера, понять, какие мы и почему мы такие.

Эта тема звучит впрямую, скажем, в «Центрально-ермолаевской войне»: «на самом деле пресловутая загадочность русской души разгадывается очень просто: в русской душе есть все. Положим, в немецкой или какой-нибудь сербохорватской душе при всем том, что эти души нисколько не мельче нашей, а, пожалуй, кое в чем основательнее, композиционней, как компот из фруктов композиционнее компота из фруктов, овощей, пряностей и минералов, так вот при всем том, что эти души нисколько не мельче нашей, в них обязательно чего-то недостает... А в русской душе есть все: и созидательное начало, и дух всеотрицания, и экономический задор, и восьмая нота, и чувство национального достоинства, и витание в облаках. Скажем, человек только что от скуки разобрал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили в Отечественной войне 1812 года, отходил жену кухонным полотенцем, но вот он уже сидит у себя на крылечке, тихо улыбается погожему дню и вдруг говорит: „Религию новую придумать, что ли?..“» (чисто лесковская простодушно-лукавая интонация слышится в подобных пассажах). Она же — в сюжете многих рассказов Пьецуха.

Коротенькие «Славяне» — сколько всего тут поместилось на четырех страничках! Вначале герой-писатель с нажимом заявляет, что рассказывает чистую правду, указывает год, месяц и место события (идея фантасмагоричности обычной жизни — любимая у Пьецуха, она варьируется неоднократно). Потом — пересказывает встречу и разговор в закусочной с неким человеком, который после женитьбы подался на Запад, конечно же, не принял «ихние» нравы, заболел ностальгией, шумно поругался с женой и необычным путем подался обратно на родину: «дошел пешком до Гамбурга, там залез в трюм сухогруза, доплыл до Норвегии и здесь перешел границу... И вот он я!..» (опять скрытый гротеск понемногу взрывает назидательно-бытовую ситуацию).

Но это еще не все. На недоверчивый вопрос рассказчика («а вы случайно не врете?») герой вдруг заявляет, что он тоже писатель, даже член редколлегии журнала «Простор», и только что пересказал сюжет своего последнего рассказа, «с той задумкой, чтоб его продать». «Писатель-первый» обиделся: «балаболка ты,— говорю я обидевшись,— балаболка и дурак». «Писатель-второй» его поддразнил: «пускай я дурак,— говорит он,— только тебе, идиоту, такого рассказа сроду не написать»...

Жизнь и литература в «Славянах» лукаво подмигивают друг другу, в ернической манере обсуждаются вещи, над которыми думает и серьезная наша проза. Лирика тут прикрыта смехом, анализ подан как анекдот.

При внешней простоте и «шутейности» проза В. Пьецуха достаточно сложна, диктует определенный уровень восприятия. На одной странице автор может запросто вспомнить о «нелепых снах Веры Павловны», о чеховской «Палате № 6», о толстовском отношении к медицине. Ключ к рассказу «Бич Божий» не отыскать, если не вспомнить горьковского «Челкаша», «Реминисценция», очевидно, трансформирует сюжет Зощенко, «С точки зрения флейты» читается сквозь «Двойника» Достоевского.

Я далек от мысли, чтобы прозой «Веселых времен» побивать какую-то иную. Дело в другом. В начале двадцатых годов, в ситуации «промежутка», отчасти напоминающей сегодняшнюю, Тынянов писал: «в период промежутка нам ценны вовсе не „удачи“ и не „готовые вещи“. Мы не знаем, что нам делать с хорошими вещами... Нам нужен выход. „Вещи“ же могут быть „неудачны“, важно, что они приближают возможность „удач“».

Тут виден выход и виден путь. Талантливый, интересный, но, конечно, не единственный. Есть, существуют и другие. Искать и писать надо писателям, искать и читать — читателям и критикам.

Да, но при чем тут гильотина? В недавно опубликованных мини-мемуарах Я. Костюковского о классике советской мини-юмористики Э. Кротком есть такой мини-диалог: «обязательно опубликуйте свои беседы с Михаилом Кольцовым. Сейчас же можно.— Я упустил много времени. Теперь врнд ли успею.— Но почему? — Читали сегодняшнюю „Литературу и жизнь“?.. Оттепель, по-моему, кончается. У нас свобода для сатиры действует только на период ремонта гильотины...» Смех, о котором шла речь,— еще оттуда, из эпохи, когда литературная гильотина работала вовсю. Сегодня, кажется, появилась надежда, что она будет не отремонтирована, а окончательно демонтирована. Даром что ли «сатирический роман» (жанр практически вымерший, как вымерли мамонты) А. Злобина, который скоро начинает печатать «Нева», так и называется — «Демонтаж». Почитаем?

ЛИСТЫ ГРАФИКИ

Леонид Замятнин. Каменный остров. Стихи. Л.: Советский писатель, 1987

Книга стихов Леонида Замятнина довольно полно отражает различные периоды биографии автора, круг его жизненных интересов, переживаний, раздумий. Основные мотивы сборника — воспоминания о военном детстве, образ родного города, картины, навеянные горными перевалами Кавказа и Тянь-Шаня, где автор работает горноспасателем, любовь, творчество.

Поэт стремится к лапидарной форме. Он подчеркнуто сдержан в выражении своих чувств, для него не характерно подробное описание событий. В точном рисунке схвачены основные контуры и детали происходящего. В конце стихотворения четко подытоживается основной вывод. Отсюда некоторая суховатость, конструктивность стиля. Невольно напрашивается сравнение стихов Замятнина с графикой.

В смене этих графических листов есть свои интересные находки. Поиск идет не только и не столько в пейзаже — городском или горном, а во внутреннем мире автора. И мы втягиваемся в этот процесс незаметно для себя, переносимся туда, где «ветер гудит, как тибетские трубы», где «...белесый туман отжимает тяжелую воду», а «на Большую Медведицу лают собаки». Следим, «как птичьи стаи на плечах уносят лето», видим, как «гребет горбатая пурга» и «сохнут разбухшие кеды».

Жизнь здесь почти лишена экзотики, ибо участие в ней лирического героя Замятнина вполне рабочее, деловое, отягощенное не только рюкзаком, а, главным образом, ответственностью за судьбы людей, доверенных ему. И от стихотворения к стихотворению накапливается, аккумулируется человечность. Сказанное в первую очередь относится к таким стихам, как «Осень в Сванетии», «Инструктор по горным лыжам», «Восход солнца», «Шуршанье вкрадчивое льда», «Горячим потом обжигает лица», «Армения», «В зале Нико Пиросмани».

Сванетия, Грузия, Армения, Абхазия, упоминаемые в разделе «На вершине встречаю зарю», Саласпилс и Бабий Яр из раздела «Память» создают широкий географический, межнациональный и исторический плацдарм для стихов Замятнина, обжитый им и, тем не менее, загадочный.

Одно из лучших стихотворений книги — о вечной загадке бытия, о жизни и смерти.

Куда девается объятый
Багрянцем лес,
Разливы рек,
Куда деваются закаты,
Куда уходит человек?
Мне с детства
Мир понятен не был.
Природа мне не объяснила:
Когда в глазах погаснет небо —
Куда деваются светила?

По контрасту с этой драматичной миниатюрой хочется привести еще одно стихотворение, в котором доминирует уже иная — ироническая нота. Благодаря ей человек из беспомощного вопрошателя природы превращается в силу, не только равную вечности, но (в этом и заключается ирония!) превосходящую ее:

Море нынче мечется —
Просто жуть.
Лягу рядом с вечностью.
Полежу.

Плачет.
Видно, больно ей.
Солона.
Нынче я спокойнее,
Чем она.

Ирония приходит на помощь автору не единожды. С ней постоянно сталкиваешься в «городских» стихах, таких, как «Откуда ты? Куда ты?», «Утро», «Обмен», «Осенний зоопарк», «Хищники», «Нелетная погода». Видимо, сатирическое перо служит Замятнину не столько мечом, сколько щитом, за которым скрыта способность сопереживать чужой боли.

Но при всей цельности мировоззрения Замятнина в книге есть художественные просчеты, которых можно было избежать.

В стихотворении «Бабий Яр. Октябрь 1975», состоящем из трех самостоятельных четверостиший, шокирует средняя строфа. Открытость авторской позиции обернулась здесь бестактностью: «вглядываюсь в золотой песок: может, это золото зубное?..». Разумеется, поэт не помышлял о неприличном «кладоискательстве», прикасаясь к трагедии, но слова выстроились в такой ряд, что ударение сместилось в направлении для читателя по меньшей мере странном.

Нечто подобное случилось и со стихотворением «Моль гуляет по черновикам...». В поэзии, как правило, одна допущенная неточность слова влечет за собой другую. Моль, избравшая черновики для прогулок, потащила за собой очередную неловкость: «возвращаться к брошенным стихам — все равно, что к женщинам брошенным». Кроме весьма спорной адекватности сравнения, само определение «брошенные женщины» (из уст «бросавшего»!) выглядит столь неблагодарно и неблагородно, что, как антитеза, вспоминаются строки Александра Блока:

Милая, безбожная, пустая,
Незабвенная — прости меня!..

Ирина МАЛЯРОВА

ПОЭТ И ЕГО МИР

Жуковский и русская культура. Л.: Наука, 1987

«Наконец-то это произошло!» — первое, что хочется сказать, дочитав книгу до конца. Столь фундаментальный академический труд, где исследован многогранный творческий путь поэта в комплексе поставленных им проблем, советской филологией до сих пор не создавался. Теперь он — перед нами. Исполнен многолетний долг по отношению к человеку, судьба которого в литературоведении сложилась не очень-то счастливо и справедливо.

Почему? Это — одна из главных тем открывающей коллективный труд Пушкинского дома статьи Г. М. Фридлендера. В оценке личности и деятельности поэта установились многие стереотипы, освященные немалыми авторитетами. Ученый спорит не с посредственными или явно устаревшими трудами, но с работой замечательного филолога Г. А. Гуковского, до сих пор — одной из вершинных в исследовании русского романтизма. Еще одно свидетельство тому, что процесс восприятия нами в новых глубинах классического наследия — бесконечен! Доказательно оспаривается распространенный взгляд на Жуковского как на выразителя своего «я», отъединенного от объективной реальности. Нет, художественный мир поэта был всегда открыт миру внешнему! И пусть Жуковский видел в последнем прежде всего дисгармонию, трагическую для человека с душой и сердцем, это не заставило его музу замкнуться в скорбном чувстве.

Пусть косвенным, но весомым доказательством значения поэзии Жуковского для русской словесности явилось то, что она послужила основой формирования целой филологической школы наших дней. Хранящаяся в Томске основная библиотека этого поэта сделала сибирский город центром отнюдь не местного значения, где изучаются и творчество ее владельца, и русский романтизм в целом. Лидер этой школы Ф. З. Канунова, выступившая в книге с содержательной статьей о философии и истории в духовном мире Жуковского, поддержана отрядом коллег и земляков — Н. Б. Реморовой, Н. Ж. Ветшевой, А. С. Янушкевичем, О. Б. Лебедевой. Главная тема их исследований — виды и жанры поэзии Жуковского. Сегодня, когда проблема жанра вновь становится одной из ведущих и для литературной науки, и для критики, это направление книги надо отметить особо.

Отдана дань и сравнительному исследованию писательских индивидуальностей и литературных биографий. Не только текстуальные совпадения и заимствования прослежены в статье Н. Д. Кочетковой «Жуковский и Карамзин», но влияние одной самобытной и неординарной личности на другую. Жуковский и Батюшков были крупнейшими предтечами Пушкина — и В. А. Кошелев дает нам параллельный анализ становления их эстетики и литературных взглядов. А в огромной теме личных и творческих отношений Жуковского и Пушкина Р. В. Иезуитова подчеркивает их нестатичность (при постоянном взаимном тяготении с первых дней знакомства), их исторически обусловленные стадии.

Для широкого читателя наиболее интересен, пожалуй, последний раздел — биографический. Материалы о родословной поэта, о его дворянских правах — ведь столь много в мироощущении Жуковского, его социальной позиции, политическом поведении и даже выборе службы с юности определила сомнительность этих прав! Украшение сборника — опубликованные В. Э. Вацуро и М. Н. Виролайнен письма к герою книги Андрея Тургенева. Далеко не всякий сегодняшний читатель может представить, что такое письмо в духовной, умственной, нравственной жизни человека XIX столетия! Оно было и едва ли не главным источником информации, и средством выражения житейского и творческого кредо, и дружеской исповедью. Эти письма написаны членом вошедшего через многих своих представителей в нашу историю семейства и много скажут нам и об авторе, и об адресате, и об их среде, и об их эпохе.

И вновь — Жуковский и Пушкин... Старший собрат по перу многое знал о последних, трагических месяцах жизни своего великого соратника и друга. Что именно? Я. Л. Левкович и С. Л. Абрамович пытаются пролить на эти сведения дополнительный свет.

Итак, в изучении творчества большого литератора и мастера стиха сделан новый важный шаг. Но следует иметь в виду, что книга не вполне соответствует своему названию, ибо понятие культуры выходит за рамки литературы. Жуковский — не только учитель и предшественник Пушкина, но сам по себе — огромное явление для других родов и видов художественной деятельности, искусства, вообще жизни ума и сердца своих современников и потомков (достаточно почитать их письма). Введение всего этого в наш литературный «оборот» — на очереди! Все большее и большее место в нашем сознании день ото дня занимает Карамзин. Долг литературной науки — содействовать тому, чтобы и Жуковский занял сегодня место, ему подобающее.

А. ХОДОРОВ

ПРОСТРАНСТВО ГЕРОЯ

Хмельницкая Т. Ю. В глубь характера. О психологизме современной советской прозы. Л.: Советский писатель, 1988

Обостренный интерес к личности литературного героя, к раскрытию богатства и противоречивости его внутреннего мира — именно эта главная тенденция развития современной советской прозы стала в книге Т. Хмельницкой предметом глубокого и всестороннего анализа. Это книга не столько критическая, сколько литературоведческая; ее задачи не столько оценочные, сколько исследовательскке, аналитические.

Критика много говорит в последнее время о том, что герои современной прозы часто заглядывают в себя, в мир своей души, в хаос сознания и подсознания. Но каковы конкретные пути раскрытия личности, как создается художественный характер, какими способами раскрывается внутренний мир человека, анализируются его помыслы и поступки, взаимоотношения с окружающим миром и другими людьми, каковы типы психологизма современной прозы? Согласимся, увлеченные новизной идей и проблем, мы очень мало знаем об этих материях. А между тем речь идет о психологическом методе, который с 60-х годов стал главенствующим в современной советской литературе. Ориентиром и опорой в этом разговоре является новаторская в нашем литературоведении книга Л. Гинзбург «О психологической прозе», построенная на материале русской классической литературы. Т. Хмельницкая прилагает подобную методику анализа к современному литературному процессу.

Обращается она к произведениям, уже оцененным критикой, отшумевшим в горячих спорах и занявшим прочное место в «истории современности» — повестям и романам Д. Гранина, В. Тендрякова, Ю. Трифонова, А. Битова, И. Грековой, В. Астафьева, В. Белова, Ф. Абрамова, В. Быкова. В неторопливом, именно литературоведческом прочтении выявляются важные закономерности современного литературного развития. И если в начале книги исходная мысль — «возрождение психологизма в нашей литературе — это именно возрождение его на новой основе современной действительности, а не просто возвращение к классической традиции Л. Толстого, Достоевского, Чехова» — звучит как декларация, то весь ход проделанного исследования показывает действительную значимость подобного утверждения.

С большим интересом читаешь о новом виде проблемно-психологической прозы, созданном Д. Граниным, к об особенностях экспериментально-исследовательского метода испытания героя у Тендрякова, о чертах добротной традиции классического русского психологизма в поздней трифоновской прозе и о размытости и текучести непроявленного характера битовского персонажа, о литературе состояний и литературе поступков к поведения, об умной терпимости И. Грековой и психологии «корневого человека» Ф. Абрамова, о психологизме в современной бытовой фантастике.

В уже известном открывается новое. Так происходит потому, что автором избран не совсем обычный ракурс взгляда на современную прозу. Традиционный критический подход подчас позволяет увидеть лишь верхний слой текста, глубину же раскрытия внутреннего мира личности героя лишь предстоит познать. «Ориентир анализа каждого привлекаемого мною писателя,— говорит Т. Хмельницкая,— это своеобразие его психологического метода, анализ в какой-то мере ограничен пределами поставленных здесь задач». Перед нами тот случай, когда ограничение анализа конкретными задачами исследования — не неизбежное зло (мы ведь всегда стремимся к полноте охвата), а, напротив, достоинство, ибо это ограничение — в пользу глубины.

«Многое значительное и важное для избранных здесь художников не укладывается в рамки моего исследования. Целый ряд произведений Айтматова, Астафьева, Абрамова и других в поле моего зрения не попадает, ибо это не серия литературных портретов, а характеристика разных психологических методов». Именно характеристику разных психологических методов в море писательских индивидуальностей дает в своей книге Т. Хмельницкая. Но, говоря о подборе персонажей, нельзя не сказать еще вот о чем: наряду с известными всесоюзному читателю именами Т. Хмельницкая подробно останавливается на творчестве именно ленинградских прозаиков: Майи Данини, Рида Грачева, Владимира Тублина, Олега Базунова, Нины Катерли, Александра Житинского. Здесь ценны не только глубокий анализ их творчества, их своеобразное «представление» всесоюзному читателю (многие из этих имен в таком представлении, думаю, и не нуждаются), но то, что их произведения поставлены в широкий контекст развития современной советской прозы.

Одна из глав этой книги называется «Между помыслом и поступком». Именно в этом пространстве раскрывается и живет герой. Работа Т. Хмельницкой помогает лучше понять законы и измерения этого пространства.

Евгений ДОБРЕНКО

ИСКУССТВО

Феликс
МАХОВ

ПЯТЕРО В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ УЧИТЕЛЯ

Детский театр переживает сегодня кризис, пожалуй, самый жестокий во всей его истории. Причин этому много: и политических, и психолого-педагогических, и экономических. Есть и чисто литературные: детская драматургия давно уже находится на задворках большой литературы. В ней чаще всего работают либо дилетанты, либо журналисты, исследующие в своих пьесах публицистический материал, редко поднимающийся до подлинно драматургических высот философии жизни. А без этой философии невозможно представить себе настоящую пьесу, если она, конечно, не водевиль или инсценированный рассказ о прохиндеях разного возраста.

Конечно, сегодняшняя литература и драматургия для детей и юношества требуют публицистического, и следовательно, «сиюминутного» проникновения в жизнь семьи, школы, неформальной группировки. Это диктуется обстановкой в стране. Но жизнь требует еще и умения говорить с детьми и подростками о вечных, непреходящих ценностях. И, пожалуй, в первую очередь — о любви: к родине, женщине, детям, друг к другу. О том, что Жизнь может в любую минуту прерваться не только от болезни, ножа или пули бандита, но и от эгоизма, трусости и предательства человека, который совсем недавно был нам так близок. В том числе и от предательства взрослеющих и все понимающих детей.

Мы все время говорим об ответственности взрослых — родителей, учителей — за подрастающее поколение. Но, может быть, надо говорить, прежде всего языком литературы и искусства, об ответственности детей за своих родителей, учеников за учителей. Ведь ответственность должна быть двусторонней, иначе опекаемые становятся иждивенцами. Да и ведь так похожи мы сегодня друг на друга — взрослые и дети. Может быть, еще и потому, что и мы, и они одинаково стоим перед возможностью всемирной ядерной и экологической катастрофы. Да и вообще во взрослом человеке и в ребенке куда больше сходств, чем различий. А что касается жизненного опыта, то нередко он напоминает тяжелый и громоздкий багаж, который мы, взрослые, хотим взвалить на плечи младших.

Вот обо всем этом и рассказывается в пьесе Рудольфа Каца «Мечта о Михееве».

Будучи много лет связанным с детским театром, я внимательно слежу за творчеством этого драматурга, одного из немногих профессиональных литераторов, которые, несмотря ни на что, верны детям и своей теме. «Тили-тили-тесто», «Разговор в учительской», «Сцены у Пушкинского дома», «Осенние вольнодумцы», «Сказка про задумчивых детей» — все эти пьесы о силе и хрупкости человеческих чувств. В их ряду «Мечта о Михееве» занимает особое место.

Это пьеса о Любви. Но не о той, о которой говорят на уроках «этики и психологии семейной жизни», торопливо и с тревогой пишут в газетах и журналах, истошно поют солисты многочисленных рок-групп. Это пьеса о Любви взрослого к детям, о его бескорыстии и самопожертвовании, о той естественной и необходимой связи поколений, без которой невозможна жизнь на земле, о чем и говорит Михеев:

В этом мире они неразлучны —
Старики неразлучны и дети.
Если связь их когда-нибудь рухнет,
Рухнет жизнь в бездонную пропасть.
Через пропасть друг другу навстречу мы идем,
А канат еле дышит...

И еще это пьеса о проблеме Нравственного Выбора, который постоянно должны делать не только взрослые, но и дети.

Жил-был человек по фамилии Михеев. Учитель труда. В прошлом инженер. Тридцати лет от роду. Холост. Отец его умер весной, рано утром. Остановилось сердце. В тот же день к вечеру, приготовив Михееву обед и постирав белье, умерла и мать.

Но Любовь не исчезает, она остается с теми, на кого была направлена. Остается и колыбельная песня, которую пела Михееву мама:

Звезды по небу рассеяв,
Ночь пришла, и мир затих.
Спи, мой маленький Михеев,
И во сне расти, расти.
Злых людей не очень слушай,
Просто им не повезло.
Помни, маленький Андрюша,—
Смелого боится зло.

Любовь не исчезает. Просто, когда умирают любящие, любимые несут ее, как сохраненный Огонь, дальше, передавая другим людям, другим поколениям. Несет ее дальше и Михеев — учитель, который может построить яхту и отправиться с ребятами в далекое путешествие.

А потом все происходит так, как и должно происходить в сказке или в фантасмагорической истории. Буря разбивает яхту. Учитель и его пять учеников оказываются на странном острове. Но их не пугает неизвестность. Свобода и дружба опьяняют их: «здравствуй, море! Смотри хорошенько, как нырнем мы сейчас в твои волны. Мы свободны от яхты и груза. Все разбито. Да здравствует жизнь!»

Этими словами заканчивается первая песнь Михеева. Эти же три слова завершают его последнюю песнь. Но как много неожиданного и трагического произойдет в жизни обитателей острова за короткий период между двумя песнями!

Остров оказывается обитаемым. Как и все земли, он населен злыми и добрыми, сильными и слабыми, благородными и подлыми существами. Очень скоро и дети, и Михеев оказываются в условиях, когда надо решать сложные нравственные и психологические проблемы, когда надо делать выбор между жизнью и смертью, между добром и злом, между благородством и низостью. Но учитель все равно счастлив. «Это — солнце, а это — ребята, что доверили мне свои жизни»,— поет он, веря, что любовь к детям может и должна делать чудеса. Отсюда и детская простота михеевских воспитательных принципов. Главный из них — «если будем друг друга держаться, мы узнаем, что жизнь прекрасна!» Но она и невероятно сложна. Ведь, по сути дела, таинственный остров — реальная, а не выдуманная жизнь. В этом — один из «сказочных» парадоксов пьесы, своеобразный «социальный перевертыш», когда на фантастическом атолле дети оказываются ближе к жизни, чем в реальных «материковых» условиях.

Очень скоро холод и голод сгибают их, им уже не нужна свобода, а хочется в теплый уютный дом, где «холодильник набит всякой вкуснотой и кнопочка магнитофона рядом». Но главное — ребята *осознают*: положение острова критическое, они все на краю гибели, и Михеев бессилен что-либо сделать. Единственный путь спасения — уйти в море на лодке. Но она лишь одна и может вместить только пять человек, а ведь их — шестеро! Наступает момент, когда дети должны *сами* решить, кто останется на острове, который вот-вот должен взорваться. Вот оно — Время Нравственного Выбора! Но, оказывается, как трудно этот выбор сделать в отсутствии Михеева, за его спиной!

— Как же мы можем такое решать? — тихо спрашивает Машенька.

— Можно остаться всем...— робко предлагает Миша.

— Какой смысл? — рассуждает мудрый аналитик Федя.— Так погибнет один...

— Представим себе, что Михеев сейчас здесь,— говорит хитрая Лена.— Что бы он сказал? Неужели сам бы укатил, а кого-то из нас оставил? Ты можешь себе такое представить?

Конечно, никто из ребят такого представить не может. Значит, позиция учителя ясна и можно считать, что это он сам так решил...

Такова логика самосохранения и тихого заспинного предательства. И этого не могут не чувствовать сами ребята.

Слово вновь берет Миша:

— Что же, значит, он не мог бы, а мы — можем? Кто же мы после этого?

Его товарищи молчат. И тогда сильный и уверенный Олег нарушает молчание: «стой! Мнения разошлись. Бывает. Сейчас демократия. Пусть все решит жребий. Перед жребием все равны. Никакой дискриминации!» Олег готовит бумажки. «Демократия» срабатывает так, что остается... Михеев. Места в лодке не хватает учителю. И тут даже тиран и бандит Дудкин, узнав о жеребьевке, с грустью и ненавистью говорит: «знал, что дети не детские дела могут делать. Знал, но что-то не радостно мне. Вот они люди — дерьмо. Измордовать бы их до бесчувствия...»

Что же это? Смерть Михеева как воспитателя? Как педагога? Но разве есть в том хоть малая доля его вины? Ведь «нежные пальцы ребенка ему так же дороги, как руки матери или любимой». Что же, значит, одной любви к детям мало? Этого вопроса учитель не задает, но, как предвестник разверзнувшейся пропасти между поколениями, мучительное сомнение вырастает из всей пьесы. Чего же не дали мы нашим детям? Они просто нам не верят. Не верят по большому счету... Но ведь не все, ведь не все!

Трудно писать о пьесе, которая идет пока только в одном театре (увы, не в Ленинграде). Трудно в коротком отклике (не на спектакль, а на пьесу) показать, что образ Михеева, несмотря на изначальную заданность, получился в итоге живым и искренним. Очевидно, это достигается динамичной и психологически верной драматургией. Даже не видя, а просто читая пьесу, чувствуешь, что здесь есть что играть, есть чем затронуть сердца зрителей: и школьников, и взрослых. Последних в особенности. Да это и понятно: ведь пьеса — о мечте и трагедии не только учителя Михеева, но всех нас. Сегодня семья отчуждена от школы, ученики — от учителей, дети — от родителей. Это отчуждение произошло не вдруг. Возмездие всегда имеет прошлое и настоящее, свои причины и следствия. Недаром Александр Блок говорил, что юность — это возмездие. Та же мысль звучит в пьесе

в монологе Ирины Евгеньевны, бывшей учительницы. «Мы — чужие,— говорит она о взаимоотношениях детей и взрослых.— То есть между нами может быть определенное взаимопонимание и даже милые отношения, но случись что серьезное, и они нас покинут. Мы в разных мирах, на разных планетах... Между нами нет мостика, даже шаткого. Иногда и хотелось бы шагнуть навстречу друг другу, но как это сделать? По воздуху же не полетишь?»

Вот и пытается строить Михеев такой мостик, строить из самого хрупкого и самого надежного материала — чувства преданности детям. И *веры* в нравственное начало ребенка. И веры детей в нашу возрождающуюся нравственность. Только так можно построить мост. Хочется верить, что такое строительство уже началось. Чтобы соединиться, надо пойти навстречу друг другу.

...Михеев просыпается и видит удаляющуюся лодку, а в ней — пять своих учеников. С каждой секундой уходит из сердца мечта. И вдруг раздается крик Ирины Евгеньевны: «смотри, Андрей, кто-то плывет! Кто-то нырнул и плывет...»

Еще не веря своим глазам, Михеев кричит: «назад! Назад! Назад!» ...Но через мгновение, совсем уже тихо, как будто молясь, шепчет: «это наша надежда плывет. Мостик между нами плывет... И все-таки кто-то плывет!».

Перед тем, как подписать этот материал в печать, я узнал, что Р. М. Кац скончался. Ему было всего пятьдесят лет.

Он находился в поре творческого взлета и многого сделать не успел. Но его пьесы (не мешало бы их издать) будут идти на сценах наших театров. И строительство «мостов» будет продолжаться.

М. СОЛОВЬЕВА

КРАХ МИФОВ

Заметки о современном кино

Фильм «Рок» (режиссер А. Учитель, ЛСДФ) начинается так. Напыщенный официоз «Ленин, партия, комсомол». Бурными аплодисментами молодежь приветствует генерального секретаря Л. Брежнева. То, что на экране, понятно: рок — против застоя. Странно то, что происходит в зале: вступительные кадры зрители встречают смехом.

Ах, как уютно, как приятно хихикать в безопасной темноте зрительного зала! Как будто все это кануло в вечность, будто сами вчера не шли «в рядах», не выкрикивали то же самое...

В дурацком этом смехе виноват, конечно, не только молодой зритель, на удивление быстро позабывший свои недавние «линейки», марши и митинги, а в перерыве — буфет, где есть бутерброды с икрой и рыбой. В самом фильме есть нечто, наводящее на мысль об игрушечности, картонности наших пороков. Наверно, для разговора о них недостаточно только показать помпезную хронику. Тем более, что это уже превратилось в расхожий прием — состыковка в контрастном монтаже организованно неистовствующих комсомольцев с дикими неформалами. Фильм «Рок» внимателен к последним и ограничился формальной отпиской по отношению к первым (совсем в их собственном духе). Хотелось бы более оригинального хода — пусть вместившегося в те же начальные пять минут,— чтобы мы кожей ощутили стену, о которую бились рокеры. Чтобы было не смешно, а страшно. Ведь пугают, в конце концов, не аплодирующие делегаты — это только фасад, а то, что человека могут забрать в милицию за один внешний вид, могут потребовать от него подписки «больше не сочинять и не петь песен». (Упоминания обо всем этом рассыпаны в фильме — но и только, зримо же явлен митинг.)

В фильме «Соблазн» тоже торчит этакий «знак застоя». В роскошной квартире Бори Огородова вывешены работы его отца-художника — портреты вождей от Сталина до Андропова. Режиссер В. Сорокин предъявляет товар — «шикарная жизнь» — и тут же тычет нас носом в ценник, на котором написано: «заклад души». Смешно видеть творения псевдоклассика в обстановке, которая обнажает их продажность и дутое величие? Очень! И только? Если да, то — грустно.

В фильме нет людей, которые рисовали эти картины, а потому — не страшно. Что спросишь с безмолвной холстины? Чего стоит смех без слез?

Фильм «Продление рода» — из потока новшеств на нашем экране. Действительно, если раньше религия ассоциировалась с отсталостью и убожеством, то здесь, наоборот, она — символ целебного источника культуры и духа. Двое реставраторов (Е. Сафонова и В. Приемыхов) работают в заброшенном монастыре, где скоро будут проходить военные учения. Монастырю эти маневры грозят гибелью. Женщина-реставратор долго убеждает командира, что монастырь до́лжно сохранить. Рядом маячат двое грустных старичков. «Они в молодости жгли иконы, а теперь мучаются, да искупить не могут»,— говорит героиня фильма. Военачальник, не без влияния ее чар, приходит к правильным выводам. В обход приказа (!!) он отказывается от смертоносных для монастыря действий.

Я согласна с тем, что церкви надо беречь. Только от кого? Картина того не прояснила. Те, кто рушили,— каются, а кто собирался ломать — очнулся. Да и на военную дисциплину, оказывается, легко наплевать.

Церкви надо беречь! Вслушайтесь: пить плохо; работа должна быть в радость. Чем плохи эти прописи? Да вроде ничем, только беда, когда к ним сводится суть сотворенного художником. А в искусстве нашем примеров тому — тьма. Тема фильма И. Масленникова вроде бы непривычна, а на самом деле это — произведение старого доброго «рецептурного жанра» (определение Н. Ильиной).

Когда застой изображается только кадрами оболваненно митингующей молодежи или помпезными портретами генсека, то кажется, что перед нами — трухлявая стена. Ткни ее — и она рассыпется. Конечно, вряд ли такова точка зрения авторов «Рока» и «Соблазна», но она объективно вытекает из фильмов.

Застой — это психология, сознание плюс исторически сложившиеся условия, которые, сами будучи созданы людьми, перед новыми поколениями предстают в виде отчужденной, не зависящей от них силы. И многие фильмы на «запретную тему» творят новые шаблоны.

Но некоторые — разрушают старые.

Фильмы «Единожды солгав» (режиссер В. Бортко) и «Забытая мелодия для флейты» (Э. Рязанов) с виду влезают в доперестроечные схемы: обличительно-охранительного искусства — первый и лирической комедии — второй.

«Единожды солгав» вызвал много откликов и разговоров. А ведь это отнюдь не первый фильм «о наших недостатках». Давно утвердился тип произведения, обличающего «погоню за сладкой жизнью». Попробуем умозрительно воссоздать канву подобных сочинений, читаемых (смотримых) вполглаза (вполуха). Не будем указывать пальцем на конкретный фильм или книгу — не из какой-то боязни, а потому, что им несть числа, и выволакивать «за ушко да на солнышко» кого-то одного просто несправедливо. Итак: некий человек, обычно молодой, хочет жить богато и вольготно; чтобы объяснить, откуда возникло такое желание в нашем здоровом обществе, авторы подставляли дядю постарше, который и соблазнял героя нечестными заработками; сама «красивая жизнь» описывалась так красиво и со знанием дела, что у нас слюнки текли. Впрочем, потом что-то случалось — умирала позабытая-позаброшенная мать, уходила любимая женщина, разбивалась машина,— и герой спохватывался, раскаивался и возвращался к простым честным советским людям, благо их кругом было много. Утвердилась формула из телесериала о «знатоках»: «если кто-то кое-где у нас порой...»

В «Единожды солгав» наличествуют почти все приметы подобного произведения: и горькая «сладкая жизнь», и старший «друг»-искуситель, и раскаяние, и попытка возврата. Но есть два принципиальных отличия, которые выворачивают все наизнанку. Первое — это тип героя. Если персонаж «охранительного» произведения был отрицателен потому, что не хотел жить, как все (скромно и честно), то герой этой картины порочен именно потому, что живет, как очень многие (лживо и грязно). А если Крюков чем и отличается от окружающих, так именно тем, что его хоть совесть грызет за участие в общепринятых играх.

Второе отличие (связанное с первым) — в картине зло впервые за многие годы изображено не как частный случай, а как система. Пошлый и всесильный дядя Ваня; начальственная мадам, похожая на солдафона, за которой боязливо семенят на выставке люди, зовущиеся «художниками»; в ресторане упитанные, самодовольные физиономии творческих работников — все это крепко связано и непрошибаемо. У такого механизма — отлаженная система самозащиты. Как только Крюков заикнулся с трибуны о Стасе Лапшине — художнике-нонконформисте — его тут же заткнули... аплодисментами. И приличия соблюли, и крамолу пресекли.

Кто виноват? Сашина любовь к жизни в ее осязаемо-зримых проявлениях — деньги, машина, квартира? Конечно. Но система, стирающая с лица земли все, что грозит ее благополучию, повинна гораздо больше. Вспомните: стилизованные под хронику кадры «бульдозерной выставки» смонтированы со сценой шокотерапии. Эти эпизоды завершаются гладким свечением голубого телеэкрана. Спокойно, пусто, мертво — после шока, каким было для независимых художников нашествие бульдозеров на их искусство и — шире — закрытие выставок, гонения.

В. Бортко в своем фильме подрывает миф об «отдельных недостатках» и «частных проявлениях».

«Забытую мелодию для флейты» многие не приняли — картина показалась похожей на предыдущие рязановские ленты, особенно на «Служебный роман»: немного зубоскальства, немного лирики. Действительно, если делить фильм на пласты: «фантастический, почти феллиниевский, сатирический и лирический», то ничем особенным он не поразит. Но если размыслить над тем, о чем поведала картина, то обнаружится ее содержательная новизна.

В «Забытой мелодии» Рязанов опроверг собственный творческий стереотип. В «Служебном романе» тоже изображалась «Контора». Протекавшая там жизнь с бесконечным наведением марафета и сплетнями, да и само похожее на вокзал помещение, где терлись бок о бок то ли пятьдесят, то ли сто человек, наводили на мысль, что шевелить мозгами, делать дело в такой обстановке но очень-то и возможно и что хлеб свой сотрудники жуют зря. Однако подавалось все это с мягким юмором. И главное — в суровой начальнице и скромном служащем открывалось столько тепла и доброты, что все другие проблемы просто исчезали.

Миф, творимый утешительным кинематографом, одним из наиболее талантливых образцов которого являлся «Служебный роман», был нужен очень многим людям. «Скромный „итр“, работавший за мизерную зарплату, за пинки в транспорте и на службе, может быть, прежде всего у Рязанова обретал свое второе „я“, свое чаемое существование» (Ал. Тимофеевский. Скерцо-сюита-ноктюрн. «Искусство кино», 1988, № 3).

Не то в «Забытой мелодии». Феномен совбюрократа, привлекательно выставленный в «Служебном романе», в «Забытой мелодии» обрисован язвительно и гневно. Вместо юмора — злая сатира. То, что Филимонов «не сеет, не пашет, не строит», а только рушит и запрещает,— само собой разумеется. Но при этом он еще и несостоятелен как личность, как мужчина, близким людям он способен чинить только горе и гадости. Чего стоит сцена, когда жена вышвыривает Филимонова из квартиры, а он приходит с чемоданами к Лиде и жалко врет, что «сам ушел»! Одним словом, русский человек на rendez-vous — вот тема картины.

В нашем искусстве существовали «миф для начальников» и «миф для подчиненных».

Сначала — *о* начальнике. Изображая его, обюрократившегося, авторы плохих фильмов и книг обычно приписывали ему «загубленный талант». Конечно, лестно тешить себя мыслью, что и в тебе теплилась искра божья, но ты ею пожертвовал ради семейного благосостояния или на пользу общества.

Гораздо реже описывался другой вариант. Поясню его словами сатирика: «у нас ведь в городе всегда как было? Те, у кого были способности к искусству, те пошли работать в искусство. У кого в науке — в науку. У кого к производству — в производство... А те, кто в молодости ленился и у кого никаких способностей так и не появилось, пошли работать в комсомол и в профсоюз, стали руководить теми, у кого эти способности были, пока они у них тоже не исчезли благодаря их руководству» (М. Задорнов).

Биография рязановского чиновника ближе к этому случаю, хотя он и учился в консерватории, и наигрывает на флейте. Бранясь с женой, Филимонов привычно заводит, как заигранную пластинку: «я пожертвовал своим дарованием». Жена бросает ему: «да не было у тебя никакого таланта». На этом кадр обрывается. В словах жены слышно не раздраженное желание досадить мужу чем угодно — тогда бы мы не приняли их всерьез (чего только не наговорят супруги в пылу перепалки!), а подлинная весомость. Мы им верим.

«Мифология для подчиненных», или, шире, «для бедных», сводилась вот к чему: пусть ты живешь скудно, но зато совесть твоя чиста и на душе спокойно и бестревожно. В самом деле, что написано на придорожном камне у жизненной развилки — направо... налево?.. Либо деньги — либо счастье? А может: либо сам станешь зверем, либо тебя съест зверье?

В 1987 году был снят с десятилетней полки фильм «Вторая попытка Виктора Крохина». Это история спортсмена, который, поступив не очень благородно, добился успеха, но, разумеется, счастья не сыскал. Рядом с ним в фильме живут люди противоположной судьбы — «бедные, но честные» мать, соседи по квартире. Однако им тоже не сладко. Разговаривая с соседом-врачом на кухне, Люба (мать героя), мужественная, выносливая женщина, признается: жизнь, состоящая из работы на заводе и дома, угнетает ее, и надеется она хоть немного пожить по-другому. Видим мы ее за стиркой да за стряпней — жизнь тащится по унылой колее.

Вспомните разговор Степана Егоровича (О. Борисов) с Витей. Мальчик удивляется: «вот ты всю войну честно провоевал, инвалидом сделался, а генералом не стал и живешь в бедности». А Степану Егоровичу, хоть он и говорит, что «не всем же генералами быть», ответить, по сути, и нечего. Только горькая слеза скатится в ответ — и в самом деле, почему он, честно трудившийся и храбро воевавший, живет в трущобе, и остается ему только глушить тоску дешевым вином?..

Надличная сила сгрудила людей в нечеловеческую тесноту коммуналок, в беспросвет прокопченных кухонь. И даже «маленькие человеческие радости» (у Любы муж, что редкость по тем временам, сын) не могут скрасить однообразия жизни, полной ежедневных насущных, но безрадостных обязанностей.

В «Единожды солгав» богатому приспособленцу Саше Крюкову противостоит бедный, честный и независимый Стас Лапшин. С первого взгляда — все по схеме. Но судьба его и Сашиных сверстников-приятелей, как мы узнаем из закадрового комментария, трагична. Сгорел, спился, сгинул в эмиграции... Не выдаю свои рассуждения за истину в последней инстанции, но, по-моему, драма многих непокорных — в том, что они часто принимали стремление к духовной независимости за гениальность. И ждали признания. А оно не приходило. И за рубежом, лишенное налета скандальности, искусство наших авангардистов часто блекло. И человеку трудно было смириться: потрачено столько сил и нервов — ради чего?

Вот сейчас многие фильмы и рукописи вынимаются из-под спуда запретов. Ура? Но разве это не трагедия для художника — убедиться, что детище, из-за которого тебя столько терзали, увяло и мало кому интересно...

Если критерии в обществе искажены на одном полюсе (официальном), то они непременно искажаются и на другом,— эта мысль, пусть и не всегда отчетливо, звучит в картине В. Бортко.

Наконец, один из самых главных мифов нашего официозного искусства — о героическом, мудром, простодушном и с хитрецой русском народе. Пусть в жизни ты лишь винтик в госмашине, пусть твое мнение ничего не значит для власть имущих, пусть ты уже и мнения-то своего давно не имеешь,— но вот ты идешь в кинотеатр и видишь себя отважного, решительного, все превозмогшего... Щедринско-чаадаевская — бичующая — традиция изображения народа пересохла на долгие годы. Сейчас она не то чтобы ожила, но, во всяком случае, народный портрет мало-помалу лишается глянца.

В «Забытой мелодии» несчастный женский хор, закинутый головотяпством филимоновых в разные тьмутаракани, вызывает не только жалость. Глупо-телячье выражение лиц; кеды с джинсами, прозаически торчащие из-под подола сарафана; любовные стихи Есенина, выпеваемые толпой одиноких женщин, когда напротив толпы одиноких мужчин (матросов, чабанов), звучат как неимоверная пошлость... Все это подано крупно и не без презрения. Народ — бесправный к притерпевшийся.

В «Альтовой сонате» А. Сокурова — фильме о Шостаковиче — жизнь народа течет рядом с жизнью композитора. Переплетенность не декларируется, но ощущается благодаря монтажу. И вот — кадры, связанные с провалом «Носа» и гонениями на «формалистов», перетекают в кадры из какой-то кинохроники: некто невидимый поворачивает голову старухи, и она наивно и добродушно вперяет взор в песни и пляски образца тридцатых годов. Получается, что ее от Шостаковича отвернули и к жалкому суррогату приговорили. Верится, что эта старуха могла поделиться последней крошкой, отдать последнюю рубаху. И подписать, ничего не понимая, какое-нибудь «письмо простых людей» против этого «не нужного нам и вредного искусства»!

А что происходит, когда народ избавляется от владыки? В фильме «Убить дракона» (сценарий Г. Горина и М. Захарова по пьесе Е. Шварца, режиссер М. Захаров) для народа, свыкшегося с рабством, обрести свободу — значит быть приговоренным к бремени выбора, которое оказывается непосильным. Отобрать у торговки и перевернуть тележку с овощами, пробежать по улице в чем мать родила, камнем рассечь череп полицейскому — только на это и годен народ-раб, дорвавшийся до воли. Свобода для него — возможность бесчинствовать, буйствовать, убивать. Окровавленный мертвец на улице, на котором задерживается цепкое око кинокамеры,— вот достояние такой свободы. Да, стать свободным не так-то легко и совсем не просто. Но — необходимо.

Нельстящий взгляд художника видит в соотечественниках героизм и забитость разом (Сокуров), стремление выйти из-под ига и натуру раба (Горин с Захаровым). Одним словом, совсем не то, к чему мы привыкли.

В нашумевшей «Маленькой Вере» (режиссер В. Пичул) выведена средняя рабочая семья, где солят огурцы, где родители пекутся прежде всего о том, чтобы чада были сыты, одеты, где стены украшены обложками «Советского экрана». Лица родителей — это чисто русские лица тех актеров (Ю. Назаров и Л. Зайцева), которые — на экране — были постоянными воплотителями толстовской триады «добро, тепло, простота». И вот «русская, мягкая, круглая» мама кричит дочери, что она ее и рожать-то не хотела, а папа пьет горькую, вдалбливает Вере, как надо себя вести (скромно) и мимоходом калечит человека. Вот тебе, общество «Память», вот вам, квасные патриоты: харя, от которой разит перегаром,— от нее тоже «Русью пахнет».

Не подпитываемая извне, чахнет юная страсть. Семейная стезя, по которой кое-как ковыляют родители, страшит Сергея и Веру. Но может ли их собственное супружество сложиться иначе — ведь пошлость заполнила все поры! Камера захлебывается, по выражению одного ре-

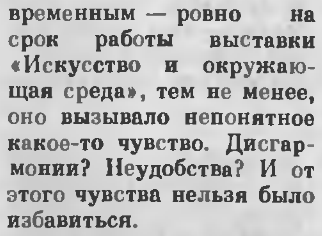
цензента, вадымленным фабрично-городским пейзажем новостроек. Звуки, заполняющие жизнь, однообразны: что ни Ротару — то тошнотворный скрежет поезда или машины. Под таким натиском обезлички (приплюсуйте сюда наш вечный жилищный вопрос, когда молодые не могут отделиться от родителей) счастью, само собой, не выстоять. Зять презирает тестя за его жлобство, тесть ответствует ударом ножа в живот — и вот Вера, самая невиноватая из всех, разрывается надвое: «заложить» родного отца или возвести поклеп на жениха. Она выбирает второе. И весь драматизм ситуации в том, что у вступающей в жизнь девочки нет подлинно нравственного выбора — так уж просуществовала «нормальная», среднестатистическая семья. Не будем строгими судьями: жизнь наказала Веру сполна. Между любящими — глубокая трещина. И уже Вера, прямо как ее мать в разговоре с отцом, пытается заполнить душевную пустоту вопросом: «что тебе приготовить поесть?». И столь же пустые слова слышит в ответ: «ничего». Кинокамера покидает пару на краю краха. Бездуховность, бескультурье, безнравственность насквозь пронизали мир отношений даже самых близких друг другу людей. Рушится еще одна милая нашему сердцу иллюзия...

А что же все-таки представляет из себя Вера? Разбитная и бесшабашная, но прежде всего — яркая. Н. Негода играет на стремительных перепадах от смеха к слезам, в искренности ее переживаний не сомневаешься. Смело можно сказать, что нам открыли новую прекрасную актрису.

И все же... В ее белозубых улыбках, в ее ослепительной развязности — слишком много от секс-бомбы. Школьницы будут тайно завидовать Вере, мальчики — влюбляться, но, не уступая в женском обаянии западным «звездам», похожа ли маленькая Вера на свои жизненные прообразы? На девочек с захолустных танцплощадок — вульгарных без блеска, заряженных жестокостью не хуже родителей?

И вместе с тем не представляешь себе картину без Негоды. Актриса с привлекательностью «львицы» необходима ленте, где любовь молодежи впервые показана без лирического тумана. Чем плотнее затыкается поток, тем неудержимее он бьет, вырвавшись наружу. «Маленькая Вера» — яростный противовес пресным и постным любовным историям, которыми нас пичкали в несметном количестве. Веселым издевательством над ханжеством прописан кадр, когда лыка не вяжущая Вера лезет к своему любезному на балкон ночью,— насмешливый перевертыш сцены из «Ромео и Джульетты». И «серьезные» вопросы — «к чему стремишься, чего хочешь от жизни?» — звучат в пику привычному: не во время ночной прогулки по улицам (у нее на плечах его пиджак; между ним и ней расстояние — верста), без мечтательно выпученных глаз, а — шутовски, в расслабленный час объятий на пляже. Видно, что творцы «Веры» избегали «возвышенного», как заразы,— отсюда нарочито быстрое, без рассуждений, сближение героев, их пренебрежение правилами приличия. Здесь страсть настолько самодостаточна, что ей нет нужды в высокопарных словах, в обряде обычного ухаживания. Этот фильм выведет из себя моралистов и разочарует тех, кто, поверив слухам, идет в кино на «клубничку», но придется по сердцу нормальному, не зашоренному зрителю, ибо обычный человек понимает, что молодой плоти не положен покой и чрезмерная чувственность не всегда окорачивает чувства. В. Пичул и М. Хмелик не осмеивают «святое»: Вера действительно любит своего жениха — как цепко она держится за него, как стойко хранит верность, как блекнет лицом, когда он в больнице! Разве Верина вина, что она, как сама признается, не знает слова «платонический»?..

Сегодня кино уничтожает старые схемы — то со смехом, то с грустью. На их месте порой вырастают новые. Наверно, это естественно. Любой корабль облепляют ил и ракушки. Главное, чтоб они не утянули на дно.



А. ПЕТРОВ

ФИГУРЫ В ГОРОДСКОМ ПЕЙЗАЖЕ

Две черные фигуры стояли на белом снегу. Позади застывала осенняя Нева, и в легком тумане чудесным видением поднимался на том берегу Смольный собор. Вблизи фигуры оказались сталеварами, отлитыми из чугуна. Они по-своему были красивы, как, впрочем, и другие скульптуры, составившие здесь, на охтинском берегу Невы, целый ансамбль — как раз напротив Выставочного зала Союза художников РСФСР. Но в тысячах окоп домов-гигантов на Охте словно бы сквозило холодное равнодушие, и не отражались в них ни черные фигуры сталеваров, ни прочие изваяния. Казалось, современные дома и произведения современного искусства существовали отдельно, независимо друг от друга. Соседство их было временным — ровно на срок работы выставки «Искусство и окружающая среда», тем не менее, оно вызывало непонятное какое-то чувство. Дисгармонии? Неудобства? И от этого чувства нельзя было избавиться.

А. С. Ланец. Семейный портрет

Выставка, развернутая как вне Зала, так и в нем самом, блеснула интересными работами. Но вот эта картина: безмолвные скульптуры перед непроницаемыми ликами зданий — являлась в воображении вновь и вновь, возле какой бы работы ты ни замирал, пораженный ее оригинальным пластическим решением. И крамольная мысль о несовместимости того и другого, то есть искусства и среды, все настойчивее пульсировала в мозгу. Может быть, питала ее, помимо всего прочего, многолетняя привычка жить в новых районах, среди крупнопанельных небоскребов? Может быть...

В. И. Трояновский. Анна Ахматова

В. И. Трояновский. Гитарист

Кварталы новостроек по большей части безлики — там господствуют прямые линии и его величество стандарт. И как бы ты ни силился вообразить в той среде произведения, экспонировавшиеся на выставке, произведения, предназначенные для восприятия в ограниченных пространствах помещений, в садиках, двориках, на аллеях парков, как бы ты ни старался представить их стоящими в окружении крупнопанельных домов, тебе это не удастся. Среда их не принимает. Царству прямых они противопоказаны.

Но тут же легко себе представить другое. Скажем, Невский.

Когда ты идешь по Нев-

И. А. Баграмян.
Фотограф

скому, каждый дом являет тебе свой неповторимый облик. Что ни фасад, то новая страница, которую не устанешь читать, сколько бы на нее ни смотрел. Идешь по Невскому — страницы меняются. Ты чем-то озабочен и не обращаешь на них внимания, но подсознательно все равно продолжаешь давным-давно начатое чтение. И оно оставляет в памяти свой отпечаток; и рано или поздно ты опять возвратишься на Невский, влекомый этой памятью. И именно она подскажет, какие «страницы» можно

И. А. Сурский.
Цирк (фрагмент)

дополнительно «иллюстрировать», и, хорошенько подумав, найдешь и подходящий скверик для «Тиммы» М. М. Ершова, и уютное фойе кинотеатра для «Пабло Неруды» В. П. Астапова, и соответствующий интерьер для «Омара Хайяма» В. П. Козина, для «Ярилы» Б. А. Свинина, для изящных работ Е. Н. Ротанова, В. И. Трояновского, З. М. Агаяна... И, захваченный этой игрой, вообразишь — уже на территории какого-либо завода — надлежаще оформленную

В. П. Козин.
Рождение поэзии.
Омар Хайям

площадку для тех самых чугунных сталеваров...

А в новых кварталах не может быть никакого чтения. Там счет. Одинаковых домов, одинаковых подъездов. И не дай бог сбиться со счета! Залетишь тогда не в свой дом, а то и не в свой квартал. Такая уж тут окружающая среда.

Эта выставка (хорошо, что она состоялась) обратила еще раз наше внимание именно на нее, на среду.

Работы заслуженного художника РСФСР Б. А. Свинина, в содружестве с зодчими создававшего архитектурно-скульптурные ансамбли города Навои, представленные в макетах и фотографиях, говорят о том, что с нею можно взаимодействовать. Это подтверждают своими моделями Г. К. Баграмян (оформление площадки перед хинкальной «Кахети» в Ленинграде), И. А. Сурский («Основание Порохового завода», «Основание города Костромы»), другие мастера.

Можно взаимодействовать. И нужно! А пока жесткие ритмы повторяющихся прямых в современной застройке, навязчивые, как ритмы поп-музыки, никак не сопрягаются с напевностью пластических линий. Жить с этим в принципе можно, но... Так тоскливо!

Но от тоски можно прятаться в квартире, а сквозь строй одинаковых домов проходить, прикидываясь незрячим. А если ты с рождения принужден жить в этой среде? Какой настрой получит душа? Не скажется ли на нем жесткость неумолимой ритмики прямых? Не заскорузнут ли чувства? Думается, не случайно некоторые из тех скульптур на снегу перед Выставочным залом вызвали чье-то активное неприятие — они пострадали от рук людей с заскорузлой душой.

М. М. Ершов. Тимма

Воспоминания

Галина КОЛБАСЬЕВА

ТРИ ПИСЬМА

Из письма Николая Тихонова Льву Лунцу. Петроград. Октябрь 1923 года.

«...Сергей Колбасьев делал прогулку по Афганистану. Растолстел как кабульский боров,— поздоровел — привез 1001 рассказ, афганские подтяжки, брюки, анекдоты. В общем, богатый человек и уже уехал снова: в Гельсингфорс на один год. Жди от него письма. Верочка — слушай, Лева,— вероятно, на днях подарит ему маленького афганца, ребенка, который еще до появления на свет, без визы проехал в Азию, обратно, в Финляндию и т. д. Чудо конструктивизма...».

Сергей Адамович Колбасьев — мой отец. Верочка — его жена и моя мать Вера Петровна Колбасьева. «Маленьким афганцем» оказалась я, появившись на свет в ноябре 1923 года.

Когда Николай Семенович писал — «Колбасьев делал прогулку по Афганистану», он имел в виду очень недолгое пребывание моего отца в этой стране. Случилось так, что он не нашел общего языка со своим непосредственным начальником Ф. Ф. Раскольниковым и, спустя два месяца, вынужден был покинуть Кабул и возвратиться в Россию, откуда его вскоре направили переводчиком в советское торгпредство в Финляндию. Там он проработал четыре года.

Итак, я родилась в Гельсингфорсе в ноябре 1923 года. Грудным ребенком я была необыкновенно криклива. Особенно по ночам, и бедные мои родители по очереди носили меня на руках и, вместо обычных в таких случаях колыбельных песен, читали мне стихи. Почему-то наилучшего эффекта они достигали, читая гекзаметр: «Он перед грудью поставил свой щит велилепный, дивно украшенный...». При этом я обычно засыпала.

Тогда в нашем доме постоянно звучали стихи. И отец и мама знали их великое множество — у обоих была прекрасная память. И ничего нет удивительного в том, что однажды, было мне тогда года три-четыре, я разразилась белыми стихами:

Отчего ветер так жутко воет?
Отчего море не блестит?
Отчего никого не видно
И никто не едет в Америку?

Впрочем, на этом мое поэтическое творчество и закончилось.

Естественно, мои воспоминания о жизни в Финляндии смутны и отрывочны.

Как я уже говорила, отец работал в полпредстве переводчиком. Еще восьми-девятилетним мальчиком его стали обучать иностранным языкам, причем одновременно английскому, немецкому и французскому, которыми он овладел в совершенстве. Его мать — Эмилия Петровна, урожденная Каруана, была итальянкой и передала сыну знание итальянского. Кроме того, он впоследствии самостоятельно изучал шведский и фарси.

Когда в феврале 1922 года отец был уволен в запас, он, бывший флотский командир, оказался в крайне затруднительном материальном положении. Он работал в издательстве «Всемирная литература». Делал переводы. Писал стихи. Их изредка печатали в литературных альманахах. Отдельной книжкой вышла его поэма «Открытое море». Но все это едва позволяло ему сводить концы с концами. К тому же он вскоре женился. Знание иностранных языков дало возможность отцу устроиться на работу за границу (не без помощи брата Ларисы Рейснер) и обеспечить молодой семье сносное существование.

В Финляндии отец увлекся джазовой музыкой. Оттуда он привез десятка полтора пластинок, положивших начало его будущей коллекции, о которой впоследствии ходили легенды. Так, например, Илья Рахтанов в своих воспоминаниях утверждал, что эта коллекция составляла десять тысяч пластинок, тогда как на самом деле их было не более двухсот. Это подтверждает папин друг, Генрих Романович Терпиловский, помогавший отцу систематизировать коллекцию. Помимо пластинок отец привез каталоги лучших фирм, производящих записи. Руководствуясь этими каталогами, он потом пополнял свою коллекцию.

В мае 1928 года отец закончил службу в Финляндии, и мы возвратились в Ленинград. Тогда же мои родители разошлись. Мама вернулась к своим родителям, а отец получил две комнаты на Моховой улице. Брак родителей официально расторгнут не был, и, сколько я помню, они всегда оставались добрыми друзьями. По взаимному согласию роди-

тели решили, что мне будет лучше жить в семье отца (мама поступила на службу и мало находилась дома), а выходные дни я проводила у мамы. Иногда мы их проводили все вместе, выезжая куда-нибудь с компанией друзей.

Затрудняюсь сказать, каков был первоначальный метраж нашей площади в коммунальной квартире на Моховой. Мы с бабушкой жили в пятнадцатиметровой комнате, а комната отца представляла собой громадный проходной зал — через него соседи ходили на кухню, в ванную и туалет. Сюда же выходила дверь еще одного соседа. Впоследствии из этой комнаты выделили длинный Г-образный коридор, тем самым изолировав ее, но даже после этого она осталась огромной — сорок квадратных метров. Здесь были одновременно и наша столовая и папины кабинет и спальня, тут мы принимали друзей и устраивали семейные торжества. Вдоль стены стоял великолепный макет «Джунгли», подаренный мне на день рождения. Папа сделал его вместе с художником Николаем Радловым. В «Джунглях» были тропические деревья, лианы и множество всякого зверья из киплинговского «Маугли». Папа подолгу играл со мной в этих «Джунглях», и было впечатление, что при этом он получал не меньшее удовольствие, чем я.

Вообще отец уделял мне много времени и внимания. В моих с ним отношениях была полная искренность и равноправная дружба. Не помню ни одной ссоры между нами. Он никогда не наказывал меня, не повышал голос. До сих пор для меня остается загадкой, как он умудрялся совсем незаметно заставлять меня вести себя именно так, как хотел этого он, как он умел предупреждать мои нежелательные поступки. Не перестаю удивляться его педагогическому таланту, тем более что я была далеко не идеальным ребенком.

Вероятнее всего, педагогический секрет отца заключался в том, что мне всегда было с ним необычайно интересно. Даже тогда, когда я была еще совсем маленькой. Мне было четыре с половиной года, когда мы возвратились в Ленинград. На следующий же день папа повел меня знакомиться с городом. Первая наша прогулка была вдоль Невы и в Летний сад. Конечно, я не помню, что мне тогда рассказывал отец, но то, что я увидела, навсегда врезалось в память. Нева меня потрясла. А в Летнем саду мы направились к Крылову. Показывая памятник, папа читал басни, и незаметно вокруг нас собралась целая толпа ребятишек.

Возможно, это самое первое впечатление заложило во мне неистребимую любовь к нашему прекрасному городу, которую я пронесла через всю жизнь. Я отказалась покинуть Ленинград во время войны, когда началась эвакуация, перенесла все тяготы блокады и чудом осталась жива. Я неизменно скучала по нему, уезжая в командировки или в отпуск в другие города. А во время короткой двухнедельной командировки за рубеж, в Англию, с первых же дней почувствовала, что означает ностальгия, несмотря на обилие впечатлений...

Приближался мой день рождения. Тот самый, когда мне подарили «Джунгли». Мама как-то сказала: «Скоро тебе стукнет пять лет». Я никак не могла понять и всех спрашивала, как это так — «стукнет». И вот однажды, возвратившись с прогулки, едва переступив порог, я услышала мерные удары (по-видимому, в таз). С каждым ударом папа поднимал руку и отсчитывал: «Раз, два, три, четыре, пять! Вот тебе и стукнуло пять лет!». Он был неистощим на разные выдумки.

Как ценнейшую реликвию храню я маленькую детгизовскую книжку «Крен» с дарственной надписью: «Моей собственной дочери Галине Сергеевне. Дружественный автор. 12.V.35». Другая реликвия — письмо, присланное из очередного плавания. Оно не датировано, но предполагаю, что это был 1931 год. Вот оно:

«Милая моя дочь Галина Сергеевна,

Я очень по тебе соскучился, но теперь скоро с тобой увижусь. Я приеду около 14 июля.

Расскажу тебе очень много интересного. Про то, как мы в открытом море ловили рыбу, и про медвежонка, который плавает на одном из наших миноносцев.

Большое спасибо тебе за твое милое письмо, которое ты прислала мне с дачи. Козленка и все прочие прелести ты мне покажешь, правда?

Видишь, я стараюсь писать буквы „т" и „д" так, как ты привыкла, а ты за это мое старание пиши мне письма. Мне очень приятно их от тебя получать.

Почему-то мне кажется, что ты совсем перестала жмакать и стала послушной душечкой. Наверное это так.

Ну пока бононоте, поцеловать и тронуть.

Папа».

Придется объяснить, что «жмакать» — папино изобретение, означавшее плохо есть. Бононоте — русская транскрипция итальянского «спокойной ночи». «Бононоте, поцеловать и тронуть» — так мы обычно расставались на ночь.

Несколько лет подряд отец отправлял нас на дачу в Александровскую. Это была писательская дача, и мы там отдыхали вместе с семьями других писателей. Один год, вероятно последний, с нами жили Марина Николаевна Чуковская с дочерью Татой, моей ровесницей, и трехлетним Коленькой, а также красавица Зоя Александровна Козакова с сыновьями Вовой, Борей и грудным Мишенькой. Теперь Мишенька — известный артист Михаил Козаков.

Однажды отец привез мне модель яхты, которую сам построил. В длину она была около шестидесяти пяти сантиметров и являлась точной копией настоящей яхты: можно было поднимать и спускать паруса, заглядывать в дверь изящной каюты, а на ходу она была легкой и послушной — мы пускали ее в Финском заливе.

Строить модели кораблей отец начал лет с десяти. Он построил настоящий флот. У него были модели подводных лодок и катеров, миноносцев и линейных кораблей. Все они были выполнены самым тщательным образом: на них были шлюпки, вращающиеся орудия, даже крошечные якоря, а материалом для такелажа служили тонкие волосы. Длина самой большой модели, линкора, не превышала восемнадцати сантиметров. И весь этот флот и моя яхта вместе с ним погибли во время бомбежки в 1942 году, в суровую зимнюю блокаду.

Когда мне было семь лет, отец отправил меня в так называемую дошкольную группу, а попросту — к частной учительнице, которая вела занятия с детьми по программе первого — второго классов. Одновременно ко мне приходила учительница английского языка. А через два года отец определил меня в третий класс английской школы. Здесь учились дети англичан и американцев, волей судьбы оказавшихся в Ленинграде. Интересная была эта школа — в классах по семь-восемь учеников, все предметы велись на английском языке, русский изучали как иностранный. Очутившись в такой обстановке, вначале, на первых уроках, я с ужасом убедилась, что ничегошеньки не понимаю из того, что говорилось в классе и вокруг меня. Но не прошло и трехчетырех месяцев, как полностью освоилась и болтала по-английски не хуже своих школьных товарищей. Вот как эффективен так называемый «метод погружения» при изучении иностранного языка!

Сергей Колбасьев с дочерью Галиной

Жизнь текла своим чередом. Возвращаясь из школы, я гуляла, потом делала уроки. Папа в это время занимался своими делами, о которых имею смутное представление. Бабушка вела домашнее хозяйство. А к вечеру к нам обязательно кто-нибудь приходил, и не один, а человека три-четыре, иногда и больше. Не помню дня, чтобы у нас никого не было. Кто только не перебывал в нашем доме на Моховой! И писатели — Николай Тихонов, Корней и Николай Чуковские, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Борис Лавренев... всех и не вспомнить. Приходили радиолюбители, знатоки и поклонники джаза, художники, композиторы, артисты... Засиживались допоздна, когда отец демонстрировал гостям свои новые пластинки или записи джазовой музыки.

Отец сам собрал проигрыватель для пластинок, как, впрочем, и радиоприемник. От своей аппаратуры он добился чистейшего звучания, не идущего ни в какое сравнение с бытовыми звуковоспроизводящими устройствами тех времен.

Радиоприемник принимал зарубежные станции, которые часто передавали хороший джаз. И тогда у отца возникла идея сделать звукозаписывающее устройство. Эту идею он вскоре осуществил вместе с изобретателем Вадимом Охотниковым. Не вдаваясь в подробности описания аппарата, скажу только, что запись производилась на кинопленку, склеенную в кольца. Этот же аппарат и воспроизводил только что сделанную запись с помощью обычного звукоснимателя с иглой. Ничего общего с магнитофоном это устройство не имело.

Последним достижением отца в области радиотехники было устройство для приема изображения. В нем не было даже отдаленного сходства с телевизором. Большой, около полуметра в диаметре, металлический перфорированный диск; в верхней его части при вращении возникало на розовом фоне изображение величиной со спичечный коробок.

Мир увлечений отца был необычайно разнообразен. Помимо своей неизменной страсти к радио и джазу, он увлекался и фотографией, и авиамоделизмом и даже изготовлением различных игрушек, в том числе елочных, которых в те годы в продаже почти не было. Он прекрасно знал мировую литературу, живопись, музыку. Все, кто с ним встречался, кто приходил

в наш дом, находили в нем интереснейшего собеседника.

Я обычно ложилась спать в девять часов вечера, но еще долго из соседней комнаты мне были слышны приглушенные голоса, смех и звуки музыки.

Только после того, как расходились гости, когда уже никто и ничто не могло отвлечь отца, он садился за рабочий стол и писал. Он работал всю ночь и ложился спать часов в семь утра. Вставал поздно, не раньше двух часов дня.

Не имея машинки, он писал от руки, четким почерком, почти без помарок. Черновиками не пользовался, писал на аккуратно нарезанных листках размером в одну четверть стандартной страницы. Если требовались какие-либо исправления или изменения текста, он попросту заменял забракованный листок иа другой. Таким образом, у него отпадала необходимость заново переписывать большие куски рукописи.

В 1922—1924 годах на страницах журналов появились четыре его ранних рассказа и очерк об Азовской военной флотилии. Однако начало активной литературной деятельности отца следует отнести к моменту его возвращения из-за границы. Недолгий девятилетний период его творчества оказался очень плодотворным. Современному читателю известно далеко не все, что было им написано.

Однако путь его, как я выяснила спустя многие годы, был далеко не безоблачным. Его любили читатели, его книги на прилавках не залеживались. Его повесть «Салажонок» выдержала семь изданий, книга «Поворот все вдруг» — пять. И тем ие менее, эта самая книга после первого же издания в 1931 году подверглась иростной критике. Шквальным огнем обрушились иа нее Л. Соболев, Вс. Вишневский, С. Варшавский, Н. Саирин, обвиняя автора в том, что он искажает историческую действительность, не дает представления о революции, не приводит правильных, полезных сведений о флоте, море, корабле, что в книге отсутствует революционная матросская масса, что автора цепко держат в своих объятиях буржуазные представления... и далее в том же духе.

Нелегко писателю перенести подобные обвинения. И вот что странно: я никогда не видела отца чем-либо расстроенным и даже не подозревала, что у него могли быть крупные неприятности. Критические статьи, обнаруженные мною спустя почти сорок лет, явились для меия ошеломляющим открытием.

Мне всегда казалось, что в нашем доме царило полное благополучие — никаких конфликтов, никаких неприятностей и горестей. Теперь знаю, что они были. Но с каким умением оберегали меня от них! Только несколько лет назад я узнала, что до 1937 года отца дважды арестовывали, но вскоре освобождали. Мне же тогда говорили, что отец ушел в очередное плавание или уехал в Москву, и я верила.

Последний, третий раз отца арестовали в ночь с 10 на 11 апреля 1937 года. Только тогда, каким-то шестым чувством я поняла, что случилась непоправимая беда, и бабушка вынуждена была мне это подтвердить.

Отец, зная свою полную невиновность, думая, что это очередная ошибка и что он скоро вернется, ушел, не простившись со мной. Так и ушел... Навсегда... Реабилитировали его в 1956 году посмертно.

Воистину, пути Господни неисповедимы. В 1971 году судьба свела меня с Ириной Вениаминовной Алексеевой, дочерью человека, который тоже был репрессирован и, как выяснилось, несколько дней провел с моим отцом в одной камере. Я послала ему папину книгу и в ответ получила большое и прекрасное письмо, подробно рассказывавшее об этой встрече. Выдержкой из этого письма я и закончу свое повествование.

«...Ваш отец очень сокрушался, что не может передать родным главное — о своей полной невиновности перед Советской властью, перед Россией. Это самое сокровенное желание он высказывал с такой болью, которая была мне родна.

Я пробыл в камере с Вашим отцом не более десяти дней из тех почти трех лет, что просидел в этой тюрьме. ⟨...⟩ Это было тридцать четыре года тому назад. После моего возвращения к жизни (примерно с 1955 года) я всегда искал книгу „Поворот все вдруг". ⟨...⟩ Фамилию отца даже забыл. Но когда услышал фамилию Колбасьев, снова встал передо мной тонкий моряк с бородой, горящими глазами, необыкновенно подвижный, повторяющий наизусть Лермонтова. И „одиночка". А теперь, перечитывая его рассказы, я переживаю свидание с этим необыкновенно интересным человеком, который встретился мне в столь трагической обстановке давным-давно и оставил о себе живое воспоминание. И если Вы не видели отца с 1937 года, чувствую себя вправе передать Вам от него привет и воспоминания. В конце концов от нас всех ничего более не остается.

С сердечным приветом — В. Ярошевич 4.11.1971 г.».

Низкий поклон Вам, Вениамин Александрович!

Очень горько, что не было возможности успокоить отца, уверить его в том, что никогда у нас не возникало сомнения в чистоте его совести. Никогда!

Изыскания

Н. НОВИКОВ

ДОПОЛНЕНИЕ К РОДОСЛОВНОЙ

Еще в студенческие годы, в Ленинграде, мне довелось побывать на первой в нашей стране выставке Святослава Николаевича Рериха. Помню, как поразили меня его волшебные краски и необычные пейзажи.

А в сентябре 1980 года пришло письмо народного артиста СССР Евгения Нестеренко: «Посылаю выписки из книги Рериха: „Мать художника, Мария Васильевна, урожденная Калашникова, была коренной псковитянкой... А жена Елена Ивановна Шапошникова, правнучка полководца М. И. Кутузова, двоюродная племянница композитора М. П. Мусоргского"... Возможно, это заинтересует...».

С особым интересом стал я перечитывать все, что связано с Рерихом.

Особенно меня интересовала одна фраза из дневника Николая Константиновича: «Пусть встанет во весь рост создание великого творца. Чем полнее, чем подлиннее будем выражать аеликие мысли, тем бо́льшим неиссякаемым источником они будут для асего народа. Слава Мусоргскому!».

Но где же соединились Рерихи с Мусоргским? Я спросил об этом у внучатой племянницы композитора, Татьяны Георгиевны Мусоргской, но она ничего не знала. Обратился в Москве к правнучке полководца Кутузова Наталье Михайловне Хитрово-Кутузовой, но и та не сообщила никаких подробностей. Позже я узнал, что в Ленинграде живут родственницы Рерихов — сестры Митусовы. Написал им и сразу же получил ответ: «Я... очень благодарна, что обратились с таким интересным и приятным для меня вопросом,— писала одна из сестер, Татьяна Степановна.— Больше всех из русских композиторов я люблю музыку Модеста Петровича, и совсем не потому, что нахожусь с ним в каком-то далеком и до сих пор мне неясном родстве. Мне очень хочется узнать от Вас о нем как можно больше. А чем могу быть полезна, сделаю все возможное с удовольствием. Сейчас могу только сказать, что у нас есть старинный портрет тетушки Модеста Петровича. Портрет небольшой, овальный, в темных тонах...».

При встрече я подробно рассказал о поисках и узнал от сестер их биографию. Старшая — Злата Степановна — родилась в 1908 году и умерла в блокаду. Средняя, Людмила Степановна, до войны окончила три курса Академии художеств, работала архитектором, с детства увлекалась музыкой и теперь играет на пианино, поет в хоре. Младшая, Татьяна Степановна, училась в балетной школе, танцевала в театре, но в войну пришлось перейти на завод.

Когда заговорили о Мусоргском, Людмила Степановна сказала:

— Если бы знали — записывали бы воспоминания отца, он ведь был близок со многими музыкантами и дружил с Римским-Корсаковым.

Она достала объемистую книгу в красивом переплете — родословную Митусовых, напечатанную на роскошной бумаге, и мы вместе стали разбирать сложные разветвления генеалогического древа.

— Елена Ивановна Рерих доводилась папе двоюродной сестрой,— сказала Татьяна Степановна.— А наша бабушка была из рода Голенищевых-Кутузовых — ее звали Евдокия Васильевна. У нее еще три сестры: Екатерина, Людмила и Анастасия, или, как ее называли, «баба Стася». Екатерина Васильевна — мать Елены Ивановны, теща Рериха...

Две небольшие комнаты Митусовых походят на музей: старинная мебель, посуда, скульптура, на стенах подлинные картины, среди них и рериховские, портреты предков. Сестры показывали и объясняли:

— Это наш дедушка Степан Николаевич Митусов — он был министром. А это папа Степан Степанович — профессиональный музыкант, дирижер, хормейстер.

В книге Н. К. Рериха мне встречалась такая запись: «Вспоминается, как в мастерских Общества поощрения художеств под руководством Степы Митусова гремят хоры Мусоргского. А вот в Париже Шаляпин учит раскольницу петь из „Хованщины"... „Помните же, что вы Мусоргского поете". В этом ударении на Мусоргского великий певец вложил всю убедительность, которая должна звучать при этом имени для каждого русского...».

— Отец говорил, что с Мусоргскими мы породнились через Шаховских,— сказала Татьяна Степановна.— Но точно не помню. Может, Святослав Николаевич знает? Хорошо бы вам с ним повидаться.

Я понимал, что это практически невозможно, ведь Рерих редко бывает в нашей стране. Но опять помогли счастливые обстоятельства. В 1984 году отмечались

два юбилея Рерихов — сто десять лет со дня рождения Николая Константиновича и восьмидесятилетие Святослава Николаевича. В Москве открыли выставку их картин, собранных из разных музеев (впервые были представлены работы Святослава Николаевича из индийской коллекции Бангалора, где художник живет). К юбилею приурочили конференцию, пригласили Рериха. О приезде Святослава Николаевича мне сообщила Татьяна Степановна, она же взялась хлопотать о встрече...

Святослава Николаевича заинтересовали новые сведения в родословной композитора, и я подарил ему журнал «Нева» с очерком «Родовая честь Мусоргских». О том, кто конкретно из родственников Мусоргского изображен на портрете, хранящемся у Митусовых, художник не знал, но подтвердил мнение сестер: «Есть какая-то связь с Шаховскими»...

В память о встречах в Москве я привез небольшой альбом с репродукциями отца и сына Рерихов. А Татьяна Степановна прислала репродукцию картины С. Н. Рериха «Муссонные облака» с автографом и в этом же письме сообщила адрес Шаховской, «которая приходится нам дальней родственницей, но как, опять-таки не знаю».

Вскоре я получил ответ из Тарту от Татьяны Константиновны Шаховской:

«Ваши сведения о Шаховских совершенно верны... Но мне кажется, другие публикации о родстве Елены Ивановны Шапошниковой с Михаилом Илларионовичем Кутузовым не совсем верны — там, где ее называют праанучкой полководца. Судя по родословной книге П. Долгорукова, у Михаила Илларионовича Кутузова было 5 дочерей и один сын, умерший в детстве. Очевидно, родство было не по прямой линии. Насколько мне удалось установить, прямая линия Елены Ивановны к прадеду Кутузову выглядит так: Иван Кутузов — Василий Иванович Кутузов и Анна Васильевна; Екатерина Васильевна Кутузова и Иван Шапошников; Елена Ивановна Шапошникова и Николай Рерих...

Все, что касается Василия Ивановича Кутузова, его жены и их предков, меня интересует, и если Вам удастся что-нибудь узнать, буду благодарна за любые сведения. Если Елена Ивановна Шапошникова была двоюродной племянницей Мусоргского, то по какой линии — Кутузовых или Шапошниковых? Судя по тесным контактам Мусоргского с семейством Василия Ивановича Кутузова, именно по линии Кутузовых. Если это так, то и мы находимся в каком-то родстве с Мусоргскими, так как Михаил Константинович Шаховский был моим прадедом по прямой линии: Анастасия Васильевна Кутузова и Михаил Константинович Шаховский; Яков Михайлович Шаховский — Константин Яковлевич — Татьяна Константиновна... Как видите, и задала Вам больше вопросов, чем ответила на Ваши».

Итак, конкретными фактами о связи Н. К. Рериха с Мусоргским никто не располагает...

В дневнике Николая Константиновича есть небольшая главка, посвященная композитору: «„Додонский, Катонский, Людонский, Стасенский" — по именам четырех сестер Голенищевых-Кутузовых так всегда напевал Мусоргский, работая в их доме над эскизами своих произведений. Матушка Елены Ивановны — та, которую Мусоргский называл Катонский (от имени Екатерина), много рассказывала, как часто он бывал у них, а затем и в Боброве у Шаховских — у той, которую он называл Стасенский. Додонский была потом кн. Путятина, а Людонский — Людмила Рыжова». Как видно, Модест Петрович часто «бывал у них» — у Голенищевых-Кутузовых. Но где они жили? Во всей известной литературе о Мусоргском называются только четыре местопребывания композитора на Псковщине: Карево, Волок, Торопец, Канищево. Селение Боброво и его хозяева Шаховские нигде не упоминаются...

В Великолукском архиве я стал просматривать «Исповедные росписи» за 1860—1863 годы. В Торопецком уезде ничего похожего не обнаружил и взялся за Холмский. Раскрыв рукописную книгу за 1863 год, нашел погост Канищево, а там запись: «Села Канищева отставной полковник Василий Иванов Голенищев-Кутузов». И далее перечень всей его семьи: жена Анна Васильевна и «дети их: Иоан —10 лет, Евдокия —8, Анастасия — 7, Екатерина —6, Леонила —5, Василий —2». Хозяину усадьбы Василию Ивановичу исполнилось тогда полвека. Жена была на двадцать лет его моложе. Это и понятно: полковник обзавелся семьей поздно, когда ушел в отставку.

Значит, Модест Петрович в августе 1863 года и гостил у Голенищевых-Кутузовых, в чем убеждает авторская дата на сочинении «Песня старца»: «13 авг. 1863 г. Село Канищево». И теперь понятно, кому напевал он «Додонский, Катонский, Людонский, Стасенский»: такие шуточные прозвища, близкие к именам, придумал он молоденьким барышням, значащимся в «Исповедных росписях». Анастасия — «баба Стася», как рассказывали Митусовы, а Леонилой священнослужители называли Людмилу. Все записи сделаны аккуратным почерком тридцатилетнего батюшки Иннокентия Соловьева, жившего здесь же на погосте с многочисленным семейством.

По соседству в селе Преображенском обитал «помещик отставной полковник князь Константин Яковлевич Шаховский» в возрасте шестидесяти лет. Его жене, Елизавете Федоровне, исполнилось пятьдесят четыре. И с ними трое детей: двадцатидвухлетний Михаил, семнадцатилетняя Елизавета и, годом младше, Леонила.

Из письма Татьяны Константиновны Шаховской известно, что ее прадед Михаил Константинович женился на Анастасии Васильевне Голенищевой-Кутузовой — «Стасенском». Михаил Константинович — ровесник Модеста Петровича, человек просвещенный и прогрессивный, вероятно, дружил с начинающим композитором. У Шаховских была богатая библиотека, которой, несомненно, пользовался Мусоргский. В этом убеждают строки из его письма Ц. Н. Кюи: «На днях попались мне стишки Гете,— коротенькие, и обрадовался... и на музыку». Речь идет о песне арфиста из романа Гете «Вильгельм Мейстер», где Мусоргский заменил странствующего арфиста-итальянца стариком, расхаживающим по деревням и пением собирающим милостыню. «Нищий мою музыку может петь без зазрения совести — я так думаю»,— писал композитор. Так родилась вполне русская «Песня старца». (На слова Гете композитор, кстати, создал и всемирно известную «Песню о блохе».) Анастасии Голенищевой-Кутузовой было в то время семь лет, а Михаилу Шаховскому шел двадцать третий. Позже Анастасия Васильевна станет хозяйкой имения Боброво, построенного к свадьбе Михаилом Константиновичем.

Теперь можно уверенно внести в «Указатель мест пребывания М. П. Мусоргского» еще один адрес — село Боброво Торопецкого района Калининской области.

Хозяином там до конца своих дней был Михаил Константинович. Каким-то чудом уцелели многие документы имения за 1870 — 1895 годы, в том числе и редчайшее подлинное «родословное дерево» князей Шаховских — более ста тридцати потомков, нарисованное на двухметровом листе, видимо, для парадной гостиной.

Какие же узы связывают Рерихов, Митусовых, Шаховских с Мусоргским? С Голенищевым-Кутузовым композитор состоял в двойных родственных отношениях — по материнской (Чириковской) и по отцовской — но не прямой — линии. Его родственница — бабушка сестер Митусовых Евдокия Васильевна («Додонский»), по второму браку княгиня Путятина,— обладала в молодости прекрасным голосом, окончила консерваторию и стала известной певицей, «русской Патти».

В 1939 году Николай Константинович Рерих записал в дневнике: «Исконно русское звучит во всем, что творил Мусоргский»...

Художник создал несколько эскизов декораций и костюмов к музыкальным постановкам Мусоргского, в том числе «Палаты Голицына» к музыкальной драме «Хованщина» для лондонского театра Ковент-Гарден, где когда-то в этом спектакле пел Шаляпин. Подлинник этого эскиза находится в США, в Музее Рериха. Татьяна Степановна переписывается с директором этого музея Даниэлем Энтином, и он прислал ей несколько репродукций эскизов к театральным постановкам.

Дело прошлое

После Великого Октября 1917 года председатель Петроградского совета Л. Д. Троцкий в первом советском правительстве занял пост народного комиссара по иностранным делам, с 1918-го по 1924 годы возглавлял народный комиссариат по военным и военно-морским делам, одно время по совместительству выполнял обязанности народного комиссара путей сообщения; с сентября 1918 по декабрь 1924 года находился во главе Революционного военного совета Республики. Был членом Политбюро ЦК ВКП(б). Впоследствии за фракционную антипартийную деятельность исключен из ВКП(б) и в 1929 году выслан из СССР. В 1940 году убит в Мексике.

В очерке, написанном, главным образом, на материалах, почерпнутых из зарубежных источников, рассказывается, каким образом, кем и при каких обстоятельствах было совершено это убийство.

Ефим ТЕПЕР

ТЕРРАКТ РАМОНА МЕРКАДЕРА

В начале, для экспозиции, два небольших эпизода, так сказать, мемуарного плана.

Как и когда я об этом узнал? Вместе со всеми.

Что думал тогда об этом? Примерно то же, что и большинство моих друзей-одноклассников.

Тихое и ясное утро 24 августа 1940 года запечатлелось в памяти до мельчайших

подробностей. И как мчался по своей Пятой Советской по направлеиию к Советскому (ныне Суворовскому) проспекту в районную детскую библиотеку. И как внезапно остановился на полпути, у газетной витрины со свежим номером «Правды». Небольшая заметка в несколько строк в верхней части предпоследней страницы сразу привлекла к себе внимание. Со ссылкой на лондонское радио сообщалось, что в Мексике в одной из больниц умер Троцкий. А рядом можно было ознакомиться со статьей без подписи — «Смерть международного шпиона».

Смерть эта, говорилось в газете, последовала «от пролома черепа во время покушения...». Покушавшийся был назван Жаком Мортоном Вандендрайшем, человеком из ближайшего окружения Троцкого. Анонимный автор далее заключал: «Троцкий, организовавший злодейские убийства Кирова, Куйбышева, М. Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательских измен, злодеяний».

Конечно, цитаты здесь восстановлены по подшивке. Но почему в целом все так живо и основательно запечатлелось в голове? Потому, думается, что романтическое воображение шестнадцатилетнего паренька было потрясено. Что же до «интриг, предательских измен, злодеяний» со стороны пострадавшего, то достоверность информации в целом — увы! — не подвергалась сомнению.

Вообще-то интерес к истории партии и текущей политической жизни среди старших школьников был очень велик. О себе лично, например, припоминаю, что наибольшую любознательность тогда проявлял к одной заветной этажерке на тонких ножках. Этажерка эта была уставлена сверху донизу не томами Майн Рида, Луи Жаколио или Конан Дойля, а стенографическими отчетами партийных съездов и конференций. Стояла она в хорошо мне знакомой полутемной комнате на той же Пятой Советской, где в коммунальной квартире на первом этаже, вместе со своей мамой Юлианной Юрьевной, членом партии с августа 1917 года, жил мой школьный товарищ Леня Крузе. Пухлыми томами этих отчетов мы с Леней пользовались преимущественно в справочных целях, за перелистыванием их и обсуждением прочитанного проводили немало времени.

...А вот событие совсем из другого времени, почти тридцать лет спустя. Весна 1968 года. Будучи уже историком-испанистом, библиографом Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, я увлеченно работаю над составлением сводного научного каталога политических плакатов Испанской республики. Эти плакаты, яркие документы эпохи попали в разные наши музеи и книгохранилища прямо из Испании, в пору разгоревшейся там в 1936—1939 годах гражданской войны. Ценная коллекция таких плакатов оказалась и в нашей библиотеке, в Отделе эстампов.

Однажды телефонный звонок вызвал меня в «Эстампы». Входя, я увидел поднявшегося мне навстречу незнакомца — коренастого, со слегка одутловатым лицом человека, на вид лет пятидесяти с небольшим. Приятно улыбаясь, он представился на чистейшем русском языке с легким испанским акцентом: «Лопес Рамон, сотрудник аппарата ЦК Испанской компартии. Прибыл из Москвы, где вскоре откроется выставка испанских плакатов тридцатых годов. Хотелось бы, чтобы ее украсили и несколько листов из вашей коллекции».

«Лопес Рамон, Лопес Рамон,— мысленно повторил я.— Где и в каком контексте я совсем недавно слышал это имя?» Мы разговорились. Выяснилось, что сейчас он живет в Москве, принимает участие в подготовке к печати капитального труда «Война и революция в Испании», выпускаемого издательством «Прогресс», что у нас много общих знакомых среди живущих в Москве испанцев, что родом он из Каталонии.

В дальнейшем московский гость довольно оперативно определил, какие именно плакаты его интересуют. Выяснилось, что он успел заблаговременно ознакомиться с незадолго до этого опубликованным печатным каталогом нашего собрания. Мы расстались, обменявшись адресами, и условились, что окончательный ответ он получит завтра в дирекции.

На следующий день, однако, от встречи с Рамоном меня отвлекло какое-то другое важное дело. Как мне потом рассказывали, в дирекцию он явился, сияя наградами, с широкой улыбкой на устах, быстро всех обаял и без труда получил разрешение (под гарантийное письмо, разумеется) взять для выставки те плакаты, которые наметил. ...Повторяю, он представился мне как Лопес Рамона.

Почему такая оговорка — «представился»? Потому что этот человек не родился Лопесом Рамоном. В конце тридцатых — начале сороковых он еще и понятия не имел, что его когда-нибудь станут так называть. Тогда у него под рукой будет целый набор подлинных паспортов — на имя француза Леона Жака, канадского гражданина и бойца интернациональной бригады Тони Бабича, или Френка Джексона, тоже канадского интернационалиста, или бельгийца Жака Морнара ван ден Дреше. Именно под последними двумя именами его судили и 16 апреля 1943 года приговорили к двадцати годам тюрьмы и 3485 песо штрафа (!) за убийство Троцкого.

Несмотря на то, что процесс длился долго, на нем так и не выявили его подлинного имени. Оно было установлено только в 1950-х годах. Выяснилось, что он вовсе не бельгиец, не канадец, не француз, а испанец и что полные его имя и фамилия — Хайме Рамон Меркадер дель Рио Эрнандес, в обиходе просто Рамон Меркадер.

Родился Рамон Меркадер 7 февраля 1914 года в Барселоне, столице Каталонии, в зажиточной, знатной, многодетной и, на первый взгляд, вполне благополучной семье. И тем не менее, когда Рамону исполнилось одиннадцать лет, родители разошлись, и мать его, Каридад Меркадер, со своими пятью детьми поселилась в Париже. Воспитанница францисканского монастыря, родившаяся в Сантьяго-де-Куба в буржуазной семье, она была женщиной экзальтированной, несколько авантюристического склада ума и придерживалась левых взглядов.

Л. Д. Троцкий. 1918 г.

Дети, по мере того как подрастали, следовали примеру матери. Рамон рано включился в революционное движение. В бурные дни октябрьских волнений 1934 года он агитатор в Барселоне, неоднократно арестовывался. Это и помогло впоследствии мексиканским властям установить его настоящее имя.

В июле 1936 года, после переросшего в гражданскую войну военно-фашистского мятежа в Испании, Рамон вместе с братьями Пабло и Хорхе отправляется на фронт. Старший, Пабло, командир бригады, вскоре гибнет в бою под Мадридом, а Рамон, раненный в плечо, по выздоровлении назначается комиссаром XVII объединения Арагонского фронта. В феврале 1937 года в его жизни происходит крутая перемена: в сопровождении матери (по свидетельству близких людей, она имела на него особенное влияние) он едет в Москву для подготовки к спецзаданию.

В отличие от сына, пробывшего тогда в Советском Союзе около года, для Каридад Меркадер это первое посещение советской страны было кратковременным. Но после поражения Испанской республики в 1939-м она опять сюда вернется, в этот раз на гораздо более продолжительный срок. А поздней осенью 1940-го, когда Рамон, как шиллеровский мавр, «сделал свое дело», на специальной аудиенции ей была вручена награда за сына. Собственный ее вклад в эту операцию, как отмечено в ряде мемуаров, также был оценен очень высоко — орденом Ленина.

До 1944 года включительно Каридад Меркадер с младшим сыном Луисом и женою Рамона Еленой Имберт проведет, в основном, в СССР. Это о ней командир корпуса прославленной в 1938 году в Испании армии Эбро Мануэль Тагуэнья (в Отечественную под именем Михаила Михайловича Тарасова он будет преподавать в эвакуированной в Ташкент академии имени Фрунзе) в своих опубликованных на родине воспоминаниях напишет: «В общем-то все (из числа испанских эмигрантов.— *Е. Т.*) знали, кто из их среды работает на НКВД. Среди них выделялась каталонка на возрасте, с совершенно белыми волосами. Мы встретились с ней в Москве по возвращении из эвакуации и обратили внимание на особое уважение, которым она пользовалась у русских».

Есть сведения, что в годы второй мировой войны Каридад Меркадер выезжала иногда в Бельгию, Скандинавию, Турцию. И достоверно можно сказать, что всеми операциями, к которым она тогда была причастна, руководил близкий ей человек, кадровый советский разведчик Леонид Этингон (он же «Леонов», «Наумов», «Котов» и проч.) [1].

Что же до жены Рамона Елены Имберт, то она была больна туберкулезом в тяжелой форме. Когда до нее дошла вся правда

[1] В частности, под фамилией «Котов» Л. И. Этингон (1899—1981) был известен в Испании в конце тридцатых годов. Вспоминая некоторые эпизоды эвакуации Барселоны в январе 1939 года, И. Г. Эренбург мимоходом замечает: «Человека, которого в Испании звали Котовым, я остерегался — он не был ни дипломатом, ни военным» (Люди, годы, жизнь. М., 1963, т. 2, с. 717). Про Этингона, своего боевого товарища, вспоминает также в своей книге «Бойцы тихого фронта» (М., 1971, с. 352—353) болгарский генерал И. Винаров.

о муже, то, по свидетельству того же Тагуньи, «она потеряла всякие стимулы к жизни, отказывалась от забот о своем здоровье». Умерла она в санатории.

Высланный за пределы СССР, Лев Троцкий с февраля 1929 года обосновался на турецких Принцевых островах в Мраморном море, неподалеку от Стамбула. Вместе с ним тогда выехали его вторая жена Наталья Седова и их сын Лев Седов. В 1931 году к ним присоединилась и дочь Троцкого от первого брака Зинаида Волкова с четырехлетним сыном Севой, отец которого Платон Волков к тому времени уже год как отбывал ссылку где-то в Сибири. В СССР остался младший сын Троцкого Сергей, до ссылки в Красноярск живший в Ленинграде. В дальнейшем все близкие, неблизкие и даже бывшие родственники Троцкого (например, его первая жена Александра Соколовская), вне зависимости от того, по какую сторону государственной границы они оказались, подвергались репрессиям и почти тотальному уничтожению.

Ситуация в тот исторический момент сложилась непростая. С одной стороны, у значительной части западной читающей публики самый благожелательный прием встретили книга Троцкого «Моя жизнь» и другие его произведения новоэмигрантского периода. Все, что выходило из-под его пера (а писал он много), прежде всего антисталинские статьи и интервью, охотно распространялось наиболее популярными органами международной прессы. В поведении буржуазных издателей, радовавшихся возможности погреть руки на распространении печатной продукции Троцкого, разумеется, ничего противоестественного не было: это приносило им немалый доход. Их не приводили в смущение даже филиппики о приближении, якобы, в самое ближайшее время «мировой пролетарской революции». Тем более, что состоявшийся летом 1938 года в Париже конгресс троцкистского, так называемого IV Интернационала с его собранными с бору по сосенке немногочисленными делегатами из одиннадцати стран наглядно обнажил слабость и сектантский характер всего их движения, никакой реальной угрозы для капиталистического мира не представлявшего.

В то же время попытки с помощью московских процессов выставить Троцкого и его действительных и мнимых союзников как монстров-отравителей, торгующих родиной, за явным отсутствием доказательств, в глазах западной общественности успеха не имели. После договора с нацистами 1939 года, сопровождавшегося, как известно, выдачей им многих немецких антифашистов, к прежнему скепсису добавился бурный взрыв негодования, сострадание к невинным жертвам.

Неудивительно, что в подобной атмосфере гонения на Троцкого, быстро переросшие в откровенную охоту за ним, являлись акциями непопулярными и никак не могли служить укреплению позиций СССР на международной арене. И тем не менее сталинская директива о физическом искоренении троцкизма продолжала осуществляться.

Мало-помалу давление на Турцию привело к тому, что с середины 1933 года Троцкий покинул Принцевы острова и перебрался во Францию, под Париж. Затем, осенью того же года он переселяется в курортный город Сен-Пала у подножия Пиренеев. Затем — летом 1935-го — вынужден вновь собраться в путь, в Норвегию. И на каждом новом месте создается такая обстановка, что приходится задумываться о поисках очередного пристанища. Совсем как в древней легенде о вечном страннике Агасфере, преследуемом богом и взывавшем: «Темен мой день, бесконечен мой путь, и нет в мире дерева, чей шатер приютил бы страдальца». Только нововявленному Агасферу приходилось круче, чем мифологическому: за ним по пятам следовали люди Сталина!

Наконец 13 января 1937 года, преодолев Атлантический океан, Троцкий высаживается в Мексике, вначале показавшейся ему землей обетованной. И в самом деле — здесь изгнаннику из Советской России было оказано высокое покровительство прогрессивным президентом страны Ласаро Карденасом [1]. В Мексике тогда активно действовал комитет в защиту Троцкого. Первоначально его приютил у себя на вилле всемирно известный мастер настенной живописи Диего Ривера. Но и здесь, за тысячи километров от Москвы, не понадобилось много времени, чтобы обнаружить — охота продолжалась, принимая все более откровенные и циничные формы.

Симпатизировавший Троцкому Диего Ривера еще в конце двадцатых годов был отлучен от компартии [2]. Правда, среди мексиканских коммунистов и тогда нашлись люди, никогда не разделявшие троцкистских догм и, тем не менее, отвергавшие навязываемую им политику террора. Из их числа, например, можно назвать одного из тогдашних руководителей партии Валентино Кампа. В июле 1978 года на страницах французской «Юманите» он во всеуслышание поведал о том, как в сентябре 1938-го специально прибывший из Европы эмиссар предложил ему организовать террористический акт против Троцкого. Кампа, напомнив, что он член партии, принципиально отвергающей террористическую деятельность, тогда наотрез отказался следовать этой директиве, за что вскоре из партии был изгнан. Восстановили его в партийных рядах только во время второй мировой войны.

Иначе в аналогичных условиях повел себя другой известный мексиканский художник-коммунист — Давид Альфаро Сикейрос. В составе большого, вооруженного до зубов отряда 24 мая 1940 года он принял участие в штурме резиденции Троцкого. Операция, продолжавшаяся двадцать минут, началась ровно в четыре утра. Дом был изрешечен пулями. Обитатели дома спаслись тем, что догадались вовремя лечь на пол, оказавшись в «мертвом пространстве». Только в стене, у которой укрывались Троцкий и его жена, были найдены следы ста семидесяти пуль. Сикейрос, правда, позднее утверждал, что целью нападавших было всего-навсего изъятие у хозяина дома компрометирующей его документации (!).

Большой, полуразвалившийся дом, о котором идет речь, был вначале снят Троцким в аренду. Находился он на окраине мексиканской столицы, в Койоакане, на улице Вены. Его окружал сад, чьи разросшиеся лиственные деревья причудливо перемежались с пышными, декоративными агавами и кактусами. Сева, внук Троцкого, тогда мальчик лет двенадцати-тринадцати, позднее вспоминал, что поутру в саду обычно стоял веселый гомон птиц, гнездившихся в зарослях. Дед имел привычку вставать очень рано, делал гимнастику, после чего до завтрака в охотку возился с кроликами, косил траву для животных.

Новые хозяева отремонтировали дом капитально. Он был окружен высокой стеной. Посетители должны были проходить через железные ворота под бдительным оком дежурных охранников, в большинстве своем американских троцкистов. Каждого впервые появлявшегося предварительно долго рассматривали в «глазок», изучали его документы. После того, что случилось 24 мая, в тридцати шагах от ворот было выстроено специальное караульное помещение для отряда мексиканских полицейских. Стены дома обложили мешками с землей, сделали стальные ставни, двери, устроили сигнализацию. Круглосуточную караульную службу вокруг дома несли пять полицейских патрулей.

Внутри здание было достаточно просторным и удобным. Самые вместительные его помещения были отведены под секретариат и столовую. В большой зале секретариата вдоль стен размещались шкафы с книгами и картотеками, в центре — столы с пишущими машинками. Рядом располагалась библиотека. Из библиотеки можно было пройти в столовую с буфетами, большим столом светлого дерева и стульями, орнаментированными в испано-индейском стиле. Во время трапез, особенно по вечерам, здесь часто разгорались оживленные политические дискуссии, порой на разных наречиях: хозяин свободно владел восемью языками.

За секретариатом помещался кабинет Троцкого — просторная, квадратная комната с высоким потолком. Помимо письменного стола и памятных фотографий на стенах, здесь под рукой всегда были красные и синие тома собраний сочинений Владимира Ильича Ленина.

Именно здесь и произошло убийство.

Итак — стальные ставни и двери, мешки с песком, замысловатая сигнализация. Многочисленные секретари, особая «внутриведомственная» охрана. И отряд мексиканских полицейских в полной боевой готовности. Как проникнуть в такую крепость, преодолеть столь солидную «полосу препятствий»?

Суть разработанного с дальним прицелом плана операции в двух словах можно свести к небезызвестному французскому выражению cherchez la femme, «ищите женщину».

Женщина, коей предполагали воспользоваться, до самого конца ни о чем не подозревала. Гражданка США Сильвия Аджелофф, психолог по профессии и троцкистка по убеждениям, по мнению тех, кто ее знал, не была красавицей, но справедливо признавалась симпатичной блондинкой с хорошей фигурой. Роковая встреча произошла, когда ей уже исполнилось двадцать восемь — возраст, когда девушки, какими бы высокими материями они ни занимались, все чаще задумываются о замужестве. Основное же достоинство Сильвии в глазах организаторов акции состояло в том, что ее старшая сестра Рут часто исполняла обязанности секретаря при Троцком, а Сильвия иногда ей помогала.

В 1938 году Сильвия жила во Франции, слушала лекции в Сорбонне. Был найден случай представить ей Меркадера, тогда впервые назвавшегося Жаком Морнаром, с посланием от их общей знакомой, некой Руби. Сильвия приняла Жака благосклонно, и спустя несколько дней ей уже казалось, что они знакомы давным-давно.

Меркадер перед Сильвией предстал нестесненным в средствах «плейбоем», остроумным, элегантным и уверенным в себе, умеющим с достоинством носить хорошо сшитые костюмы и со вкусом подобранные галстуки. Все это сочеталось с покладистостью и услужливостью, что Сильвии импонировало.

Главная трудность, какую обязан был преодолеть Рамон Меркадер, вживаясь

[1] В 1955 году он станет лауреатом Ленинской премии за укрепление дружбы между народами.

[2] В конце 1954 года Мексиканская компартия восстановит его в своих рядах.

в образ Жака Морнара, состояла в том, что последнему, согласно его паспортным данным, следовало выглядеть мужчиной тридцати трех лет, в то время как Рамону едва исполнилось двадцать четыре. Поэтому новоявленный Жак всеми силами старался повзрослеть — шляпу носил надвинутой на самые брови, двигался неторопливо, с достоинством, всячески демонстрируя не только легкость характера, но и степенность и основательность.

Подлинный Морнар действительно происходил «из хорошей семьи» (отец — консул в Тегеране, мать — светская дама). Вдобавок, в соответствии с «легендой» надо было показать, что он в разрыве со своей средой и с некоторых пор зарабатывает сам. На вопрос о профессии Жак отвечал, что работает фотокорреспондентом в одном бельгийском пресс-агентстве, к политике же абсолютно равнодушен.

Последнее Сильвией, казалось бы, должно было восприниматься как недостаток. Однако первоначально показалось только забавным. Ей нравилось, что рядом с ней такой интересный мужчина, взирающий на нее почтительно-влюбленными глазами, что он прекрасно ориентируется в Париже и в курсе всего, что нужно там видеть и знать, что по вечерам они время от времени посещают хорошие рестораны. Легкий роман? А почему бы и нет? Прошла неделя, другая, и они поселились вместе в маленькой, двухкомнатной квартирке в центре города, у собора Нотр-Дам-де-Пари. По утрам они чуть ли не ежедневно в компании с Марией Грепо завтракали в американском баре «Пам-Пам» на площади Оперы, запивая традиционную яичницу с беконом чашечкой кофе и апельсиновым соком, лакомясь фирменными вафлями с кленовым сиропом. После трапезы женщины обычно углублялись в обсуждение политических проблем, а Жак отправлялся фотографировать свои спортивные сюжеты. Ни Сильвия, ни Мария ни малейшего интереса к спорту не проявляли.

В Париже тем летом политическая атмосфера была крайне накалена. Народный фронт уже дышал на ладан. Одна демонстрация сменяла другую. Иностранные спецслужбы чувствовали себя в городе довольно вольготно. В дни заседаний конгресса IV Интернационала из Сены был выловлен труп одного из делегатов конгресса, немецкого троцкиста Рудольфа Клемента, с навахой между лопатками. Клемент был особенно приближен к «Старику» — так молодые адепты троцкизма именовали тогда своего шефа.

Сильвия и Мария привлекались к охране заседаний конгресса. Жак будто бы в ту пору весь ушел в фотографирование, а в день, когда был убит Клемент, он вообще исчез из поля зрения, но несколько дней спустя вновь появился, отдохнувший и загорелый. Обычное их времяпрепровождение вернулось в свою колею.

В феврале 1939 года Сильвия отправилась домой, в Нью-Йорк. Следует отметить, что перед этим между ними пробежала черная кошка. Предложение руки и сердца, сделанное ей Жаком, было отклонено. Видимо, все же сыграло свою роль отсутствие достаточно прочных взаимных интересов. Но не только это. «Он не смотрится в моем нью-йоркском кругу»,— говорила она Марии. Дружеские отношения, впрочем, не были прерваны.

После отъезда Сильвии Жак остался в Париже. Почти каждую неделю он встречался с Грепо. Они вместе смотрели бурлескные кинокомедии с участием известных американских комиков братьев Маркс, разговаривали о Сильвии. Однажды Жак пришел очень возбужденный, заявил, что много передумал за последнее время, пересмотрел свое отношение к жизни и решил вступить в троцкистскую партию.

Другой серьезный разговор между Марией и Жаком состоялся уже в сентябре 1939 года, после начала второй мировой войны. Жак объяснил Марии, что не имеет никакого желания принимать участие в этой империалистической бойне, а посему дезертировал из части, к которой был приписан, нашел выгодную работу, раздобыл паспорт на имя канадского гражданина Франка Джексона и на днях на французском корабле «Иль-де-Франс» отплывает в Нью-Йорк. Прибыл он туда в конце сентября.

Мария давно мечтала посетить Нью-Йорк. Такая возможность ей представилась еще в 1939-м, когда Жак предложил ей отправиться вместе с ним, обещав оплатить дорогу. Но поразмыслив, она все же предпочла отказаться от его щедрот. Ее поездка за океан состоялась только после второй мировой войны, в 1945 году.

...Встреча Марии с Сильвией была горькой, разговор долгим. «Он приехал с чемоданами, полными долларов,— рассказывала та,— с таким огромным букетом роз, за которым его самого не было видно». Попросил показать город, где, как он уверял, никогда не бывал. Позднее она не раз убедится, что Нью-Йорк он знал и неплохо в нем ориентировался. Что это, талант мгновенной ориентации или нечто иное? Тогда подобные факты ее по-настоящему не настораживали. Близкие отношения между ними возобновились.

Хотя уверенности в том, что Жак (или теперь, если угодно, Фрэнк) тот человек, с которым ей следует соединить свою судьбу, у нее не прибавилось, Сильвия все же поддалась на его уговоры и отправилась вместе с ним в Мексику. Тем более, что ее туда звали и без него, писали, что нужна. А Жак говорил, что его там ждет выгодное дельце.

В Мексике ему удивительно, небывало везло с первых же дней. Удача, можно сказать, плыла прямо в руки. Сильвия практически все делала так, как ему было нужно. Главное — наконец свела его со своими друзьями и соратниками («Он так настаивал, с такой непосредственностью»,— будет позже она оправдываться перед Марией). Именно они (эти вроде их общие теперь друзья, а не сама Сильвия) ввели его в дом к Троцкому. Те самые, что не уставали убеждать Сильвию в том, будто Жак ей ниспослан небом, беспрестанно им восхищались: «Такой приятный молодой человек!».

Как же это все так ладно у него получилось? Тут уж, несомненно, на первом плане его бесценный природный дар — дьявольское обаяние, умение нравиться. Конечно, помноженное на такт, приветливость, деловитость и, само собой разумеется, финансовые возможности. А также постоянная нацеленность на услугу.

Надо съездить куда-нибудь? Пожалуйста, всегда рад помочь. Подбросить к атлантическому побережью в Веракрус, каких-нибудь четыреста километров в один конец? Нет проблем. Особая дружба у него наладилась с внуком Троцкого Севой. Он обстоятельно беседовал с ним о спорте, о своих альпинистских достижениях (?), обо всем на свете, что представляло интерес для четырнадцатилетнего подростка. Однажды даже подарил ему занятную и дорогую игрушку — действующую модель самолета.

В то же время Жак не мог не понимать: в Койоакане его жалуют прежде всего как жениха Сильвии. Роман продолжался. Удались и его старания наладить добрые отношения с охраной. Он, кстати, узнал, что его не случайно до сих пор ни разу не обыскивали — Троцкий запретил применять подобные меры к людям, постоянно бывавшим в доме, мотивируя это тем, что недоверие унижает.

Впрочем, к Жаку персонально, по свидетельству того же Севы, койоаканский затворник с первой же встречи питал некое инстинктивное предубеждение. Возможно потому, что поймал как-то на себе его странный косой взгляд. Неестественной показалась ему и манера Жака вести себя за столом. Но позже эта настороженность сгладилась, ушла в сторону. Во всяком случае, к моменту, когда Жак обратился к Троцкому с неожиданной просьбой просмотреть написанную им статью, посвященную французской экономике, тот не счел возможным отказать человеку, который сам с такой благожелательностью и не единожды оказывал многочисленные услуги другим.

Надо заметить, что личного общения между ними до тех пор почти не было — за все время их знакомства Троцкий и Жак оставались наедине друг с другом всего дважды. Впервые — когда Жак вручал ему свою статью, и второй раз — когда он принес исправленный текст и Троцкий сел за письменный стол познакомиться с внесенными поправками. Тут-то, улучив мгновение, стоявший сзади Жак достал из-под плаща ледоруб и, зажмурившись, ударил им Троцкого по черепу.

Случилось это 20 августа 1940 года, чуть позднее шести часов вечера. Душераздирающий крик потряс окружающих. Вернувшийся в тот день из школы в четверть седьмого Сева вспоминал: «Войдя в дом, я сразу почувствовал, что произошло что-то ужасное. Охрана и полицейские были ошеломлены. На пороге кабинета, поддерживаемый бабушкой, весь в крови, лежал дедушка, простертый на полу. Рядом лежали его разбитые очки. Он посмотрел на меня и сказал бабушке: „Удали Севу. Это зрелище не для него“. Меня тогда увели в библиотеку».

Далее Сева рассказывает, что яснее, чем все прочие присутствовавшие там, в те секунды мыслил сам пострадавший. Внук слышал, как дед несколько раз повторил старшему из телохранителей, Джозефу Хансену: «Скажи парням, пусть не вздумают его убить». А рядом, схваченный двумя другими телохранителями, трясся в истерике изрядно пострадавший в схватке с охранниками Жак. Помимо ледоруба, он был вооружен еще револьвером и кинжалом, но ни то, ни другое не успел пустить в ход. Не смог и убежать, как было намечено: неподалеку стоял автомобиль, готовый доставить его в порт или на корабль,— это обеспечивали мать и Этингон. По словам Севы, бабушка Наталья впоследствии ему неоднократно рассказывала, что по дороге в больницу Троцкий был в полном сознании и даже, прибыв туда, пока его готовили к операции, нашел в себе силы пошутить: «Завтра меня должен был посетить парикмахер. Теперь этот визит придется отложить». Операцию проводили пять хирургов. В полвосьмого вечера он потерял сознание и ровно через сутки скончался.

Версия происшедшего, как ее рассказал сам Меркадер, хорошо известна, неоднократно излагалась в нашей печати. В сжатом виде ее можно найти, например, в книге американских авторов М. Сайерса и А. Кана «Тайная война против Советской России», вышедшей в издательстве «Иностранная литература» в 1947 году.

Вряд ли есть нужда заниматься здесь, пункт за пунктом, разбором этой хлипко состряпанной «легенды», сочиненной на всякий случай. Принимая во внимание изложенное выше, а также факты, ставшие известными в последнее время, читатель и сам без труда во всем разберется. Интересно другое. Интереснее понять —

что двигало Меркадером. Кем он себя считал, как сам расценивал свою роль? Думал ли, что осуществляет героический акт, действуя во имя великой цели, по принципу «цель оправдывает средства»? Или его удовлетворяла функция «винтика-робота»? А может быть, он просто наемный убийца, подрядившийся корысти ради на «выгодное дельце»?

Наибольшее распространение имеет версия «винтика-робота». Немало также склонных видеть в нем типичного убийцу за наличные. Например, в мексиканской газете «Эль Популяр» в 1956 году, когда Меркадер еще отбывал свой срок, было помещено интервью с шефом столичной полиции, заверявшим, что на имя убийцы в неком швейцарском банке, в качестве платы за содеянное, положено семьсот тысяч американских долларов. На наш взгляд, Меркадер отнюдь не за доллары старался. Но даже если он некогда всерьез помышлял о своей исторической миссии, тем очевиднее, что досталась ему роль Герострата.

Отбыв почти полностью отмеренное ему судом, он был освобожден за три с половиной месяца до срока, 6 мая 1960 года, и тотчас с паспортом, врученным ему чехословацким послом, вылетел на Кубу, а затем в Европу. Не в Швейцарию, разумеется, а в Чехословакию. В 1964 году его уже можно было видеть в Москве приветствующим академика Ивана Михайловича Майского по случаю его восьмидесятилетия. Выше уже излагались обстоятельства моего знакомства с ним в 1968 году. То, что при этом он записал в мою записную книжку свой московский адрес и телефоны, последствий не имело. Но все же мы с ним после этого встречались — в московском Испанском центре.

Меркадер выглядел меланхоличным, желчным, разочарованным. Помнится, во время одной из встреч возник общий разговор о Михаиле Кольцове, эпизодах его участия в ноябре 1936 года в обороне Мадрида. Кто-то, в частности, вспомнил о настойчивости, проявленной тогда Кольцовым, добивавшимся срочной эвакуации из города политических заключенных, о том, как эти эвакуированные впоследствии были захвачены анархистами и расстреляны. Вступив в разговор, Меркадер запальчиво высказал мнение, что Кольцов невольно способствовал гибели этих людей, среди которых было немало ни в чем не повинных. Чувствовалось, однако, что на самом-то деле его тревожит не столько моральная ответственность Кольцова за гибель этих заключенных, сколько то, что висело на его собственной совести.

Перспектива поселиться в какой-нибудь западной стране Меркадера никак не могла прельстить. Там желающих расправиться с ним всегда хватало: достаточно вспомнить о соответствующих признаниях Марии Грепо, изложенных ею во всеуслышание, печатно. Нигде он не мог себя чувствовать в такой безопасности, как в СССР или любой другой из социалистических стран.

На Западе о нем часто вспоминали. Особый резонанс имел появившийся во Франции в конце шестидесятых годов и удостоенный престижной литературной премии «Фемина» роман известного испано-французского писателя (ныне испанского министра культуры) Хорхе Семпруна «Вторая смерть Рамона Меркадера». Герой этого романа не он, а его тезка-однофамилец, однако для фона использованы некоторые факты его собственной биографии. В 1972 году на экраны многих стран вышел кинобоевик: поставленный Ричардом Бартоном итало-французский фильм «Убийство Троцкого». Главные роли в фильме — Рамона и Сильвии — сыграли такие прославленные актеры, как Ален Делон и Роми Шнайдер.

В семидесятые годы Меркадер вернулся на Кубу. Здесь же, в Гаване, 18 октября 1978 года он скончался от саркомы. Задолго до этого — 17 июня 1967 года — в бельгийской газете «Суар» появилось перепечатанное тотчас ведущими газетами мира сообщение о смерти подлинного Жака Морнара. О нем было известно лишь то, что он сражался в интернациональных бригадах. Каким образом его паспорт очутился в руках Меркадера, настоящий Жак Морнар никогда не рассказывал. «Свою тайну,— писала «Суар»,— он унес с собой в могилу».

Что же касается останков Троцкого, то, согласно его воле, они были кремированы и захоронены в саду его дома в Койоакане. Над могилой была воздвигнута стела. В 1962 году там же рядом была погребена урна с прахом его жены Натальи Седовой.

Дом, где произошла койоаканская трагедия, ныне расположен в одном из центральных районов разросшейся мексиканской столицы. С 1974 года в нем никто не живет, здание функционирует как музей. После смерти бабушки Натальи обязанности хранителя музея и единственного экскурсовода взял на себя Владислав Платонович Волков, бывший Сева. По профессии он инженер-химик, закончил высшее учебное заведение там же, в Мехико, женат, имеет четырех дочерей. Всю жизнь он твердо соблюдает данное деду обещание — никогда не заниматься политической деятельностью.